

ЛЕВАН ХАИНДРАВА

**ТЕСНЫ
ВРАТА
ТВОИ ...**



ЛЕВАН ХАИНДРАВА

ТЕСНЫ
ВРАТА
ТВОИ...

Роман
Рассказы

ТБИЛИСИ «МЕРАНИ» 1985 г.

Г2
899.962.1-31
Х156

Имя Левана Хайндрава уже достаточно хорошо известно читателям и поэтому не нуждается в представлении. Можно лишь напомнить о том, что его книги, неоднократно издававшиеся в республиканских и центральных издательствах, в частности — выпущенный издательством «Советский писатель» сборник рассказов «Дымки на горизонте», встретили добрый отклик не только читателей, но и литературной критики.

Чем привлекают произведения писателя? Умением живо и объемно создавать образы людей неординарных, благородных, честных. Способностью изображать тончайшие движения человеческой души. Умением на небольшом пространстве рассказа, новеллы построить увлекательные, необычные, напряженные сюжеты. К тому же «материал» его произведений, как правило, бывает нов и интересен, идет ли речь о его родной Грузии, или о дальних странах, где волею судьбы ему пришлось провести многие годы жизни.

Леван Хайндрава в настоящей книге впервые предлагает на суд читателей произведение крупной формы, роман, в котором читатель узнает и уже знакомые, полюбившиеся ему черты писательского почерка автора, и такие новые для писателя качества, как эпический масштаб повествования, многоплановость в изображении действительности.

X 70202—33
М604(08)—85 155—85

© Издательство «Мерани», 1985

ТЕСНЫ ВРАТА ТВОИ...

Роман

«Какая же гармония, если ад... И если стра-
дания детей пошли на пополнение той суммы
страданий, которая необходима была для по-
купки истины, то я утверждаю заранее, что вся
истина не стоит такой цены».

Ф. М. Достоевский.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

І

С утра был допрос, потом совещание у начальника отдела, затем надо было оформить два протокола и дать их перепечатать.

Перед самым перерывом пришел за инструкциями гауптштурмфюрер Больце, принимающий участие в следствии по делу группы студентов и направляемый в командировку в Гамбург. Когда пробило час дня и начался перерыв, оберштурмфюрер Шлегель почувствовал, что домой его не тянет.

Никакой ссоры не было, внешне все шло гладко, но подспудно чувствовалось, что Марта отдаляется все больше и больше. Шлегель не мог бы сказать, когда это началось, да и не был уверен, что это действительно так. Марта всегда была холодной; вернее, равнодушной или, — еще точнее — безразличной. Ей, казалось, не было дела до того, что муж, приходя с работы, — тяжелой, нервной и очень ответственной, — нуждается в тепле и понимании, которые составляют квинтэссенцию счастливой семейной жизни. Недавно, в минуту откровенности, которая вообще-то не была в ее характере, Марта, глубоко вздохнув, сказала:

— Я все вечера одна. Если б ты знал, как мне это надоело!

На что Шлегель ответил ей доводом наимолее веским, хотя и состоявшим всего из одного слова:

— Служба!

— Противная служба! — неожиданно вырвалось у Марты, и Шлегель даже растерялся. Впервые жена столь откровенно высказала свое мнение о его работе. И вот какое у нее, оказывается, мнение!

Не может быть, чтоб это были ее собственные мысли. Ей кто-то их внушает.

Отца у Марты нет, он умер еще до того, как они поженились, братья живут отдельно, с ними Марта почти не общается. И все же это мысль, внущенная со стороны, мысль мужская. Неужели у нее кто-то есть? Кто-то рискует быть близким с женщиной, у которой муж работает в Имперском управлении безопасности?

Шлегель с удовольствием повторил про себя эти внушительные и грозные слова: Имперское управление безопасности. Еще до старших классов школы ему импонировали карательные органы. Они были для него символами силы и власти, а только власть дает выход честолюбию, без которого человек — ничто.

Математика Шлегелю не давалась, не чувствовал он склонности ни к медицине, ни к биологии или химии. История, филология? Слишком расплывчата. Правда, современная история, история третьего рейха давала возможность сделать партийную карьеру. Вольфганг Шлегель поступил на исторический факультет, но во-время понял, что по партийной линии высоко не поднимется. Там преуспевали болтуны и краснобаи, высокочки и подхалимы. Ни тем, ни другим он не был. Да и сколько же надо иметь терпения, чтоб после десяти лет службы на побегушках, в случае успеха, стать второстепенным фюрером местного значения? И никакой реальной власти такая должность не сулила. Это, к счастью, тоже вовремя было понято, и Шлегель перешел в Юридический институт, а оттуда, по рекомендации гитлерюгенда, направлен в Высшую школу политической полиции.

Шаг оказался удачным. Доступ в Высшую школу был строго ограничен: все решала анкета и уверенность властей в преданности кандидата делу рейха. Анкета у Шлегеля была безупречной, а преданность свою он доказал еще в школе, когда с его помощью была выяв-

лена группа мальчишек, занимавшихся вредной болтовней.

Мальчишек отправили на перевоспитание в трудовые лагеря, классного руководителя и директора гимназии, у себя под носом проглядевших безобразие, — сняли с работы, но Шлегелю пришлось перейти в другую гимназию. Не то что школьники, но даже учителя далеко не все еще прониклись духом бдительности и пониманием, что долг перед государством, перед партией фюрера — выше обычательских условностей, доставшихся в наследство от недоброго прошлого.

Да, поступление в Высшую школу политической полиции было удачным шагом. Суровая, бескомпромиссная атмосфера, серьезные занятия, железная дисциплина, строжайшая засекреченность — все это было несложно превозмочь, но зато импонировало самолюбию, давало ощущение собственной значительности и сопричастности важным мероприятиям, имеющим государственное значение. Диплом же об окончании подобной школы предоставлял привилегированное положение по сравнению с массой сотрудников органов политической безопасности, чаще всего опытных практиков, но отстававших по части теоретического багажа. По мысли основателя школы — рейхсфюрера СС Гиммлера, дипломанты должны были постепенно составить костяк имперских органов безопасности, заменив на руководящих постах недостаточно проверенных старых руководителей, многие из которых всплыли на волнах первых лет национал-социалистской революции или великой чистки тридцать третьего года. Да, им нельзя отказать в столь необходимом для подобной работы качестве — абсолютной беспощадности к врагам партии и государства, но они еще помнили времена, когда в стране допускалось — правда, по второстепенным вопросам — существование разных мнений, что вызвало позднее необходимость проведения крайних мер в массовых масштабах. Такие мероприятия впоследствии были признаны нежелательными. Они вызывали дезорганизацию в хозяйстве страны, массовая замена военачальников отражалась на боеспособности армии. Одно устранение Шлейхера чего стоило! Поэтому вышла весьма секретная директива действовать исподволь, изымая, по мере

появления, все элементы, уличенные или заподозренные в проявлении недовольства, отхода от партийной линии, недостаточной преданности фюреру, то есть всех, кто объективно служил интересам вражеских разведок, хотя прямая связь прослеживалась далеко не всегда.

Словно мелкая дробь по стеклу, рассыпался телефонный звонок. Шлегель поднял трубку городского аппарата, по давно выработанной привычке выдержал паузу в несколько секунд и затем произнес раздельно и веско:

— Оберштурмфюрер Шлегель.

На проводе была Марта, и лицо Шлегеля, принявшее, как только он услышал звонок, подчеркнуто суровое выражение, то самое, которое у него всегда видели подследственные и которое внушало им трепет, сразу же изменилось. Сейчас оно выражало выжидательность и даже растерянность.

— Ты придешь на перерыв? — спросила жена.

Шлегель хотел ответить утвердительно, но, посмотрев на часы, увидел, что уже шестнадцать минут второго. Поздно. В два часа будут звонить из Главного управления в Берлине. О том, чтобы оказаться не на месте, не может быть и речи.

— Нет, — ответил он односложно.

Шлегель выработал в себе манеру с работы говорить с женой очень коротко и только о самом необходимом. Ведь, в конце концов, служебный телефон существует не для частных бесед.

— Ну хорошо, — как-то уж очень охотно согласилась жена. — Тогда я пойду к Эльзе. Она нездорова. Но к обеду-то не опоздаешь?

— Нет, конечно, — удивленно и даже с некоторой досадой ответил Шлегель. Что ж, она думает, что он совсем без пищи может обходиться?

Марта, видимо, не уловила этих ноток в голосе мужа, потому что ответила оживленно:

— Хорошо, Вольфи, только не опаздывай! Я без тебя обедать не сяду.

«Как обрадовалась!» — подумал Шлегель, положив трубку. В нежности последней фразы ему почудилась неискренность. И ведь если надолго уходит, то непре-

менно к Эльзе, у которой телефона нет. Поди-ка проверь!

Шлегель задумался, ссугутившись больше обычного, отчего узкие и вздернутые плечи его поднялись до уровня ушей.

Им владело легкое чувство голода, и он решал, идти ли ему завтракать в столовую Управления или потерпеть до обеда. Надо бы, конечно, закусить, но в какую столовую идти? В ту, что предназначалась для среднего и низшего офицерского состава, он не хотел. Его должность заместителя начальника следственного отдела давала ему основания пользоваться верхней столовой, которая обслуживала высший начальствующий состав. Но, с другой стороны, зайдя туда, он оказался бы младшим не только по чину, но и по должности. Он еще немного поколебался и решил никуда неходить. До звонка из Берлина оставалось чуть больше получаса.

Шлегель встал, прошелся из угла в угол своего длинного кабинета, подошел к зарешеченному окну, выходящему во внутренний двор, сверху напоминающий пчелиные соты: он весь был разгорожен трехметровой высоты забором на отдельные ячейки. В них, в определенные часы, прогуливались заключенных.

Заложив руки за спину, он постоял в своей привычной позе несколько минут, потом приблизился к большому шкафу, отомкнул его и достал папку агентурных разработок с литерой Х—Л 156/8.

Он и сам не мог бы объяснить себе, чем так интересует его это дело, не сулящее ни сенсационных разоблачений, ни выявления особо опасных антигосударственных деяний. Впрочем, кто знает?

Кто знает, что удастся вытянуть из этого франтика, когда он окажется у них в руках?

Шлегель уселся и придинул кресло так, чтоб одновременно чувствовать сзади — спинку, а грудью — край стола. Это давало ему ощущение внешней собранности и внутренней дисциплины, качеств, которые он очень ценил.

Он потянул за шнур и открыл папку. Сверху лежали донесения секретных сотрудников, осуществлявших наружное наблюдение, рапорты своих людей с места работы будущего подследственного, звукоzapиси телефон-

ных разговоров, копии перлюстрированных писем, — в общем, ничего существенного. В отдельной папке содержались копии писем к брату, к одной женщине — за границу, и к провинциальному актеру, видимо, близкому другу, тоже новоприезжему. Письма эти и ответы на них были досконально изучены, проверены в дешифровальном отделе, подвергнуты химической обработке, но ровно ничего не дали. Впрочем, так можно было бы считать, если б подходить к делу с формальной стороны, но Шлегель считал подобное отношение к обязанностям несовместимым со своей партийной совестью. И, вчитываясь все снова и снова в эти бойко написанные, претендующие на остроумие письма, он чувствовал их общий тон, и этот тон ясно показывал, что автор писем человек неспокойный, сующий свой нос в дела, которые его не касаются, и — главное — не удовлетворенный своим положением, а следовательно — недовольный.

Ну, а в отношении недовольных существовали совершенно точные инструкции.

Особенно тщательно были изучены письма к брату. Они были какие-то странные. Прежде всего, их содержание, в котором ни словом не упоминалось об испытываемых трудностях, ясно показывало, что пишущий понимает, что за ним следят и его письма проверяются. А это указывало на немалый опыт, может быть, в конспиративной работе. Такой человек опасен.

Характерная деталь: ведь он больше года нигде устроиться не мог, ютился чуть ли не в трущобе, жил с матерью тем, что продавал свои вещи, а брату — родному брату! — который, судя по всему, благоденствует в своей Америке, ни словом не обмолвился, ни разу не попросил хотя бы посылку прислать. А как бы это упростило дело! Вон один, тоже приезжий, написал своим родственникам в Бразилию: получаю столько-то, за квартиру плачу столько-то, цены на продукты и товары — такие-то. Все ясно: передача шпионских сведений за границу — максимальный срок и никакой возни. Все дело заняло три месяца. Обошлось даже без применения спецмер — подследственный сам не отрицал, что писал. У этого же в письмах к брату было что-то другое, какая-то странность, которую никак не мог уловить Шлегель, хотя чувствовал, что она есть и что в ней-то,

может быть, и кроется разгадка личности этого человека. И дело не в какой-нибудь условной фразе. Дешифровальщики ее не пропустили бы. Во всех письмах ни одна фраза не повторялась в точности хотя бы два раза, так что и в этом отношении все обстояло, казалось бы, благополучно. Но как раз это благополучие и вызывало серьезные сомнения: неужели уж так-таки братья не договорились о том, как передать свои истинные впечатления о жизни в новой Германии? Нет, тут что-то не так. Чувствуется какая-то нарочитость. Слишком уж все у него гладко. В жизни так не бывает.

И вновь, как уже не раз случалось, Шлегелем овла-дело предчувствие, что противник будет нелегкий...

Он подумал немного, оторвавшись от бумаг и глядя в окно. Потом достал из папки большой конверт из плотной, темной бумаги. В нем были разной величины фотографические карточки, главным образом любительские. Шлегель уже не раз их видел, и воспомина-ние о том, каким способом их удалось раздобыть, доставило ему удовольствие. Да, вот это профессиональ-ная работа — молодец Больце! Один из лучших оперативников. Он и сейчас наверняка выяснит в Гамбурге все, что нужно, об этих студентах.

Шлегель высыпал карточки на стол. Их было десятка полтора, и с каждой смотрело почти всегда улыбаю-щееся лицо, ставшее уже хорошо знакомым. Физио-номия смазливая, ничего не скажешь. Любит сниматься. Наверное, считает себя неотразимым. И все время в окружении женщин. Пользовался успехом. Да и здесь тоже, живет неполных три года, а знакомых уйма, и все больше женщины. Среди них несколько наших, но ни-чего интересного их сводки не дали.

Шлегель задумчиво перебирал карточки, некоторые откладывая без интереса, на других задерживаясь. Вот эта, например. Тут они вчетвером, в каком-то кабаре или ночном клубе: сам фон Халлер в клетчатом пиджаке и серых брюках (Шлегель ненавидел этот залихватский американский стиль одежды), второй мужчина — с силь-но напомаженной шевелюрой, очень красивый — ни дать, ни взять киноактер. И с каждым по девчонке. Как жмет-ся эта курносенькая к Халлеру. А он сидит самоуве-ренный, улыбающийся, беззаботный.

Да, мистер, ваши обстоятельства изменились, теперь вы уже так не улыбаетесь. Во всяком случае вот на этом снимке, сделанном недавно, выражение у вас совсем другое. Вам уже не так весело? И заботиться есть о чем? Подождите, то ли дальше будет! Мы вам пойдем навстречу, сами о вас позаботимся.

Шлегель продолжал перебирать карточки, пока не дошел до той, которая вызывала в нем самое большое раздражение. На снимке, надо признать, сделанном мастерски, хотя и любительском, видна часть фасада загородной виллы, лужайка перед ней, несколько дачных кресел, занятых улыбающимися мужчинами и женщинами, и на переднем плане роскошный белый «Паккард», за рулем которого очень красивая женщина, а рядом, конечно, фон Халлер. Ну просто не жизнь, а кадр из голливудского фильма о миллионерах! А ведь по анкетам, да и по агентурным данным, фон Халлер был журналистом, довольно известным, но все же только журналистом. Откуда же, спрашивается, средства на такую шикарную жизнь? Вот на этот вопрос вам придется дать ответ, милейший! И на многие другие тоже...

Шлегель отложил было карточку, но тут же вернулся к ней. Ему не хотелось признаваться самому себе, но было приятно смотреть на эту обеспеченную, беззаботную жизнь, в которой каждый делает что хочет и говорит, не думая о последствиях.

У самого Шлегеля детство было тяжелое, юность не легче, да и сейчас, хотя он делал блестящую карьеру и в короткий срок занял важный пост, жизнь приносила ему мало радостей. Да, он имел власть, и его сверстники, которые в прошлом помыкали им, и особенно школьные товарищи, после истории с разоблачением болтунов переставшие подавать ему руку, теперь избегали попадаться ему на глаза, а если уж натыкались на него случайно на улице, то угодливо кланялись и в глазах у них читался трепет.

Шлегелю доставляли удовлетворение такие встречи. Они напоминали ему о его безрадостном детстве и однокой юности, которая прошла без друзей, без шумных и веселых товарищеских вечеринок, без тесного общения и задушевных бесед, наконец, без пьянящих влюбленностей, которые проходят легко и безболезнен-

но, оставляя лишь воспоминания, подернутые легкой дымкой приятной грусти.

Да, Шлегель никогда не был влюблен мимолетно, потому что с отроческих лет любил свою будущую жену Марту — сперва нескладную белокурую девочку с длинными тонкими ногами, гонявшую мяч наравне с мальчишками; потом веселую, очень привлекательную девушку, не знавшую отбоя от поклонников и очень довольную этим. Вольфганга Шлегеля она никогда не замечала, и единственным, еще детским впечатлением от общения с ней был случай, когда он, тоже вздумавший поиграть в футбол,狠狠地 ударил ее по ноге и не захотел извиниться, за что был крепко побит другими мальчишками. С тех пор он больше в мяч не играл, с Мартой не разговаривал, а она, казалось, и вовсе забыла о его существовании.

Шлегель любил теперь вспоминать свое прошлое, потому что с той высоты, на которую он вознесся благодаря своей целеустремленности, упорству и беспощадности к врагам, это прошлое лишь подчеркивало различие между ним и его сверстниками.

Звонок из Берлина прервал его размышления. Рабочий день возобновился.

В три часа было совещание у начальника Областного Управления, продолжавшееся довольно долго, потом Шлегель провел некоторое время у своего непосредственного начальника — руководителя следственного отдела и вернулся к себе в кабинет в половине шестого с испорченным настроением.

Группенфюрер Рунге был недоволен вялой работой отдела с прибывающими из-за границы репатриантами. Можно предполагать, что среди них есть люди, завербованные иностранными разведками, и тот факт, что до сих пор не выявлен ни один шпион, свидетельствует о недостаточной бдительности, проявляемой не только службой наблюдения, но и следственным отделом. Весь в их распоряжение передано уже несколько десятков арестованных, и до сих пор никто ни в чем, кроме болтовни, не уличен.

Конечно, болтовня — антигосударственная болтовня — тоже преступление. Ведь болтает человек не наедине с самим собой, у него, как минимум, есть слу-

шатели, чаще всего собеседники и, следовательно, единомышленники. Значит, в преступной агитации — кто активно, кто пассивно — участвовали несколько человек, то есть группа. А группа — это организация. Правда, в уголовном кодексе говорится несколько иначе. Шлегель не помнил точно, что сказано в статье по антигосударственной агитации и в смежной — об антигосударственных организациях, хорошо он помнил только порядковые номера этих статей, так как в следственной практике они применялись чаще других. Но уголовный кодекс явно устарел, условия все время меняются — в этом диалектика жизни. Существуют инструкции вышестоящих инстанций, которые лучше учитывают специфику работы органов имперской безопасности. А уголовный кодекс, хотя и новый, составленный уже при национал-социалистской власти, все же проникнут духом гнилого и бесподобного либерализма его авторов — интеллигентов. Если руководствоваться законами — никого и не арестуешь!

Непосредственный начальник Шлегеля штурмбанфюрер Куцен не преминул сделать вид, что считает, будто упрек группенфюрера относится только к сотрудникам его отдела, а не к нему самому. В таких случаях лучше всего солидаризироваться с мнением начальства, что он и сделал. Но, конечно, его масштаб — не масштаб группенфюрера, пусть даже провинциального. Ему, чтобы упрек звучал весомо, нужно быть конкретным, и Куцен не нашел ничего лучшего, как сказать со своей улыбкой, обнажавшей за ярко-красными, очень четко обрисованными губами (такие бы впору женщине!) безупречно ровный ряд очень белых, но для мужчины слишком мелких зубов:

— Ну как у вас там этот... американец?.. Как его?.. Халлер?

— Фон Халлер? — переспросил любивший точность Шлегель.

— Да, он. Все еще гуляет?

Вопрос был праздный, явно предназначенный для того, чтобы уязвить. У Куцена отличная память, и хотя в день ему приходится подписывать не один ордер на арест, он помнит все фамилии. Не может же он не помнить, что приказа об аресте фон Халлера еще не было.

— Мы предполагаем подготовить это дело к пятому-шестому следующего месяца. Десятого можно будет брать.

— И январский план будет провален? — язвительно спросил Куцен. — Даю еще неделю. Если не управляешь — представьте мотивированный доклад об отсутствии данных. Передадим четвертому отделу.

Ярко-красные губы Куцена все еще образовывали легкую улыбочку, но глаза — светло-карие, с янтарной желтизной, — в тон волосам, обрамлявшим лысое темя, — были совершенно серьезны, слишком серьезны. Шлегель не любил их взгляда — очень уж многое видели эти глаза под кустистыми рыжеватыми бровями.

— Видите ли, брать можно уже сейчас. Материал дает основания. Но дело в том, что мы ждем ответа на наши запросы из Дрездена, Штутгарта и нашего посольства в Вашингтоне.

«Болван!» — подумал Куцен. — Нашел, где спрашивать — в посольстве! Неужели не понимает, что оттуда придут положительные данные, которые только осложнят дело. Ведь Халлер в посольстве был своим человеком, они ему и визу дали».

Но Куцен решил не выходить за рамки разговора, пусть академик сам потом выпутывается.

— Брать можно... И опять за болтовню? А вы слышали, что говорил группенфюрер?

— У фон Халлера как раз болтовни-то и нет. Осторожен чрезмерно, — сказал Шлегель, как бы с неодобрением.

Желтые глаза Куцена янтарно засияли, в кошачьих зрачках появились прозрачные затвердения. Он встрепенулся.

— Осторожен, говорите? Это интересно.

— Вот в том-то и дело. Все ему нравится, всем доволен. Полтора года без работы ходил, локти грыз — и ни гу-гу. Никому ни слова жалобы. Ни в разговорах, ни в письмах.

— А из Дрездена каких данных ждете?

— Протоколы опознания. Показания других приезжих. Их там много. Половина уже изолирована.

Куцен пренебрежительно махнул рукой.

— И там — то же! Ни одного серьезного дела.

«Ну, уж это не мое горе!» — в сердцах подумал Шлегель, но вслух не сказал ничего.

— Итак, дату ареста назначаю на пятнадцатое января. К десятому чтоб все было здесь, — он слегка похлопал рукой по письменному столу перед собой. — Двенадцатого отнесу на подпись группенфюреру. Какая статья?

— Участие в антигерманских организациях за границей.

Куцен удивленно поднял брови: «Ну и ну», но спросил кратко:

— Что имеется в виду?

— Христианская спортивная ассоциация молодежи. Германское землячество.

Алые губы Куцена растянулись в саркастической улыбке.

— Ну, знаете, ради таких обвинений не стоило тратить несколько месяцев и расходовать государственные деньги на курьеров и междугородные переговоры.

— Главное зацепиться, потом пойдет, — не очень уверенно возразил Шлегель.

— Ну что ж, цепляйтесь, цепляйтесь, — протянул Куцен тоном, в котором явственно слышалось: «Посмотрим, что у вас там получится!» Он резко повернулся и достал из секретера, стоявшего боком к его письменному столу, толстую папку, потом опустил рычажок на переговорном аппарате и приказал секретарше:

— Беккера ко мне!

Шлегель понял, что разговор окончен. Он встал и обратился по форме:

— Разрешите идти?

Куцен, не глядя на него, уже занятый другим, сухо кивнул своей круглой, косо сидящей на короткой шее головой.

Шлегель щелкнул каблуками. Этот молодецкий жест, не шедший к его нескладной, угловатой фигуре, в которой не было ничего военного, вызвал чуть заметную усмешку на губах Куцена, и он опустил голову. Он не хотел обижать Шлегеля, которого все-таки ценил за исполнительность и бескомпромиссность.

Вот этот разговор и был причиной тому, что у Шлегеля испортилось настроение.

Он достаточно хорошо знал Кутцена — человека незажесткенного, но опытного, безжалостного и хитрого,— чтобы не различить насмешки и даже скрытой угрозы в словах: «Цепляйтесь, цепляйтесь».

Да, от Кутцена содействия ждать не приходится, скорее наоборот: он будет ставить палки в колеса. Конечно, будь дело посерьезнее, он не рискнул бы мешать. Ну, скажем, попытка перехода границы или настоящая организация, настоящая агитация, не говоря уже о диверсии или шпионаже. Но где их взять — диверсию, организацию? Все это дело прошлого. После великих чисток от настоящих врагов государства ничего не осталось. Задача теперь — не дать возникнуть новым очагам. Действия имперских органов безопасности носят ныне, главным образом, профилактический характер. Предупредить возникновение недовольства и беспощадно его искоренять. Не беда, если при этом прихватишь лишнего: каждый такой лишний — потенциальный враг. А такой тип, как этот Леопольд фон Халлер, тем более. Он видел другую жизнь, ему не понять наших суровых будней, он не может быть доволен. Жил в своей Америке — надо было жить дальше. Так нет же: «С детства мечтал жить на родине отца» — так и написано в заявлении. «Хочу быть полезным новой Германии». Подумаешь! Не обойдемся без тебя! И ведь находятся простачки, которые подобной болтовне верят. Имел машину, хорошую работу, положение в обществе, развратничал с женщинами (тут Шлегелю почему-то вспомнилась Марта, и его кольнуло: дома ли она?) и все это бросил по своей воле? Нет, милейший, ищи простаков где-нибудь, но только не в Управлении Безопасности. Здесь тебе не поверят, а решаться твоя судьба будет именно здесь. Нашему обществу ты не нужен, более того — вреден, потому что разлагаешь его, вносишь элементы чуждого духа. Даже внешний вид твой нам враждебен. Нам не нужна свобода, к которой ты привык, она породила бы разброда в наших рядах, помешала бы строить тысячелетний рейх. У нас нет и еще долго не может быть той обеспеченной жизни, которую ты знаешь. Нам нужно не масло, а пушки. И ты с твоими костюмчиками, с твоими манерами, с до сих пор не стершимися следами привычки к комфорту — ты у нас

бельмо на глазу, и это бельмо мы удалим. Если б ты был умнее, то постарался бы слиться с общей массой, затеряться в ней и не мозолил бы глаза. Ты этого не сумел или не захотел сделать. Тем хуже для тебя. Судьба твоя предрешена, даже если ничего настоящего за тобой нет. Впрочем — посмотрим. Здесь ты заговоришь. Здесь не такие заговаривали.

Шлегель вспомнил утренний допрос и неодобрительно покачал головой. Да-а, переборщил... Надо быть осторожнее. Знает ли уже группенфюрер? Нас было четверо, Беккер ушел раньше. Четверо. Конечно, знает, кто-нибудь да донес же. Но, с другой стороны, ведь участвовали все. Работать становится все труднее. Эта новая инструкция, что нужно получать разрешение на спецдопрос, как она усложняет работу! Теоретики! На верху еще слишком много теоретиков, не понимающих специфики нашей работы. Лучше доложить самому... Но ведь докладывать надо через Куцена, и он спросит: а почему сразу не доложил? Лучше повременить. В целом Куцен к таким казусам относится спокойно и с пониманием. У него у самого в прошлом году один чуть не умер — оказался сердечником. В общем, если кость цела и гипса накладывать не пришлось — может обойтись. Врач, конечно, в своем ежедневном рапорте упомянет, но рапорт идет к Веберу, а тот меня боится, обязательно придет сюда.

Резко зазвучал телефонный звонок. Шлегель вздрогнул и не сразу сообразил, какую трубку снимать. Звонок повторился: по городскому. В трубке раздался оживленный голос Марты:

— Ну, Вольфи, ты скоро будешь? Обед уже готов. Скорей приезжай, кушать хочется!

Шлегель посмотрел на часы: двадцать минут седьмого. Потерял почти полчаса.

— Ты давно дома?

— Конечно! Я же говорю — обед уже готов.

— Ну как Эльза?

— Эльза? Уже хорошо, только из дома еще не выходит. Привет тебе передает. Так идешь?

— Сейчас буду, можешь накрывать на стол.

Шлегель положил трубку и встал.

Пока он надевал шинель, фуражку, натягивал пер-

чатки, в его настроении происходил перелом. Все как будто просветлело, и те обстоятельства, которые вызывали сложные раздумья, озабоченность и смутное ощущение неблагополучия, вдруг показались легко одолимыми. Специфика профессии, от этого никуда не уйдешь. Не всем ходить в белых перчатках, кто-то должен делать и грязную работу. Без нее не обойдешься, да и не надо стараться. Они бы с нами хуже сделали, будь сила на их стороне.

И, сядясь в машину в совсем уже нормальном настроении, Шлегель вдруг осознал, что истинной причиной тяжести, которую он ощущал целый день, была Марта.

II

Папка Х-Л 156/8 снова лежала на столе, и Шлегель был погружен в чтение документов, которые составляли основу дела фон Халлера.

Биографические данные — благоприятные (для нас благоприятные): происхождение аристократическое. Многие аристократы враждебны новому режиму. Правда, ничего конкретного за отцом фон Халлера не числится, но он состоял членом и одно время председателем общества американских немцев, так и не установившего связи с новой Германией. Правда, после смерти отца Леопольд фон Халлер вступил в другой союз американских немцев, откровенно поддерживающий национал-социалистский режим в Германии. Но это несущественно. И в этом союзе, очевидно, было немало чуждого элемента, хотя есть там и наши люди. Во всяком случае фон Халлеру трудно доказать, что, будучи членом этого союза, он не был заслан в него вражеской разведкой.

А тот первый союз, где руководил его отец, — организация явно враждебная. До скольких лет он в нем состоял? Шлегель перебрал несколько листов бумаги и нашел нужный: один из трех экземпляров собственноручно написанной автобиографии фон Халлера, представленной в германское посольство в Вашингтоне при возбуждении ходатайства о разрешении на въезд в Германию. Да, мистер Халлер, вы там еще веселились в

своих Штатах, а мы тут уже читали вашу биографию, ваши же лично написанную, уже подбирали к вам ключи.

Шлегель усмехнулся: все в поле зрения, все предусмотрено. Нигде нет такой безупречно действующей системы, как в наших органах. Человек еще вне нашего достижения, ему и мысль о нас не приходит в голову, а на него уже составляется досье. Да, у нас предусмотрено все — это наша прямая обязанность.

Но все же сколько лет ему было, когда отец возглавлял землячество? Шестнадцать. Вернее, он сам состоял в этом землячестве до шестнадцати лет. Потом он уехал в другой город, где германского землячества не было. Шестнадцать лет. Маловато. Прокуратура может не принять такое дело. И ведь что обидно? Фон Халлера надо изолировать, это совершенно бесспорно. Пусть даже окажется, что формально он не совершил никакого преступления, нельзя же его оставить на свободе, чтоб он разносил свою заразу. Нужно оградить общество от таких типов. А какие-то крючкотворы из министерства юстиции, цепляясь за формальные пустяки, мешают тебе заниматься важным делом государственного значения.

В общем, из этого пункта много не выжать.

Второе: работа в газете. Это пункт слабый. Газета прогерманская, почти официоз нашего посольства. Тут, однако, есть один очень благоприятный момент. Широкое знакомство, профессиональные связи с корреспондентами других газет и телеграфных агентств. Не может быть, чтоб среди десятков журналистов не было агентов иностранных разведок. Откуда мы знаем, что связи фон Халлера с журналистами не носили преступного характера? Пусть попробует доказать, что его никто не завербовал!

Шлегель задумался. Да, несомненно, в этом направлении и должен быть оказан главный нажим. Копать именно здесь, до чего-нибудь докопаешься. Не может быть, чтоб при таких обширных знакомствах, при таком широком образе жизни фон Халлер был совершенно чист.

Рука Шлегеля сама, без приказа головы полезла в конверт и безошибочно вытащила ненавистную фотографию. Даже бумага ее — плотная, глянцевитая — го-

ворила о благоустроенном быте, в котором удобства и приятности существования не надо вырывать разрозненно и с боем. Они разумеются сами собой и составляют единый, гармоничный комплекс.

Шлегель, — в который раз уже, — разглядывал карточку, изучая все подробности, оценивая детали, словно надеялся найти здесь какую-нибудь изобличающую фон Халлера улику.

Женщина с ним рядом, вероятно, та, которой он пишет письма. Она есть еще на нескольких карточках. Надо будет установить, кто она. Впрочем, он сам скажет, а проверить можно будет через наших людей в посольстве. Красивая женщина, хотя и не первой молодости. Вероятно, старше его.

Связь с замужней женщиной высшего общества — необходимый атрибут в биографии джентльмена. Это кто-то из французов сказал. Растленная нация...

И как это у него получается? Вот так, за здорово живешь, взять и назначить свидание чужой жене! Шлегель пытался представить себя в таком положении и не мог. Никогда в жизни не было у него свиданья не то что с чужой женой — с девушкой. У него не находилось слов для женщин. О чем с ними говорят? Марта была единственной женщиной в его жизни, а примириться с тем, что сам он у нее не первый, было ему нелегко. Он даже подозревал, что пошла за него Марта только потому, что оказалась у разбитого корыта. Любопытно, что мысль эта пришла к нему не сразу. Когда все сделалось, — а устроилось у них с Мартой как-то само собой, без обычных объяснений, на которые Шлегель решительно неспособен, — он был так счастлив, что ее небезупречное прошлое принял как цену за свое неожиданное счастье. По-настоящему уязвленным он почувствовал себя позже. В одну из минут их редкой супружеской близости (он уже работал в полиции безопасности и приходил домой поздно ночью, слишком усталым и нервно-истощенным), Марта бросила ему со снисходительной небрежностью неосторожную фразу:

— Ну, Вольфи, в любви ты совсем цыпленок!

Слова жены смущили его тем сильнее, что он и сам сознавал свое неумение и всячески старался скрыть его.

За словами Марты стояло слишком многое. И ее

бурное прошлое, и его собственные неудачи в тех редких случаях, когда он пытался добиться успеха у женщин.

Да, Халлеру, наверное, в постели краснеть не приходится! Шлегель снова посмотрел на улыбающееся, беспечное лицо на карточке и представил себе, как отдается Халлеру его красивая, холеная любовница.

Вот пожить бы такой жизнью, без этого вечного напряжения, бдительности, борьбы с врагами, которых, сколько ни уничтожай, меньше не становится; без разгадывания загадок, копания в чужих жизнях, без ночных допросов, после которых приходишь домой точно выжатый лимон.

Почему он сам не родился в Америке? Никуда бы он не уехал. Дурак Халлер! Теперь пусть расплачется. Подумаешь, патриот нашелся! Кто тебе поверит? От такой жизни не уезжают добровольно. Тут какая-то подоплека.

Шлегель еще раз взглянул на карточку, задержал взгляд на какой-то длинноногой молодой особе в сверхоткровенном купальном костюме, небрежно развалившейся в шезлонге, и с удовлетворением отметил, что у Марты ноги не хуже. Успокоившись на этом, он не без усилия оторвался от созерцания снимка и даже, почувствовав легкую досаду, отбросил его к углу большого и содержащегося в отменном порядке стола.

Так... Третье... Он потер пальцами удлиненный и острый подбородок, чтобы дать себе время полностью сосредоточиться на предмете размышлений... Что же третье? Да, разные знакомства, внегазетные. Знакомства у фон Халлера в прошлом были разношерстные: коммерсанты, спортсмены, дамы света и полусвета, актеры... К сожалению, ни о ком из них толком ничего не известно. Тут Халлера придется основательно потрясти. Он сам должен будет рассказать следствию о своих преступных связях. Только насколько преступны его связи? Опять ничего конкретного.

В общем — дело шаткое. Все материалы сырье, их придется дорабатывать в процессе следствия. Для оперативного отдела, после почти трехлетнего наблюдения и розыска, представить такие данные — провал. Вся их работа — ни черта не стоит, все спихивают нам. Страй

дом на песке, без всякого фундамента. Что ж, посмотрим, нам не привыкать.

Шлегель, стряхнув с себя сеть раздумий и противоречивых доводов стал собирать разбросанные по столу материалы дела Х—Л 156/8. Злополучную карточку, чтобы опять не отвлечься, перевернул тыльной стороной кверху и засунул в конверт не глядя.

Пора кончать с предварительной стадией. Завтра он представит Куцену мотивированные соображения и войдет с ходатайством о выдаче ордера на арест германского гражданина Леопольда-Юлиуса фон Халлера по обвинению в антигосударственной деятельности.

ГЛАВА ВТОРАЯ

I

В том месте, где лестница с железными перилами, круто спускающаяся к набережной, упирается в небольшую площадку, Леопольд фон Халлер встретил человека. На нем была военная, но с давно споротыми знаками различия шинель, из тех, что на всю жизнь остаются у не нашедших себе места в жизни ветеранов войны, неопределенного цвета брюки и грубые, давно не чищенные ботинки на толстой подошве. Стояло туманное декабрьское утро, было промозгло и зябко, а на человеке не было головного убора. Немолодой уже и нездоровый на вид, он медленно поднимался, тяжело дыша и с видимым трудом отрывая ногу от одной ступеньки, чтобы перенести ее на следующую. Человек встретился взглядом с Леопольдом, и в глазах его прошло какое-то движение. Он даже приостановился на мгновение, но сразу же продолжил свой путь, уступив Леопольду место у перил. Они разминулись, и тут человек позвал, негромко, но отчетливо:

— Сударь!

Леопольд обернулся и остановился.

— Вы меня?

Человек, — теперь он стоял выше ступеньки на три, на четыре, — смотрел на Леопольда странным и долгим взглядом, который одновременно как будто спра-

шивал о чем-то и что-то сообщал. Потом он кинул быстрый взгляд себе через плечо — на верх лестницы, пустынной в этот момент, и снова пристально взглянул в глаза Леопольду. Вопрос исчез с его лица, он как бы сказал себе: «Да, это он!».

И человек заговорил.

— Послушайте, сударь... — голос его звучал хрипло, интонации и манера выговаривать слова выдавали неинтеллигентного человека. — Я не знаю, кто вы... чем вы занимаетесь...

Он опять сделал паузу и оглянулся через плечо: наверху появилась женщина и стала осторожно спускаться, держась за перила и внимательно смотря себе под ноги. Человек продолжал:

— Но будьте осторожны. За вами следит гестапо. Это не мое дело, конечно... Просто жалко будет, если человек пропадет.

Нельзя сказать, что услышанное оказалось для Леопольда полной неожиданностью. Он уже достаточно обжился на родине отца, достаточно познакомился с жизнью народа, который считал своим, чтобы не понимать, что каждый приезжий находится под наблюдением. Но одно дело понимать это теоретически, другое — узнать, да еще так внезапно и категорично, в применении к себе.

Леопольд подавил рвавшийся наружу первый, но праздный, по существу, вопрос: «Откуда вам это известно?». И только, пытаясь взглядом прочесть на лице незнакомца разгадку хотя бы одного из вопросов, которые, словно струи внезапно забившего фонтана, брызнули в его сознании во все стороны, сказал тоже не-громко и почти спокойно:

— Спасибо!

Спускавшаяся женщина поравнялась с ними. На ней была нелепая, вычурная шляпа провинциалки, совершенно не идущая к ее не модному и не новому уже пальто, а в руке она держала сумку, набитую базарной снедью. Следом за ней спускались еще две женщины, пожилые, которые вели между собой оживленный разговор о каких-то малозначительных, благополучных вещах, разговор, показавшийся Леопольду кощунственным своим разительным несоответствием скромным и нескладным, но

полным огромного смысла словам человека в шинели, словам, распахнувшим перед ним, стоящим посреди пусты туманного и пронизывающего, но все же утра, дверь в царство ночи.

Нет, они не ошеломили его, эти слова незнакомого, небритого человека, не произвели впечатления упавшего на голову бревна, разорвавшейся бомбы, грома среди ясного неба. Но от них повеяло сыростью и затхлостью склепа, в котором рядом с давно заполненными, обжитыми могилами появилась новая, ожидающая...

— Спасибо! — повторил Леопольд и, постояв секунду-другую, продолжил путь вслед за спускающимися женщинами. Но, сделав несколько шагов, он снова остановился и обернулся. Человек был уже высоко и продолжал свое восхождение все так же медленно и грузно. Казалось невероятным, что он, несший в себе такую тайну, навсегда отрезавшую Леопольда от его прежней благополучной и беспечной жизни, идет как все, идет, тяжело переступая ногами, медленно опуская их на скользкие, слегка обледеневшие ступени. Вот поставил левую, вот вынес вперед правую, опять левую, опять правую. Ведь точно так же идут эти глупые женщины с их ничтожными разговорами о мелких покупках, о каком-то Гансе, который целый день сидит в пивной и ни о чем слышать не хочет.

Леопольд медленно спустился, впервые забыв полюбоваться открывающимся с этой лестницы видом на центральные районы города, на рассекающую его на двое реку, на золотисто-сиреневую дымку, сквозь которую приветно блестят золотые кресты церквей.

Вместо того чтобы сесть в трамвай, он решил пройтись пешком. Ему не хотелось сейчас быть среди людей.

Он пересек проезжую часть улицы и пошел вдоль гранитной балюстрады, за которой, далеко внизу, курясь дымным утренним туманом, бесшумно и неуклонно текла река.

Что делать? Слова стояли в его сознании, но не как вопрос, уже хотя бы потому, что ясно было: сделать ничего нельзя.

Скрыться? Некуда. Во всей стране у него лишь в этом городе были родственники, да и среди них считанные — только самые бедные и неудачливые — поддерживали

с ним отношения. С другими дальше первого знакомства и умилительных охов и ахов по поводу его патриотического поступка — возвращения на родину — дело не пошло.

Бежать за границу? Но как это сделаешь, когда с тобою старая мать? Да зачем, собственно, он должен бежать, он, не чувствующий за собой никакой вины перед родиной? Да и перед режимом — хотя режим этот, как он убедился, был даже хуже, чем о нем говорили самые ожесточенные противники за рубежом,—даже перед этим режимом у него никакой вины нет. Наоборот — есть заслуги.

Но что-то делать все-таки надо. Эта мысль, повторившись, обернулась к нему другой стороной. Опять же не как вопрос, а как приказание, как моральный императив. Теперь, когда он узнал, что ему грозит, жизнь не могла идти как прежде. Требовались какие-то иные ее проявления, возникали новые пути, выплывали новые обстоятельства, нарушалась привычная взаимосвязь явлений. Он еще обдумает свое положение, все хорошо обдумает, но уже сейчас ему необходимо что-то решить, что-то предпринять.

Первым из этого нового ряда пришло в голову Леопольда соображение, что человек, предупредивший его об опасности, подвергает себя страшному риску. Ведь будь Леопольд болтуном или малодушным, окажись он, в конце концов, не в силах противостоять тому, чему его несомненно подвергнут в случае ареста, и он выдаст человека.

Леопольд был уверен лишь в том, что не проболтается. Очень надеялся, что не поддастся угрозам. Но выдержит ли он пытки?

Если будут просто бить, даже очень сильно — выдержит. Трудно об этом думать, трудно и страшно, но он знал, что побои — выдержит. Но ведь говорят (теперь ему вспомнились рассказы беженцев из Германии и статьи в газетах), они применяют ужасные, изощренные пытки, которые нормальный человек выдержать не в состоянии. Воображение высвечивало на внутреннем экране такие способы. И он знал, что этого он не выдержит. Он скажет все, что они захотят. Так неужели же он выдаст того человека? Леопольд почувствовал

ужас и стыд, будто уже совершил предательство. Так что же делать? Третий раз повторились эти слова, и теперь уже как вопрос. Не просто вопрос, один из тысячи вопросов, всегда и везде стерегущих человека, а такой, не ответив на который он не сможет жить дальше, потому что вопрос этот не даст ему ни секунды покоя, будет гудеть в нем беспрестанно, тревожно, наводя тоску и отчаяние.

Забыть его лицо! Вот выход! Забыть окончательно, так, чтобы ни при каких обстоятельствах не быть в состоянии опознать. И решив это, Леопольд почувствовал, что поступает наоборот: он невольно вызвал в памяти сцену на лестнице. Так человек сперва притягивает к себе предмет, приближает, чтобы с большей силой отбросить подальше. Непривычным усилием он погасил в себе картину встречи, она тотчас вновь вспыхнула, он снова погасил, и его осенило, что лучше всего будет противопоставлять ей какое-нибудь приятное и яркое зрительное впечатление. Он перебрал немало детских и юношеских эпизодов, прежде чем выбрал следующие: любимая киноактриса в купальном костюме; момент, когда он забывает решающий гол за команду своего университета, гол, принесший им звание чемпионов штата; приезд отца на дачу.

Да, эти картины способны погасить зрительное (но только зрительное!) воспоминание о встрече с человеком.

Леопольд провел эксперимент: восстановил мысленно эпизод на лестнице и тут же переключил рычажок. Тотчас возникла ослепительная Бэтти Грэйбл со своим пышным бюстом, тонкой талией и умопомрачительными ногами. Улыбающаяся, торжествующая, гордая своей победоносной красотой. Сама радость жизни... Да, этот вариант сработал. Леопольд хотел было проверить два других, но понял, что ведь тогда еще два раза придется вызвать образ человека на лестнице, а это было опасно. Не надо. Главное — забыть, и лучший способ для этого — не вспоминать.

Но этого мало. Надо что-то сделать для себя... Нежели же он обречен? Не может того быть, ведь он ничего плохого не сделал ни им, ни вообще кому-либо. Леопольд грустно усмехнулся: вот и он уже начал ду-

мать о режиме в третьем лице. Какой парадокс! Там, в Америке, всегда говорил «мы», отождествляя Германию с режимом, а себя и с тем и с другим. Когда приехал сюда, его поразило, что про власть все говорят: «они», и хотя многие являются ее приверженцами и почти все лояльны, никто себя с ней не отождествляет. Что же касается Леопольда, то власть ему быстро показала, что он не только не свой, но и никогда им не станет.

Это бесконечное мыканье в поисках работы. И везде, как по трафарету: настороженный, неохотный прием; рассказ о себе; лед тает; расспросы, сочувственные реплики. «Трудно жить без родины? — Да, конечно. Поэтому и приехал. — Что ж, такой человек нам нужен. Оставьте заявление и приходите через неделю (три дня, пять дней...)». А через неделю секретарша, не глядя в глаза, сообщает, что начальник занят и завтра тоже будет занят и что надо прийти еще через неделю, а через новую неделю назначается еще более отдаленный срок и, в конце концов, объявляется, что вакансии в настоящее время нет. И так — везде, и так — из месяца в месяц. Сперва возникла неуверенность в себе, потом появилась растерянность. Что же это такое? Неужели я здесь никому не нужен? Неужели возрожденной Германии, строящей новую жизнь, справедливое общество для каждого немца, ни к чему мои знания, мой опыт, энергия? Ведь я всю душу им отдавал, и там, за границей, они умели меня хорошо использовать! А здесь что же? Я — лишний, я — чужой? Зачем же было звать нас, зачем пускать?

А пока уходили вещи... — По воскресеньям он продавал на черном рынке что-нибудь из отобранных матерью ценных вещей. Каждая хранила тепло отчего дома, каждую приходилось с мясом отрывать от сердца. И мать с сыном, стараясь экономить на всем, чтобы расстянуть подольше, проедали вырученные деньги. Но ве-щей было немного. Отец, когда-то человек очень состоятельный, разорился во время великого кризиса и вскоре умер. Последние годы фон Халлеры жили только на заработки Леопольда.

Постепенно вырисовывалась закономерность происходящего. Над их жизнью в Германии тяготела враждебная, беспощадная и всемогущая сила, она нависала

над ними, незримая, но явственно ощущаемая, и переполняла душу невыносимым сознанием безысходности и непоправимости.

Вспоминались споры с прежними друзьями, сомнения и колебания одних, бескомпромиссность других, собственные наивные иллюзии.

— Альберт, а ты разве не едешь? — спросил Леопольд незадолго до отъезда одного своего близкого приятеля, тоже немца, рожденного в Америке.

— Нет, — коротко и, как показалось Леопольду, неохотно ответил тот, глядя в сторону.

— Почему же? Ведь ты всегда считал себя немцем!

И тут Альберт произнес слова, поразившие Леопольда своей неожиданностью. Собственно неожиданными они звучали именно в устах Альберта, а вообще-то этот довод приходилось слышать часто:

— Я не поеду туда, откуда не смогу уехать, если мне там не понравится.

И хотя в тот момент Леопольду казалось невероятным, чтобы немцу могло не понравиться в Германии, он не мог не почувствовать серьезности этого довода и промолчал, подумав, однако: «Ну, мне-то там не понравиться не может!». Они с Альбертом сразу оказались по разные стороны баррикады и больше не искали встреч.

Да, бывают случаи, когда наивность теряет право на столь безобидное название...

Перед Леопольдом вдруг встало лицо человека, встреченного на лестнице. «...Жалко будет, если человек пропадет...». Леопольд резко зажмурился и попытался переключить рычажок. Но на этот раз Бэтти Грэйбл не помогла. Как два снимка, снятые случайно на один кадр, наложились друг на друга два образа, и пожилой ветеран на этом кадре проступал резче. Леопольд призвал на помощь отца.

Величественный, красивый старик с бородой лопаточкой и гордой посадкой головы улыбнулся ему из тамбура подъезжающего вагона. А он, вырвавшись от крепко держащей его за руку матери, стремглав бросился к поезду, весело пахнущему железным жаром перегретых колес, черным смазочным маслом и ветром дальних дорог.

— Здравствуй, здравствуй, мой мальчик! — говорит отец сдержанно, но очень ласково. — Ну как ты тут? Не шалишь? Не скучаешь?

А маленький Лео отвечает только одним словом, само повторение которого доставляет ему невыразимое наслаждение: папа! папа! папа! и прижимается щекой к большой и холеной, пахнущей дорогим французским одеколоном руке с красивыми, крепкими ногтями.

Отец с его постоянной, возвышенной мечтой о родине, о ее возрождении, с его благоговением перед ее культурой и верностью традициям, отец, сумевший на чужбине воспитать в сыне такую же возвышенную и бескорыстную любовь к Германии, гордость своей принадлежностью к германской нации... Если б ты знал, отец, что делают с твоим сыном на родине!

Юлиус фон Халлер никогда не доверял национал-социалистам и сына предостерегал против увлечения их идеями. Но в последние годы он начал думать, что иного пути у Германии нет. Германский народ сделал свой выбор. Юлиус фон Халлер выбрал бы иначе, но он склонялся перед суверенной волей народа. Все-таки национал-социалистам нельзя отказывать в энергии, в том, что стараются они для Германии и знают, чего хотят. За это им можно простить многое. И умирая, старый фон Халлер благословил жену и сына на возвращение в Германию.

Леопольд дошел до моста. Теперь перед ним был выбор: перейти через реку и пешком подниматься к центру или сесть в трамвай и поехать кружным путем. По времени получалось одинаково, но ехать трамваем ему не хотелось. Нужно побить одному, он еще не все продумал... А что, собственно, продумал? Да ничего. Что решил? Какой план действий принял? Никакой! Да и какой можно принять, когда от тебя ничего не зависит. Будь он на самом деле врагом, заговорщиком, злоумышленником против власти, ему было бы что делать. Получив такое предостережение, он бы немедленно оповестил всех других (ведь тогда-то он не был бы так одинок!), уничтожил компрометирующие бумаги, письма, фотографии. Может быть, скрылся бы. О, тогда ему было бы куда скрыться и его научили бы как.

А такой — кому он нужен? Матери. Жене.

Если с ним это случится, мама, наверное, умрет. Жаль, что они оба не умерли раньше, до появления Луизы в его жизни. Они ведь с матерью думали об этом во время отчаяния первых месяцев.

Как-то раз он пришел домой после очередного отказа в работе, отказа в таком учреждении, на которое он очень надеялся, где он был бы как раз на месте. Но его не взяли. Опять были бегающие глаза секретарши, опять отговорка, даже не претендующая на оригинальность или правдоподобие: «Вам просили передать, что у нас нет свободных вакансий!». Безжалостная, жестокая сила довлела над его судьбой.

А мама так надеялась, так уверяла Леопольда (а, может быть, больше себя?), что уж здесь-то он работу получит, именно такой человек, как Леопольд, и нужен в этом месте. Мама так горячо целовала его, когда он уходил, так истово крестила и шептала напутственную молитву...

— Ну что, Лео? — встретила она его со своим обычным нетерпением, вглядываясь тревожно в его лицо близорукими глазами.

Мамины глаза! Если б даже больше ни в чем они не были виноваты перед ним, он не простил бы им отчаяния и смятения в этих добрых, беззащитных глазах, когда он, стараясь сдержать собственное смятение, коротко ответил:

— Ничего. У них нет мест, мама.

Мать промолчала, и Леопольд, чтоб не встречаться больше с ней взглядом, чувствуя себя виноватым перед этим единственным в ту минуту близким человеком на всем свете, отвернулся и стал снимать пальто. Жили они тогда в одной комнате, в полуподвальном этаже. Тут же стоял допотопный умывальник, и Леопольд, чтоб оттянуть неизбежный и мучительный рассказ о том, как он пришел туда, как ему отказали и что он думает по этому поводу, стал неторопливо мыть руки и потом долго их вытирая.

И вдруг он услышал странный звук, — сдавленный и приглушенный. Он резко обернулся и в полуумраке их, убогой комнаты увидел мать. Она все так же сидела за столом, глаза у нее были сухие, но глечи конвульсив-

но поднимались и опускались, и новые звуки, такие же странные, вырывались из ее крепко сжатых уст.

Мать была человеком большой внутренней силы и мужества и даже сейчас пыталась сдержаться, овладеть собой. Но есть вещи, которые человеку не под силу.

Леопольд, потрясенный, молча смотрел на мать, не имея слов, чтобы утешить ее. Он и сам находился в состоянии, близком к тому, которым была охвачена мать.

— Вот... тебе... твоя... Германия! — вырвались наконец у матери первые слова. — Ты так любил ее, так стремился к ней... Вот... получай... за свою любовь, за свою преданность...

— Мамочка, не надо... Успокойся...

Стоило Леопольду произнести первые слова, как слезы обильным потоком хлынули из его глаз.

— Это я, я привезла тебя сюда! Боже, зачем я это сделала! Почему не отговорила, почему не потонул наш пароход! Это я во всем виновата...

Леопольд опустился на колени перед матерью, целовал ей руки, что-то говорил, но она не слышала его слов, впрочем, как и он сам.

Потом оба притихли. Они сидели рядом все за тем же обеденным столом и долго молчали, обессиленные. В конце концов мать заговорила. Тихо, но совершенно явственно и спокойно, она сказала:

— Лео, мальчик мой, а что, если нам... уйти?...

Леопольд внимательно взглянул на мать. Она смотрела на него с пронзительной грустью, но в глаза ее, в их взгляд, уже вернулась гордая непреклонность польской аристократки.

— Ты права, мама... Это лучшее, что мы можем сделать. Все равно нам здесь жизни не будет... Но как?..

— Есть такое средство — цианистый калий. Все происходит мгновенно.

— Да, но как его достать? В аптеках не продают...

— Ты уверен?

— Я узнавал...

— Ты уже думал об этом? — спросила мать резко. Слова сына так остро и болезненно отзывались в ее

сердце, словно не сама она только что начала этот разговор.

Мысль, что сын уже прежде думал о самоубийстве, потрясла ее. Она вмиг забыла о собственных чувствах, она в эти мгновения думала лишь о том, что обязана поддержать сына, укрепить его дух, отвратить от греха, страшного, смертного греха, который церковь не прощает...

— Нет, Лео, только не это! — голос матери звучал уже почти твердо. — Ты меня прости, сама не знаю, как это я... поддалась минутной слабости. Не будем больше никогда об этом говорить. И думать тоже не будем. Это грешно. Нам послано испытание, мы должны его вынести. Ты в конце концов найдешь работу, так не может продолжаться до бесконечности...

— Но когда же, мама, когда? Я уже ни на что не надеюсь? Не знаю, куда еще обращаться...

— Пока человек жив — надежда всегда есть. Не оставляет надежды только смерть.

Леопольд вздохнул. В эти минуты он не верил убеждениям матери, но у него не было сил оспаривать ее слова. Хотелось молчать. Лечь на диван и молчать. Хорошо бы заснуть. Может быть, удастся. И он ответил без всякого выражения:

— Ты права, мама. Не будем больше сб этом думать. Не будем...

И вот теперь, когда он, наконец, начал работу, когда в жизни его появилась Луиза... Подумать только, что во всем мире он нужен только дзум женщинам, которые и узнать-то друг друга как следует не успели. Ведь он всего полгода как женат.

Бедная девочка! Напрасно она за меня пошла... Что ее ждет со мною?

Подошел трамвай, нужный номер. Стоявшие рядом устремились к вагону. Машинистко и Леопольд двинул-ся за ними... Нет. Пойду пешком, решил он. Время позволяет.

Он направился к мосту, сооруженному еще в прошлом веке, узкому, выбириющему от движения транспорта, не блещущему красотой. Но Леопольд любил ходить именно через этот мост. С него открывался прекрасный вид на город. Вернее, два. Если смотреть вниз

по течению, вставали районы старого города, с узкими средневековыми улочками и знаменитым древним собором, где Леопольд любил бродить в свободное время. Именно здесь он ощущал Германию, старую Германию, о которой ему с такой любовью рассказывал отец.

Если же смотреть вверх по течению, то угадывались центральные районы. Они расположены выше и не так хорошо видны, зато далеко просматривается действительно великолепная набережная, обсаженная пышно разросшимися липами. Какой аромат они источают в пору цветенья!

Леопольд остановился и посмотрел налево. Опрокинутые очертанья старого собора тускло змеились в тихой воде. Хотелось постоять здесь, подумать, сосредоточиться на своих мыслях. Может быть, удалось бы успокоиться. Но ему пришло в голову, что здесь на мосту он слишком заметен, а ему лучше не выделяться. И потом, может быть, в той стороне, куда он смотрит, находится какой-нибудь объект, интересоваться которым считается предосудительным. Бог знает, что им может взбрести в голову! Лучше уж не давать ни малейшего повода для подозрений. Только полная ясность для всякого, полная очевидность всех его действий и поступков может отвратить от него гибельные подозрения.

И ощущая на себе пристальный взгляд (хотя, осторожно обернувшись, он не заметил, чтоб кто-нибудь следил за ним), Леопольд, стараясь придать себе деловой и нейтральный вид, двинулся дальше.

||

Арестовали Вальтера Манна. Об этом фон Халлеры узнали от его матери, приехавшей хлопотать за сына.

Манны вернулись в Германию почти одновременно с фон Халлерами, но не стремились в крупные центры. Они поселились в небольшом горняцком городке. Вальтер работал там бухгалтером на одной из шахт, жена — шила. Жили они безбедно.

— И, главное, понимаешь, там спокойнее, — говорил Вальтер Леопольду, когда они однажды встретились. — Сейчас переходный период. Постепенно все

утрясется. Для нас самое лучшее — не мозолить глаза.

Он казался не то чтобы довольным, но спокойным и смирившимся с положением, в которое попали все приезжие. Был при деньгах. Вальтер находился в городе в командировке. Леопольд позвал его к себе обедать, и, пока выбирал в гастрономе бутылку вина и кое-что из закусок, Манн успел подобрать в ближайшем цветочном магазине красивый букет, который очень галантно преподнес Луизе.

Обед прошел оживленно, почти весело. Леопольд и Вальтер вспоминали прошлую жизнь, и, как всегда в подобных случаях, в голову приходили главным образом забавные эпизоды. Расстались они, обменявшиеся адресами.

— Видишь, Лео, — сказала Луиза после ухода Вальтера. — Твой приятель вовсе не такой пессимист, как ты. Право же, мне порой кажется, что ты слишком мрачно смотришь на вещи.

И вот Вальтера уже нет. За что его могли взять? Он никогда не интересовался политикой. Леопольд не мог припомнить ни одного его высказывания о новом строев в Германии. Ни за, ни против. Типичный обыватель, но неплохой и совершенно безобидный парень. Когда многие потянулись в Германию, поехал и он.

— Ведь я же немец, черт возьми! — говорил он запальчиво в кругу друзей, обращаясь больше всего к самому себе, потому что никто не утверждал обратного. — Германия возрождается, должен же и я принять участие в этом! Не на готовенько же потом приезжать.

Что ему могли поставить в вину? В чем заподозрить? Некоторая неразборчивость в знакомствах? Фон Халлеры в Штатах стояли на несколько ступеней выше Маннов по общественной лестнице, и Леопольда всегда коробила компания Вальтера. Но чем могли интересовать государственную тайную полицию третьего рейха девицы сомнительного поведения и мелкие дельцы, составлявшие круг Вальтера Манна? Неужели у них нет дел поважнее?

Невозможно поверить, что Вальтер приехал на родину с нечистыми целями. На такое Вальтер не способен. Это — простой, бесхитростный человек, которого

грех обидеть, потому что и он, несмотря на свою не-заурядную физическую силу, никогда в жизни никого не обидел. Он даже в юности ни с кем не дрался, хотя мог побить любого.

И тем не менее Вальтер арестован. Он в гестапо. Пытают ли его? В народе идут глухие слухи о страшных пытках, которым подвергаются подследственные, о каких-то шкафах, где можно только стоять и в которых человека держат часами, пока он не потеряет сознание от усталости или удушья.

Бедный Вальтер! Неужели он проходит через все это?

...А ведь его наверняка спрашивают обо мне!.. — вдруг грянуло в мозгу Леопольда, и он содрогнулся. Ведь Вальтер может не выдержать и наговорить на меня бог знает что!

Неужели такая судьба угрожает всем? Ведь вот, ходят же люди по улицам, работают, смеются, разговаривают, влюбляются, занимаются спортом... В общем — живут. Конечно, прежняя его жизнь была другая. Не приходилось осторегаться: с кем и что говорить, что можно делать и чего нельзя. Кто об этом думал? Главное — не потерять работу. Но и здесь есть какая-то радость у людей. Без радости человек не может. Если радости мало, очень мало, она все равно разрастается, как кислое тесто в форме, пока не заполнит всего места, отведенного для нее в душе человека.

Вот и я нашел свою радость: Луиза. Милая, чистая, ласковая. Даже трудно понять, как в этой стране могла вырасти такая.

А что же Гильда? Она предсказывала: «Ты забудешь меня, Лео. Очень скоро забудешь. Встретишь девушку и женишься, а меня забудешь. Что ж, поезжай. Ищи свою судьбу, строй свою жизнь. А я буду потихоньку стареть». Он встретил девушку и женился. По любви женился. Но Гильду не забыл. Луизе — свое место. Гильде — свое. Любовь не вода. Воду в колодце можно вычерпать до дна. Любовь же — наоборот. Чем больше черпаешь, тем больше ее остается.

А ненависть? Можно ли ее исчерпать? Почему у них столько ненависти? Каков ее источник? Они ненавидят всех. Для них — нет хороших. Как поздно я это понял!

Дома ждала новость. Луиза, вернувшись из института, рассказывала:

— Ты знаешь, у нас в группе новый студент...

Леопольд, поглощенный своими мыслями, отозвался однозначно.

— Да?

Луиза немного обиделась:

— Ты не находишь это странным?

— А почему, собственно?.. — начал он и тут же, как будто сорвался с ветки, на которой сидел прочно и спокойно... Переспросил: — Новый студент? В вашей группе?

— Вот именно.

— Откуда он перевелся?

— Никто не знает.

Наступила тягостная пауза. На последнем курсе, за полгода до государственных экзаменов, — новый студент? Грубая работа. От них можно было бы ждать более тонкой.

Между тем Луиза, понизив голос, хотя никого больше в комнате не было, заговорила тревожно:

— Меня предупредили, что он следит за мной. Я очень боюсь, Лео!

Луиза подсела на диван и прижалась к Леопольду. Он обнял ее за плечи, но молчал. Что скажешь? Над головой нависла глыба и могла сорваться в любую минуту. Он физически ощущал ее немую угрозу.

Луиза продолжала, почти шепотом:

— Я не знаю, что ему надо. Один раз мы разговаривали с девочками в коридоре. Я неожиданно обернулась. А он стоит поодаль и смотрит на меня. Взгляд тяжелый, темный — упрется глазами и прилипнет, словно у него присоски. Увидел, что я заметила, и отвернулся.

— Тебе это, наверное, кажется, Луиза. У тебя нервы... В твоем положении... — заговорил Леопольд, сам не веря своим словам, но чувствуя необходимость как-то успокоить ее, да и себя тоже.

— Ах нет, нет, Лео, я это точно знаю. Мне ребята из гитлерюгенда сказали. Меня предупредили. У нас там хорошие ребята, не такие, как бывают...

Леопольд молчал. Настоящих слов не было, а

Луиза не тот человек, с которым можно говорить словами фальшивыми или неискренними.

Итак, еще один...

Недавно около их дома появился сапожник. Странный сапожник. Если б не встреча с человеком на лестнице, Леопольд, может быть, не заметил бы странностей этого сапожника: молодой и здоровый, а сапожниками здесь обычно работают пожилые люди или инвалиды. Сидит прямо под открытым небом. И уж очень много старой обуви около него. С первого же дня — завален работой. А между тем — не спешит. Шел Леопольд утром на службу, запомнил женскую туфлю у него на колодке. Шел в конце дня со службы — а у него та же туфля на колодке. Тогда же озорная мысль пришла в голову Леопольду. У него как раз прорвалась подметка на одном ботинке. Он и отнес его сапожнику. О цене договорились быстро, готово будет послезавтра. «А завтра нельзя? — Не успею. — Ну, хорошо, послезавтра». А на следующий день, проходя мимо, Леопольд как бы невзначай остановился и попросил дать ему ботинок: хочу, мол, показать еще какой-то изъян. Ботинка не оказалось, чем сапожник был немало смущен. Видимо, отдал починить настоящему сапожнику.

Как-то вскоре после Нового года Леопольду приснился отец. Приснился впервые с тех пор, как умер. В синем английском пальто и черной велюровой шляпе, которые он носил лет за десять до смерти, отец выглядел, как в те отдаленные годы: чуть старомодным, но очень элегантным. Бледный, грустный и молчаливый старый фон Халлер возник перед сыном у подъезда их дома на главной улице довольно большого, но тихого провинциального города, где они жили, сколько Леопольд себя помнил. Он молча взял сына за руку и, все так же молча, повел за собой по совершенно безлюдной улице в темноту ночи. Что-то укололо Леопольда в сердце. Он слегка вскрикнул и, проснувшись, обнаружил, что держит его за руку спящая Луиза. Леопольд сел на постели и огляделся. Окно чуть обозначалось белой рамой. К стеклу плотно приприняла ночь и пристально смотрела в комнату пустыми глазницами. Стояла свойственная глухим

часам всеобъемлющая тишина, которой не противоречили гулко отдававшиеся в безлюдных проемах улиц шаги одинокого прохожего.

Леопольд почувствовал себя ничтожно-маленьким, слабым и беспомощным в этом недоброму, неизвестно что таящем мире, молчаливо и зловеще обступившем его со всех сторон.

Какая у него защита? Чистая совесть? Но она, наоборот, является дополнительным раздражителем для тех, кто ее лишен. Любовь этой милой девочки? Что для них такие чувства? Разве они знают, что такое любовь? Если бы они испытывали когда-нибудь это чувство, разве они были бы тем, кто они есть?

Так кто же его защитит, кто спасет? Эти старые стены, эта дверь, которую можно высадить простым нажатием дюжего плача?

Что делать, где спасение? И почему нужно ждать спасения? Кому нужна моя гибель? Германскому народу? Вздор! Им? Даже им моя гибель не нужна. Я им ничем не вреден, не опасен. Так почему же они создали такое положение? Чего они хотят, в конце концов? Каковы их истинные цели?

— Лео! Почему ты не спишь? — услышал он шепот Луизы, и так напряженны были его нервы, что он вздрогнул от неожиданности.

На белой подушке волнисто рассыпались ее каштановые волосы, но лицо тонуло в темноте.

Вместо ответа он протянул руку и осторожно погладил жену по лицу. Она потянулась головой и поцеловала его ладонь. Потом взяла его руку обеими своими горячими руками и прижала к груди. Он ощутил, как бьется ее сердце учащенными, нервными толчками.

— Лео, — снова зашептала Луиза. — Ложись, мне страшно.

Леопольд лег на спину, накрылся одеялом по самые плечи и крепко обнял жену. Она прильнула к нему молодым, гибким телом, а голову уютно положила в углубление между плечом и грудью. Оба лежали, затаив дыхание и прислушивались к тому, что происходит вовне. Но ничего не было слышно. Даже наводившие тоску своей отрешенностью шаги прохожего затихли, словно растворившись во мраке. Тело Луизы изливало тепло в

Леопольда, и вместе с ощущением сонной истомы приходило успокоение. Страх всегда связан с холодом. Тепло — спокойствие.

«Ну что я так разнервничался? Что случилось? Еще надо проверить, к чему такой сон. Может быть, ничего плохого он не сулит», — говорил себе Леопольд, и ему постепенно удалось если и не восстановить спокойствие полностью, то приглушить тревогу.

Луиза мерно дышала, и при каждом вдохе ее грудь касалась его бока. Он ощущал ее нежность и волнующую, налитую округлость даже через белье. Она давно уже спала. И магия домашнего уюта, тепла и любви оказала действие — незаметно для себя он уснул.

На следующее утро было воскресенье. Они спали допоздна и потом еще долго нежились в постели. День выдался тихий и ясный. Январское солнце — мягкое, как бы не уверенное в своих силах, — заливало жидким золотом склон горы, видный из окон комнаты. Оочных страхах не помнилось. Из ванной доносился плеск воды — Луиза принимала утренний душ, и Леопольд, представив, как исходящие паром струйки извилисто стекают по ее гладкому, блестящему телу, подавил в себе желание распахнуть дверь и увидеть ее обнаженной при дневном свете. Но Луиза, как и мать Леопольда, — католичка — была воспитана в строгих правилах морали, и ее коробили подобные вольности. Вот Гильда — та бы не возражала.

Леопольд подошел к окну, отворил его и, вдохнув ядреный, пахнущий яблоками и свежим морозцем воздух, начал делать гимнастику.

И вот, когда он проделал уже часть своего комплекса движений, ему, как тогда на мосту, пришло в голову, что кто-нибудь, наблюдающий за его домом (а ведь наблюдение наверняка ведется!), может подумать, чего недоброго, что он подает знаки на противоположный склон горы. Он резко остановился, пораженный неожиданным соображением. Возможно ли такое? Да нет, что за нелепость! Нельзя же человеку запретить заниматься утренней гимнастикой! А никто и не запрещает... Но за самыми невинными твоими действиями следят холодные, одурманенные всеобъемлющей ненавистью и недоверием глаза, не вedaющие пощады, чужды здравому

смыслу, враждебные человеческому достоинству. К тому же ведь умные под чужими окнами не стоят, это удел самых тупых, больше ни на что не годных. Такому мало ли что может взбрести в голову. Нет, лучше от греха подальше.

Леопольд закрыл окно и продолжил гимнастику в глубине комнаты.

Появилась Луиза, в домашнем халатике, свежая и оживленная, с глазами, излучающими то особое сияние радости и жизненной силы, которое свойственно молодым, здоровым женщинам, сознающим, что они привлекательны и любимы.

— Ну, Лео, твоя очередь, — заговорила она, подходя к туалетному столику и начиная перебирать там всякие принадлежности. — Только не возись долго. Мама ждет нас ровно в два.

Воскресные обеды у тещи были скучноваты, но ее добродушие и гостеприимство искупали монотонность застольной беседы и ее однообразие.

Мысли Леопольда приняли другое направление, и соответственно стало изменяться настроение.

«Может быть, все мои опасения — вздор? Просто у меня расшатались нервы?» Как-никак, а первые месяцы невыносимого одиночества и отчаяния миновали. На работу он устроился. Правда, в газетах по-прежнему не принимали его материалы, но, может быть, он действительно не умеет писать так, как пишут в Германии? Ведь нельзя не признать, что стиль американских газет сильно отличается от стиля немецких. И все-таки жизнь налаживается. Появились друзья, складывается новый быт, приспособленный к этой жизни. Она очень тускла и сурова, эта жизнь, но и в ней появились проблески, даже возникают свои традиции. Вот хотя бы эти воскресные обеды у тещи. Они очень милы и трогательны. И всем этим он обязан Луизе, ее удивительному свойству излучать душевное тепло и умиротворение, вносить внутреннюю гармонию и ясность в его существование.

~ Но следят же за ним, нет никакого сомнения, что следят! Ну и пусть следят! Это их право. Только пусть добросовестно следят. Ведь я — свой, я — немец. И если они добиваются величия и счастья Германии, то и для меня это цель жизни.

Его оставят в покое, его не тронут. За что его брать? Он ничего плохого не делает, а его заслуги за границей пусть незначительны, но бесспорны.

А Вальтер Манн? Что ж, Вальтер Манн всегда был обывателем. Он мог сболтнуть что-нибудь... Конечно, это аморально — арестовывать человека за неосторожно сказанное слово, но это в их духе. Тут уж ничего не поделаешь. Не хочешь погибнуть — молчи, смирись. Это трудно, это почти невозможно — смириться с таким злом, с такой ложью, ложью тем более отвратительной, что рядится она в одежды возвышенной правды. Но выбора нет. Теперь уже выбора нет. Он был у тебя три года назад. Ты мог остаться свободным, но ты выбрал неволю.

Леопольд все стоял под душем, и прохладные струи, стекавшие по телу, уже начинали вызывать озноб. В дверь постучала Луиза — торопила. Леопольд закрыл кран.

Накинув махровый халат, с полотенцем вокруг шеи — он напоминал в таком виде профессионального боксера — Леопольд вышел в комнату. Луиза была уже одета и, сидя перед зеркалом, расчесывала свои блестящие, отливающие медью волосы, которые потрескивали под гребнем. Голубая лента лежала наготове. Леопольд оценил эту деталь. Луиза знает, что он любит, когда она повязывает эту ленту вокруг головы.

— Как долго ты возишься, Лео, — сказала Луиза с упреком, но улыбаясь. В глубине души ей импонировала чистоплотность и аккуратность мужа.

— Сейчас, сейчас. Я — мигом! — отозвался Леопольд.

Вид Луизы вновь подействовал на него успокаивающее. Впереди был долгий свободный день — без спешки, необходимости тесно соприкасаться с чужими, чаще всего малоприятными людьми, согласовывать с ними какие-то неинтересные вопросы, куда-то звонить, самому отвечать на звонки, читать скучные бумаги, переправлять их дальше, короче говоря, делать то, что носит туманное, но довольно внушительное название: служебные обязанности.

III

Леопольд жил далеко от места своей работы и, чтоб поспеть к половине девятого, ему приходилось вставать в семь утра. Спал он чутко, и как только будильник посыпал своей стеклянной дробью, немедленно вскочил и прикрыл звонок рукою, чтоб не проснулась Луиза. У нее было время спать еще около часу.

Мать уже встала. Из ее комнаты, служившей одновременно столовой, доносилось позвякиванье посуды. Тереза фон Халлер накрывала стол.

В полчаса Леопольд собрался и, наскоро выпив большую чашку кофе с молоком и съев яичницу, стал надевать пальто.

— Сегодня холодно, Лео. Не забудь теплый шарф, — сказала Тереза.

— Напротив, мама. Как раз не холодно.

— Как это так? Пятнадцатое января — самые морозы!

Леопольд слегка улыбнулся. Тоже мне морозы! — но спорить не стал. Теплый шарф — еще из старых, привезенных с собою вещей — был красивой расцветки, мягок и приятен на ощупь.

Перед тем как надеть шляпу, Леопольд, по давно заведенной привычке, поцеловал у матери руку, а та его в лоб и перекрестила. Старая фон Халлер была набожной женщиной.

Деревянные ступени ветхой лестницы заскрипели и заходили под ногами быстро спускавшегося Леопольда. Мощеный бульжником переулок круто заворачивал к перекрестку — тому самому, который облюбовал уличный сапожник. Чтоб пройти к центральной площади кратчайшим путем, следовало спуститься по лестнице между старыми домами и выйти на тихую улицу. Эта улица очень нравилась Леопольду. Обсаженная с обеих сторон каштанами, с небольшими, но красивыми домами, за окнами которых угадывалась благополучная, хорошо наложенная жизнь, она напоминала ему лучшие улицы его родного города и навевала ощущение покоя и внутренней гармонии, которых так жаждала его душа.

Было уже почти совсем светло, но солнце еще не показалось и сизый утренний воздух дышал туманом.

Ночные тени медленно отступали в подворотни и таились там.

Не замедляя шага, Леопольд взглянул на часы. Без двадцати трех восемь. Сносно. Времени достаточно.

На перекрестке, уткнувшись носом в подъезд одного из домов, стояла черная легковая машина, но Леопольд не обратил на нее внимания. Вот и лестница. Хоть бы ступени не были скользкими, а то перил нет, можно упасть.

— Судары! — раздался возглас сзади, но Леопольд не отнес его к себе и продолжал идти, поглощенный своими мыслями.

Послышался звук ускоряющихся шагов. Кто-то бежал ему вслед, и Леопольд понял, что звали его. Не останавливаясь, но замедлив шаг, он обернулся. Справа от него, чуть сзади, некто в черном пальто и серой кепке, надвинутой на лоб, догнав Леопольда как раз в это мгновение, обратился к нему:

— Ваша фамилия?

— Фон Халлер, — ответил Леопольд машинально, все еще продолжая идти.

— Полное имя?

— Леопольд - Юлиус...

Догнавший нахмурился, как будто звук имени Леопольда был ему чем-то неприятен. Он остановился, слегка загораживая путь. Леопольд тоже невольно остановился.

— Пойдемте! — догнавший мотнул головой куда-то назад. Голос его звучал категорично, но не вызывающе и не враждебно.

Все так же машинально Леопольд повернулся и пошел в обратную сторону рядом с незнакомцем. Поодаль возникла коренастая, приземистая фигура еще одного в черном пальто и серой кепке. Оба были в сапогах. Фигура, очевидно, вылезла из какой-то подворотни. Все трое сошлись на уровне черной машины. Коренастый неизвестно чему улыбался, держа руки в карманах пальто.

Первый, — только сейчас Леопольд разглядел его лицо с аккуратно пробритыми черными усиками, — подойдя к машине, открыл заднюю дверцу и сказал, еще больше наступивши:

— Садитесь.

Коренастый в это время с безмятежным видом обходил вразвалку машину, чтобы сесть спереди. Только тут Леопольду пришло в голову, что надо как-то проявить себя, что-то сделать. Он остановился и недоуменно, чуть недовольным тоном спросил:

— А, собственно говоря, кто вы такие будете?

— Из управления городской полиции,— ответил усатый успокоительно. Вернее, это так прозвучало для Леопольда, поскольку он не услышал слова: гестапо.

Усатый сел рядом, коренастый с переднего сиденья обернулся и разглядывал Леопольда в упор, продолжая улыбаться. Шофер с вихрастыми, льняного цвета волосами спросил что-то вполголоса и, получив подтверждающий кивок, тронул машину.

Словно туман — теплый и душный — окутал Леопольда. Он сидел молча и напряженно, все еще на что-то надеясь, но уже понимая, что случилось то, чего он боялся больше всего.

Миновали лестницу, до которой дойти ему не хватило трех-четырех шагов, выехали на тихую улицу с разлапистыми каштанами, и автомобиль свернул в сторону противоположную той, где находилось управление городской полиции.

— Куда мы едем? По какому делу? — раздался вопрос, и Леопольд понял, что спрашивает он сам.

— А вот приедем — узнаете, — уклончиво ответил сидящий рядом.

— Я могу на работу опоздать!

— Это мы уладим.

Коренастый все улыбался, и казалось, что он сейчас что-то скажет, но он молчал.

Проехали мимо дома, где жил Отто, — самый близкий из здешних друзей Леопольда, у которого они с Луизой провели вчерашний вечер, слушая по радио концерт Грига, а потом играя в шахматы.

«Неужели я вижу этот дом последний раз?» — пронеслось в мозгу Леопольда.

Он сидел все так же напряженно и сквозь душный туман смотрел на упльывающие назад улицы с редкими еще прохожими. Что бы он дал, чтоб быть сейчас одним из них!

Неужели случилось? Тогда почему же нет страха?

Есть напряжение, есть этот туман, обволакивающий все вокруг и затрудняющий дыханье; есть слабость, парализующая волю, гасящая мысли, растекающаяся от плеч к рукам; есть ощущение пустоты в груди, даже сердца не слышно, и только кровь со страшной силой пульсирует в висках. Но страха нет.

Машина сделала еще поворот и затормозила перед черными, железными воротами. Гестапо.

Из будки выскочил молодой парень в той самой форме, но с лицом, на котором, кроме желания спать, не выражалось решительно ничего. Даже не взглянув на Леопольда, он обменялся с шофером односложными, невнятными репликами, принял какую-то бумажку и пошел открывать ворота.

Машина въехала во двор и остановилась у ближайшего входа.

Усатый, выйдя первым и держа дверь, сказал:
— Выходите!

Следуя за ним (коренастый куда-то исчез), Леопольд прошел несколько шагов по темному коридору и оказался в пустом, необожитом кабинете с пыльным и обшарпанным письменным столом.

Усатый подошел к столу и, взяв лежавший на нем небольшой листок бумаги, передал его Леопольду со словами:

— Прочтите!

Все еще без страха, а с растерянностью, недоумением и какой-то механической покорностью, Леопольд стал читать то, что типографским способом было написано на листке. Он дошел до последней строчки, но не понял, вернее, даже не прочел ни одного слова. Тогда, взяv себя в руки, он снова начал читать, и первые же слова открыли ему все: «Ордер на арест» — стояло в заголовке. Дальше почему-то от первого лица множественного числа говорилось, что группенфюрер такой-то приказывает, а советник юстиции I-го класса, прокурор по спецделам такой-то санкционирует арест германского гражданина Леопольда-Юлиуса фон Халлера и еще что-то, чего Леопольд читать не стал.

Как ни странно, но теперь, когда его положение определилось, состояние затуманенности, слабости и механической покорности вдруг исчезло. Он опять был

самим собой, сознающим свою правоту, готовым ее отстаивать всеми доступными средствами.

Он держал бумажку и перечитывал только два слова — фамилии подписавших ее. Рунге и Шварц. Группенфюрер Рунге, советник юстиции I-го класса Шварц. Запомним эти фамилии! Ну что ж, группенфюрер Рунге, невинных людей арестовывает? Желаю и вам оказаться когда-нибудь здесь, в моем положении!

Усатый с нетерпением и неудовольствием смотрел на Леопольда.

— Ну, прочли? — спросил он наконец, забирая бумажку из рук арестованного. — Вам понятно?

— За что меня арестовали?

— Вот встретитесь со своим следователем — узнаете, — все так же, довольно миролюбиво, хотя и не-приветливо ответил гестаповец. Тон его как бы говорил: я делаю свое дело, а остальное меня не касается. — Поднимите руки!

Леопольд не столько поднял, сколько развел руки в стороны, испытывая чувство неловкости от того, что стоит в такой покорной позе перед щуплым гестаповцем. А тот привычными движениями опустошил его карманы: кожаное портмоне, гребенка, носовой платок, связка ключей.

— У вас что, машина была? — удивился гестаповец, рассматривая один из ключей.

«Он уже говорит обо мне в прошедшем времени!» — с горечью отметил Леопольд, а вслух сказал:

— Да нет же. Откуда у меня машина? Это от шкатулки ключ.

— А это что? — спросил гестаповец, недоуменно вчитываясь в бумагу, только что извлеченную из последнего кармана Леопольда.

— Моя статья. Я предлагал ее в газету...

— Ну и что? — голос гестаповца зазвучал озабоченно.

— Не приняли. Указали на ошибку...

— Совершенно правильно указали, — с явным облегчением, но стараясь говорить сурово и многозначитель-но, произнес гестаповец, откладывая бумагу в сторону, будто в этой-то ошибке и заключалась причина, почему Леопольд оказался здесь.

«Болван! Много ты понимаешь!» — презрительно по-

думал Леопольд. Ошибка была стилистическая, из тех, которые любой редактор исправляет, даже не консультируясь с автором. Просто предлог, чтоб не печатать.

Гестаповец закончил беглый осмотр изъятых вещей.

— Снимите часы, — приказал он.

На лице Леопольда выразилось удивление и досада.

— Как же я без них буду?

— Вам здесь они не понадобятся.

Леопольд пожал плечами и отдал часы. И почему-то это движение, а вернее, последние слова гестаповца, снова лишили его твердости и способности сопротивляться, хотя бы внутренне. Механическая покорность, подавленность, внутренняя опустошенность вновь овладели им.

— Пойдемте! — между тем скомандовал гестаповец.

Они вышли, и сразу за дверью к ним пристроился рослый, мрачный детина в форме, но без знаков различия. Они поднялись по лестнице и пошли длинным коридором, куда-то сворачивая, проходя вестибюли, опять втягиваясь в коридоры и снова то поднимаясь, то спускаясь по лестницам. Ничего по пути Леопольд не запомнил, даже не заметил — настолько бездумно-покорно он двигался вслед за гестаповцем.

Наконец они оказались в светлом, хорошо обставленном кабинете. За столом сидел средних лет офицер в форме майора полиции безопасности, с небритым, утомленным лицом и высоким лбом, переходящим в глянцевато поблескивающую лысину. Офицер коротко и без особого интереса взглянул на Леопольда и сказал:

— Садитесь.

Леопольд шагнул было к стулу, стоявшему боком к столу, за которым сидел майор, но тот с неудовольствием махнул рукой:

— Туда! Вон ваше место!

Леопольд оглянулся и, увидев в углу табурет, сел на него. Он присел на самый край и с невероятным напряжением ждал, что скажет офицер. Но тот, будто не замечая его присутствия, сперва размашисто расписался на бумажке, которую положил перед ним арестовавший Леопольда гестаповец, а потом стал перебирать бумаги, лежавшие перед ним на столе, откладывая в сторону одни, собирая в папку другие и пряча в неуклюжий,

старомодный сейф третья. Время от времени раздавались звонки по телефону, на которые он однозначно отвечал. Раза три открывалась дверь, входили другие гестаповские офицеры, и каждый обворачивался с бесцеремонным любопытством, разглядывая Леопольда, словно какого-то диковинного зверя. Потом они заговаривали с хозяином кабинета, шутили, даже смеялись. Из короткого обмена фразами понятно было, что все они дежурили ночью и сейчас идут отдыхать.

Леопольду случалось видеть сотрудников имперских органов безопасности на улице и в общественных местах. Там они держались отчужденно, откровенно-неприязненно, высокомерно. А здесь, в свсем кругу, они, оказывается, совсем другие. Но это не утешало. Наоборот, их полнейшее безразличие к тому, что в углу сидит человек, не знающий, за что его сюда привели, и мучительно гадающий, что с ним здесь будут делать, — угнетало больше всего. Леопольд чувствовал, что он для них как насекомое, которое любой может раздавить каблуком, а может и не дать себе труда это сделать.

Солнце уже взошло, и в какой-то момент его золотые лучи брызнули в комнату, слоясь от решеток, которыми было забрано окно. И даже это теплое расцветание погожего утра угнетало, так оно противоречило тому холоду и мраку, в которые был погружен Леопольд.

Молчание становилось невыносимым, и Леопольд, склонившись, чтобы прочистить горло и стараясь придать своему голосу спокойствие и твердость, но без резкости, обратился к майору:

— Я хотел бы знать, почему я арестован?

Офицер посмотрел ему прямо в глаза и жестко, но без особой враждебности ответил:

— В должное время узнаете.

Опять установилось молчание, потом офицер, оторвавшись от бумаг, взглянул на ручные часы, снял трубку и набрал номер. По тому, что он никого не вызывал, а только три раза, отвечая на вопросы с того конца провода, произнес «да», Леопольд понял, что речь идет о нем.

Минут через пятнадцать в кабинет вошел высокий, широкоплечий человек в форме капитана — в шинели и фуражке. Он остановился посреди кабинета, обменялся

ся с майором невнятными репликами и обернулся. Круглые черные глаза навыкате уставились на Леопольда с внимательным любопытством, а на губах играла легкая улыбка, может быть, немного насмешливая, но никак не злобная, и Леопольду снова пришло в голову, что самое жестокое в этих существах и есть вот такое отсутствие личных чувств, пусть бы даже враждебных. Ведь и мясник, закалывающий барана, не питает к нему вражды. Он просто делает свое дело.

Высокий капитан вышел из кабинета, но Леопольду почему-то стало ясно, что с ним еще придется столкнуться.

Тем временем майор встал и начал надевать шинель. Леопольд внимательно следил за ним: что же, его одного оставляют? Но этого, конечно, не случилось. В дверь заглянул еще один, и при виде его сердце у Леопольда оборвалось и он почувствовал, как страх — не поддающийся контролю, унизительный, животный страх — охватил все его существо.

Квадратная голова на бычьей шее казалась высеченной из грубого камня. Особенно ужасала нижняя челюсть: тяжелая, с мощными желваками, змеисто ходящими под кожей щек. Низкий лоб с нависшими густыми бровями и молочно-серые, бездумные глаза, пристально уставившиеся в лицо Леопольду...

— Пойдем! — коротко произнесла голова, и Леопольд, ощущая слабость в коленях, встал и с тоской посмотрел на уже надевшего фуражку майора. Даже те томительные полтора часа, которые он провел с ним, показались сейчас навсегда утрачиваемым желанным благополучием.

Леопольд снова шел по бесконечному коридору и снова не замечал ни зарешеченных окон справа, ни обитых черным дерматином дверей слева. Он даже не знал, долго ли они идут. Он только неотрывно смотрел на фигуру шагавшего впереди гестаповца: на четко ступавшие ноги в сапогах, на мощный торс и атлетические плечи и — главное — на эту страшную шею, по которой, казалось, топором ударь — топор отскочит.

У одной из дверей квадратноголовый остановился, порылся в кармане брюк и, достав большой ключ, отпер замок. Он вошел в кабинет и, не оборачиваясь, сделал

жест в сторону табурета, стоявшего, как и в первом кабинете, в углу, причем здесь тоже было устроено с таким расчетом, чтоб открывавшаяся внутрь дверь прикрывала сидящего от случайных взглядов из коридора.

Первое, что сделал Леопольд, это поспешил разглядеть обстановку комнаты. Она была гораздо меньше той, из которой его привели, и, кроме письменного стола, двух стульев, дивана и небольшого сейфа, не содержала ничего. Это немного успокоило Леопольда: никаких приспособлений! Но все же лучше бы не было дивана!

Квадратноголовый, между тем, уселся за стол, достал из ящика папку, раскрыл ее и погрузился в чтение бумаг.

Опять потянулись минуты напряженного ожиданья, но страх, однажды овладев им, уже не отпускал, он только стал менее острым.

Что он молчит? Сколько же времени это будет продолжаться? Чего они вообще хотят от меня?

Леопольд пытался осмыслить свое положение, найти причину этого странного отношения гестаповцев, но не был в состоянии последовательно мыслить. Только отрывочные впечатления регистрировало его сознание, но связать их в логическую цепь и сделать выводы оно было не в состоянии. Мозг сверлила одна-единственная мысль: «Что будет? Что будет? Что будет?» Но ответа внутри себя он не находил, а квадратноголовый все молчал, словно забыв о его присутствии. Теперь он читал газету. Потом, сложив ее, стал смотреть в окно, но, кроме противоположного крыла этого же дома да кусочка синего неба над ним, ничего видно не было. Так продолжалось долго. Потом квадратноголовый посмотрел на часы и поднял трубку телефона:

— Мне Ламсдорфа, — коротко сказал он в аппарат.

Видимо, того не было на месте, потому что квадратноголовый молча положил трубку. Тогда Леопольд решил заговорить.

— Скажите, пожалуйста, за что я арестован?

С тоской и чувством унижения Леопольд сам слышал, что в голосе его нет той твердости, с которой он звучал при таком же вопросе в первом кабинете. Сейчас в нем была робость и просительные нотки. В момент

вопроса квадратноголовый смотрел в окно. Не поворачивая головы, как бы нехотя, он произнес:

— Сами знаете.

Леопольд опешил от этих слов — так убежденно они звучали. Неужели у них есть какая-нибудь веская причина? Леопольд напряг память, стараясь представить, что бы это могло быть, какой их закон он мог нарушить, но ничего в голосу не приходило. Он растерянно молчал, но тут же сообразил, что молчание может быть истолковано как признание вины. Все в нем восстало. Хотелось вскочить, протестовать, возмущаться. Но унизительный, неодолимый страх сковывал его члены, придавливая к сиденью. И он только выговорил, с трудом шевеля мертвееющими, плохо повинующимися губами:

— Я не знаю... — и снова услышал жалобные, умоляющие интонации своего голоса.

Но что-то в этом голосе, видимо, вывело квадратноголового из состояния абсолютного равнодушия, потому что он повернулся и, пытливо взглянув на Леопольда, сказал успокоительно:

— Вот придет ваш следователь — узнаете.

— Когда же он придет? — спросил Леопольд с тоскою, но на это квадратноголовый не нашел нужным отвечать.

Опять молчание, опять напряженное ожиданье, напряжение такое, что кажется, еще немного, и лопнет сердце, то замирающее, то принимающее стучать так, словно рвется вон из грудной клетки.

Квадратноголовый снова перебирал бумаги, шуршал газетой, смотрел в окно. Потом снял трубку и опять вызывал Ламсдорфа, и опять безуспешно. Леопольд догадался, что это, вероятно, фамилия его следователя.

А огромное учреждение жило своей сложной, зловещей жизнью.

По коридору беспрерывно раздавался звук шагов, иногда откуда-то доносились крики, приглушенные мягкой обивкой дверей. Окно, и здесь забранное решеткой, выходило во внутренний двор. Здание оказалось даже более необъятным, чем выглядело с улицы. Оно занимало большой квартал, полностью замыкая его, но

когда Леопольду случалось проходить поблизости, както не думалось, что внутри оно имеет столько поперечных и продольных крыльев.

Хотя окно было закрыто, слышалось, как время от времени распахиваются тяжелые железные ворота, въезжают и выезжают машины, перекликаются беспечными голосами шофера, и никому нет дела до того, что чувствует человек, уже несколько часов сидящий в молчании на табурете.

А Леопольд, поняв в конце концов, что квадратноголовый не призван заниматься им непосредственно, ощутил огромное облегчение. Он уже начинал постигать науку ценить разницу между очень плохим и еще худшим. И как только он понял, что самая страшная угроза слегка отодвинулась от него во времени, он сразу вспомнил мать и жену. Знают ли они? Как примут это ужасное известие? Что с ними будет? Что будет с ребенком? Ведь Луизе через четыре месяца рожать. Хорошо еще, что не так скоро. За это время он, наверное, уже будет дома. Сколько придется пробыть здесь: месяц, два? Только бы следователь попался опытный и добросовестный. Он сумеет быстро установить истину, он разберется в этом трагическом недоразумении. Какие бы они ни были, они не могут не оценить его заслуг перед Герmaniей, преданности ее интересам. Надо помочь им разобраться во всем. Видимо, произошла какая-то ошибка, может быть, ложный донос. Но кто мог это сделать, и зачем?

Леопольд перебирал своих знакомых. Были среди них разные люди, одни нравились больше, другие меньше, но не было ни одного, про которого можно было бы не колеблясь сказать: вот предатель!

За всю свою жизнь, даже в младших классах школы, Леопольд не пожаловался ни на кого, способность донести всегда считал самой низменной, самой подлой чертой человека и сейчас не чувствовал себя в состоянии оскорбить кого бы то ни было подозрением в доносе.

Но если не донос, то что же? Он пытался перебирать варианты, но ничего в голову не приходило. Та логика, по которой строилась его жизнь, никак не совмещалась с тем, что он увидел в этой стране. У них здесь не только свои законы, у них какие-то свои нормы жиз-

ни, общественных отношений, понимания своего человеческого и гражданского долга. И нормы эти столь же несовместимы с теми, на основе которых строится жизнь остального человечества, как, вероятно, условия существования на Земле отличаются от условий существования где-нибудь на Марсе.

Но вот Луиза, с которой он прожил уже около года, ведь она такой же человек, как он сам, как его мать. И Отто, и его родные, и другие новые друзья — все они люди, такие же, как он сам. Люди, может быть, плохо, вернее ложно, информированные о жизни за пределами их страны, может быть, зараженные манией преследования или шпиономанией, как пишется за границей, манией, столь свойственной их вождям, но все же обыкновенные, большей частью искренние и сердечные, способные и сострадать, и верить, и даже уважать чужие взгляды.

Да, но то — люди. А эти, вот те, что привезли его сюда и окружают здесь, разве это — люди? Разве люди могли бы схватить на улице ни в чем не повинного человека, привезти сюда и мучить столько времени этим ужасным неведением? А ведь это только начало. Кто может сказать, что еще ждет его здесь?

Четыре месяца до рождения ребенка... Как наивно полагать, что через четыре месяца он будет дома, что вернется как ни в чем не бывало. Ты знаешь кого-нибудь, кто вырвался бы отсюда? Отсюда не возвращаются...

Бедная Луиза... Что будет с ней, что будет с ребенком? Ребенком, который еще до своего рождения стал сиротой? Ведь недаром же тот, с усиками, говорил в прошедшем времени.

Леопольд внимательно посмотрел на квадратноголового. Что это за существо? Вот он сидит безмятежно за своим рабочим столом и опять, — явно без цели, — перебирает какие-то бумаги. Теперь снова смотрит в окно. Чего ему смотреть туда? Ведь видно только противоположное крыло этого же дома с зарешеченными окнами и небо... Но неба он, конечно, не видит, потому что если б он видел небо, разве он работал бы здесь?

А небо, небо-то, видит ли оно его? Леопольд посмотрел в окно. День был ясный, солнце уже стояло

высоко, и небо было чистое, прозрачное и очень высокое.

«И как будто на розу, на остав гнилой
Небо ясно глядело, приветно синея...»

Да вот оно глядит на остав гнилой, который есть бытие этой страны, и приветно синеет. Справедливо ли это? Так ли уж мудро приветливо глядеть на все без разбору. Неужели в этом высшая благость?

Дверь резко распахнулась, но никто не вошел. Квадратноголовый встал и обменивался взглядами и полуожестами с кем-то, не видимым с места Леопольда. Потом дверь так же неожиданно закрылась. Квадратноголовый обошел вокруг стола и, подойдя к окну, стал глядеть во двор, держа руки за спиной.

Леопольд смотрел на него с сильно бьющимся сердцем.

Что-то произошло, что-то сдвинулось с места в его положении.

Может быть, уже выяснилась ошибка и где-то в недрах этого дома оформляется приказ об его освобождении? Наверное, именно так. Ведь это солидное учреждение — имперская полиция безопасности, призванная вести борьбу с врагами государства, со шпионами, диверсантами, саботажниками. Разве у них есть время заниматься пустяками? Разве могут они не знать, что Леопольд фон Халлер — не объект их деятельности? Да, ему очень многое не нравится здесь, он со многим не согласен, но он не кричал об этом на площадях, он лояльный гражданин, он патриот Германии. Всей своей предыдущей жизнью он доказал это. И он никогда не позволит себе причинить малейший ущерб ее интересам.

Это так ясно, так понятно...

Но... мне-то это понятно, а понимают ли они? Вероятно, понимают, должны понимать. У них такая работа, что они должны понимать людей, без этого им нельзя. Понимание людей для них главное.

А этот квадратноголовый — разве он способен что-нибудь понять? Со спины впечатление, что у него голова, шея и плечи грубо выточены из камня, еще усиливались. И вторично Леопольду пришла мысль, что

если топором ударить по этой шее — топор ее не вольет. Но ведь и он — человек, и ему не чужды какие-то чувства. Ведь ответил же он без злобы и даже успокоительно. Как он сказал? «Вот придет ваш следователь — узнаете».

Дверь снова резко распахнулась. Из-за нее возник высокий капитан с черными глазами навыкате — тот, которого Леопольд видел в первом кабинете. Он стоял лицом к Леопольду и смотрел на него внимательным, изучающим взглядом, и выражение у него было такое, будто он знает, вернее, узнал что-то важное, решающее и неблагоприятное.

— Пойдемте — сказал капитан негромко, но внушительно и, не оборачиваясь, пошел по коридору.

Туман вновь окутал Леопольда. Сердце сперва сжалось и замерло, а потом вдруг забилось с такой силой, будто кто-то рвется наружу и стучит изнутри кулаком. Леопольд шел за капитаном, снова потеряв способность думать о чем бы то ни было и понимая только одно: молчанию, бесцельному сидению, иссушающему ожиданию пришел конец. Сейчас он узнает свою судьбу.

Высокий капитан открыл черную дверь и пропустил вперед Леопольда, а затем вошел сам, плотно прикрыв ее.

— Садитесь! — он движением головы указал на табурет в углу за дверью. Леопольд сел.

Капитан подошел к вешалке, не спеша снял с себя шинель, фуражку, аккуратно повесил их, затем, одновременно подняв обе руки, похлопал ладонями по вискам, приглаживая аккуратно расчесанные, слегка вьющиеся волосы. Обстановка здесь была точно такая же, и все стояло в том же порядке, что у квадратноголового.

Усевшись за стол, капитан перебрал бумаги, взял одну и все тем же неторопливым, удлиненным шагом направился к углу Леопольда.

— Вот, ознакомьтесь с этим документом, — сказал он, кладя на маленький стол перед арестованным лист добротной белой бумаги.

С огромным напряжением Леопольд водил глазами по строчкам и, не охватывая целого, улавливал отдельные слова или сочетания слов: «...достаточно ули-

чается...», «...преступления, предусмотренные...», «...избрал меру пресечения...», «...уклонение от явки в суд...», «...арест...»

Капитан сидел и внимательно наблюдал за подследственным.

— Ну, ознакомились?

Леопольд кивнул, сам того не сознавая.

Все так же размеренно и неторопливо гауптштурмфюрер Ламсдорф пересек по диагонали небольшую комнату и взял обратно бумагу.

Он вернулся на свое рабочее место, основательно уселся, перебрал руками бумаги, папку и письменные принадлежности, умышленно затягивая томительную для Леопольда паузу. Потом снова поднял на него свои черные, дышащие холодом глаза и сказал медленно и внушительно:

— Ну, Леопольд-Юлиус фон Халлер, пришло время дать отчет в своих преступлениях перед родиной!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Итак, сомнений нет! Он арестован всерьез, они не считают его арест ошибкой. Начинается что-то страшное, непонятное, нелепое, грозящее раздавить так, что и следа не останется. Почему это должно было случиться с ним? Неужели спасения не было?

Леопольд внимательно смотрел прямо в глаза Ламсдорфу, стараясь понять, что он от него хочет, и потом произнес негромко, но внятно и четко:

— Я не совершал никаких преступлений, тем более перед родиной!

Ламсдорф сделал докучливый жест рукой:

— Не надо, Халлер! Неужели вы думаете, что мы действуем без достаточных оснований?

— Я вам заявляю категорически и с полной ответственностью: моя совесть чиста. Ничего плохого я не делал.

— Эх, Халлер, Халлер! Зачем вы запираетесь? — с сожалением проговорил Ламсдорф. Он на минуту от-

вел глаза от Леопольда, взял со стола толстую папку и приподнял ее. — Видите? Это все документы по вашему делу!

— Это все ерунда! — твердо ответил Леопольд, которому даже легче стало при виде папки, которая была слишком толста, чтоб иметь к нему отношение. — Все ваши документы ничего не стоят!

Как только начался допрос, внутреннее состояние Леопольда изменилось. Страх исчез. Было напряжение от сознания чрезвычайной опасности положения, крайняя настороженность, концентрация внимания, тревожное ожидание неожиданностей — нечто подобное он испытывал на соревнованиях по боксу в университете, оставшись с глазу на глаз с противником, каждый удар которого мог повергнуть его на пол. Но страха не было. Другие чувства были нужны в эти минуты. Они явились и вытеснили страх.

Ламсдорф уязвленно усмехнулся:

— Почему это вы так уверены?

— Потому что не может быть никаких документов на то, чего не было! Я допускаю возможность оговора. В таком случае прошу очной ставки, и я сотру его в порошок на ваших глазах!

— Получите. В должное время — все получите, — недобро сверкнув глазами, сказал Ламсдорф.

Он встал — огромный, статный, с бледным, круглым лицом и высоким лбом, покато убегавшим к темени, и, заложив руки в карманы, стал расхаживать из угла в угол по кабинету. Черные, тяжелые сапоги поскрипывали голенищами, плохо уложенные плиты паркета ходили под его тяжестью и тоже скрипели.

— Видите ли, Халлер, — говорил Ламсдорф миролюбиво и как будто даже доброжелательно, — в вашем положении лучше всего чистосердечно сознаться. Признание облегчило бы вашу участь...

— Но мне не в чем сознаваться, уверяю вас, — горячо и убежденно заговорил Леопольд, тронутый томом капитана и потому на минуту забывший, с кем имеет дело. — Моя совесть совершенно чиста.

— Бросьте, Леопольд, не надо! К чему это упорство? Неужели вы думаете, что нам ничего не известно?

Голос Ламсдорфа звучал настолько искренне, что

Леопольд на минуту даже поколебался в своей уверенности. Что они могут считать за преступление? Что в его жизни было похоже на правонарушение? Не связь же с Гильдой — замужней женщиной? Не может это их интересовать. И к тому же я любил ее, и она меня любила... Да нет же, конечно, не это. Но тогда что же?..

— Скажите, я имею право знать, в чем меня обвиняют!

— Да. В антигерманской деятельности за границей.

— В антигерманской?!

Удивление Леопольда было столь велико и неподдельно, что Ламсдорф подумал: «Черт знает, какое слабое дело! И обязательно мне всучат. Но не отступать же теперь. Лет на десять все равно можно будет упечь, для этого много не надо, ну а уж если больше хотят — пусть Шлегель сам берется. Посмотрим, что у него получится». Стараясь скрыть замешательство, в которое его повергло несомненно искренно вырвавшееся восклицание Халлера, Ламсдорф подтвердил:

— Да. В антигерманской. Вас это удивляет?

Вздорность обвинения вновь придала Леопольду твердость. До сих пор он боялся, что, может быть, что-нибудь из его разговоров уже здесь, в Германии, было сочтено предосудительным, может быть, кто-нибудь из его местных собеседников извратил его мысль и донес. Это еще могло быть, но в Америке... Там все у него было совершенно чисто перед Германией, перед национал-социалистами. И он почти успокоился. Тут очевидное недоразумение.

— Никакой антигерманской деятельностью я не занимался. Это ошибка, ужасная ошибка. Моя деятельность от начала до конца носила прогерманский характер. Всю свою сознательную жизнь...

Ламсдорф прервал его:

— К сожалению, это не так, Халлер. — Он покачал головой с притворным огорчением. — И вы это знаете. Я вам не советую долго запираться. Это ни к чему хорошему не приведет.

Он сделал многозначительную паузу и смотрел на Леопольда с высоты своего огромного роста, слегка усмехаясь. Потом продолжал:

— Вы учтите. Сейчас мы, пока, не трогаем вашу семью.. Но если вы будете упорствовать, мы можем оказаться вынужденными...

Ужас охватил Леопольда при этих словах. Он впился взглядом в Ламсдорфа: неужели это возможно? Его мать, так достойно прожившая свою жизнь, окажется в тюрьме? Луиза, с еще не рожденным ребенком?..

Если бы Ламсдорф был внимательней в эти секунды и уловил состояние Леопольда, он мог бы многоного добиться уже на этом первом допросе и очень облегчить себе задачу. Но он, желая продлить тяжелую для подследственного и, значит, выгодную, как ему казалось, для него самого паузу, возобновил свое хождение и упустил момент, который никогда уже больше не повторился. К тому же Леопольду на помощь пришло сознание своей полной невиновности: ведь для того чтоб сознаться, надо знать: в чем?

Ламсдорф все ходил и ходил, а Леопольд лихорадочно бился над вопросом: как отвести угрозу от матери и жены, но и себя не губить? Что он имеет в виду? Какую его деятельность могли принять за антигерманскую?

Нет, все было ясно и чисто в его жизни, в политическом смысле во всяком случае.

Тут вдруг в памяти встали слова из документа, предъявленного ему в начале допроса. Тогда, в том волнении, в котором он находился, он воспринял только отдельные слова и куски фраз. Теперь же перед ним возникла целая фраза, вернее сплошной отрывок из нее: «...принимая во внимание, что Леопольд-Юлиус фон Халлер достаточно уличается показаниями Валентина Твалкопфа...»

Это имя привлекло сейчас внимание Леопольда! Валли Твалкопф? Школьный товарищ, которого он давно потерял из виду? Что за нелепица! Какие уличающие его, Леопольда, показания мог дать Валли — милый, нескладный, совершенно безобидный Валли, с которым они никогда не были близки? Встречались в школе, и все. Ни разу ни он у меня дома не был, ни я у него. Я даже не знаю, где он жил, кто у него был в семье. Так, значит, он тоже приехал сюда, на этот ужас, на гибель? Когда же! Наверное, давно.

Леопольд был уверен, что со дня окончания школы не видел Твалкопфа. Пятнадцать лет! Больше того — никогда не вспоминал его. Валли Твалкопф никакой роли в его жизни не играл. И вот этот Валли сейчас «достаточно уличает» его, Леопольда фон Халлера. В чем? В том, что он списал у соседа по парте контрольную по химии? Что наврал классному наставнику, будто больна мама, а сам вместе с другими ребятами и тем же Валли Твалкопфом пошел играть в бейсбол на пустыре за садом Дона Тернера? В чем еще мог бы уличить его Валли, с которым они расстались, когда им было по шестнадцати лет?

И государственная полиция безопасности Германии пользуется такими показаниями!.. Как им не стыдно?! Бедный Валли. Его, наверное, мучили, били и заставили наговорить бог знает что. Но и тогда — возраст ведь остается. Шестнадцать лет! Им было по шестнадцать лет. Какое преступление, какое политическое преступление можно совершить в таком возрасте, чтоб тебе через пятнадцать лет его вспомнили?

И впервые в Леопольде шевельнулось то чувство, которое впоследствии стало внутренним стержнем его сопротивления: презрение. Но в эту минуту оно только мелькнуло и уступило место другим.

Нет, не может быть! Все-таки тут какая-то ошибка. Ведь не сумасшедшие же они в конце концов! Надо выяснить.

— Господин капитан! — обратился Леопольд к Ламсдорфу.

— Для вас я — господин следователь, — ответил тот сурово. — Вы утратили право обращаться иначе.

Леопольд пожал плечами и, с трудом скрывая раздражение, повторил обращение в другой редакции:

— Господин следователь! Все-таки мне кажется, что произошла ошибка...

Ламсдорф при этих словах уперся локтем о стол, щеку положил на кулак и с насмешливой улыбкой смотрел на арестованного. Леопольд видел эту улыбку, она подавляла его, но превозмогая себя, он продолжил:

— В той бумаге, которую вы мне предъявили, сказано, что меня уличают показания какого-то Твалкопфа.

Единственный Твалкопф, которого я знал в жизни, был мой школьный товарищ Валентин Твалкопф. Я не видел его с момента окончания школы, то есть когда нам с ним было по шестнадцать лет. Не можете же вы...

— Мы все можем! — перебил Ламсдорф веско и сурохо. — Вы понимаете? Все!

— Не понимаю! — уже не пытаясь скрыть озлобления, ответил Леопольд.

— Не понимаете? Тем хуже для вас. — Ламсдорф, слегка пригнувшись было над столом, выпрямился. — Леопольд Халлер, зарубите себе на носу: мы можем все!

От этой неприкрытои угрозы Леопольду стало не по себе. Уже другим тоном он все же продолжал:

— Я хотел сказать, что невозможно представить, чтоб вас могли интересовать какие-нибудь проделки школьников...

— Хороши проделки! — многозначительно вставил Ламсдорф, чем очень смущил Леопольда, потому что тон этих слов показался ему искренним.

«Что такое мы могли сделать с Валли? — судорожно и растерянно пытался вспомнить Леопольд. — Он определенно имеет что-то в виду. Не стал бы он терять время попусту. Ведь все-таки — это важное учреждение. Но что он имеет в виду? Что?»

— Кроме проделок, ничего не могло быть, — настаивал Леопольд. — Ведь я его со дня окончания школы не видел!

— Не видели со дня окончания школы? — полуувопросительно, полуиронически повторил Ламсдорф, и еще большее сомнение охватило Леопольда.

— Не знаю... — растерянно пробормотал он. — Столько лет прошло. Может быть, и встретил когда-нибудь на улице. Не помню хорошо. Но...

— Ах, хорошо не помните... А, может быть, вы еще чего-нибудь не помните?

Эти слова следователя окончательно лишили Леопольда уверенности. Бог его знает, может быть, он прав? Может быть, и встречались они когда-нибудь с Валли... Лучше не спорить, пусть он не думает, что я пытаюсь что-то скрыть.

— Господин следователь, — заговорил Леопольд в

отчаянной попытке добиться, чтобы ему поверили, — я, может быть, и встречался с Твалкопфом позднее. Я не помню этого, совершенно не помню. Но я допускаю такую возможность. Все-таки в одном городе жили. Я мог и забыть... Но все равно я не видел его очень давно. Что такого я мог сделать в семнадцать-восемнадцать лет?

— Восемнадцатилетние такие дела творят!

Теперь тон Ламсдорфа был фальшивым, и — главное — чувствовалось, что он рад, что выудил у Леопольда уступку в отношении возраста. Леопольд и сам понимал, что шестнадцать лет — это одно, восемнадцать — совсем другое, и был недоволен собой. Поэтому он поспешил возразить.

— Но я повторяю и настаиваю, что не видел Твалкопфа после окончания школы. Я мог забыть о последующих встречах, но сейчас я бы вспомнил. А я не вспоминаю. Да и вспоминать нечего, потому что ничего мы не делали такого, что могло бы вас интересовать. Да и вообще я давно забыл о его существовании.

— Так... Значит, и о существовании забыли... — притянул Ламсдорф насмешливо, и Леопольду снова показалось, что он все-таки имеет в виду что-то серьезное. И опять ему стало не по себе.

Ламсдорф посмотрел на ручные часы.

— Вот что, Халлер. Я вас сейчас отправлю вниз (сердце Леопольда екнуло при этом слове). Отдохните. Подумайте. Вспомните. Обдумайте хорошенко свое положение. У вас будет достаточно времени для этого. Чем больше вы вспомните — тем лучше для вас.

Ламсдорф нажал кнопку электрического звонка и начал собирать бумаги в папки и раскладывать их по ящикам. Леопольд сидел с сильно бьющимся сердцем и все пытался обдумать значение слова «вниз». Ведь улица, тротуар, воля — тоже внизу. Но не это, конечно, имеет в виду капитан. Нет, не это... Совсем другое....

Леопольд гнал от себя мысли, которые вызывало короткое, свистящее, как пила, слово «вниз».

Дверь приоткрылась, Ламсдорф кивнул кому-то заглядывавшему, но невидимому с места Леопольда, а

тот поймал себя на мысли, что больше всего страшится, чтоб это не был квадратноголовый.

Заглянувший вошел и оказался темным, курчавым, приземистым и очень плотным. Одет он был в форму, но без знаков различия.

Он подал Ламсдорфу небольшой бланк, на котором тот, сверившись предварительно с ручными часами, сделал отметку. Тогда темный повернул к Леопольду свое грубое, неприязненное лицо со шрамом на левой скуле.

— Пойдем.

И хотя Леопольд в этот момент очень волновался, он не мог не подивиться, что все они говорят это слово с одинаковой интонацией.

И опять, как утром, когда его уводили из первого кабинета, Леопольд почувствовал, что в комнате следователя ему было еще не так плохо...

Они двинулись коридором в какую-то новую сторону, оказались в тупике, и темный распахнул небольшую неприметную дверь в боковой стене. Тут сразу была деревянная лестница, внизу которой за крохотным столиком сидел пожилой гестаповец. Он даже не взглянул на нового арестанта и только коротким нажатием руки на что-то находившееся под его столиком распахнул железную дверь. Миновав ее, они очутились в помещении, совсем не похожем на те длинные и унылые, но в общем благоустроенные коридоры, по которым Леопольда водили сегодня целый день. Здесь все было камень, серый цвет и специфический, тяжело устоявшийся запах. А темный и Леопольд все спускались, теперь уже по каменной лестнице с выщербленными ступенями.

Вошли в короткий тускло освещенный коридор без окон, и темный, остановившись перед деревянной дверцей, открыл ее и скомандовал:

— Сюда!

Леопольд оцепенел от ужаса. Вот он — шкаф! Значит, правду говорили люди... Он стоял, не в силах шевельнуться.

— Ну! — сверкнул глазами темный и нахмурил брови так, что они образовали сплошную линию от виска до виска. «Стой! Стой! Не двигайся!» — кричал внутрен-

ний голос, но воля Леопольда была парализована. Выразительным жестом темный указал на разверзшуюся и ожидающую пасть шкафа.

— Господи, помоги мне! — произнес про себя Леопольд и шагнул в темноту.

Л II

В шкафу было очень тесно, — можно было только стоять, — но пока не душно. И, главное, высота шкафа позволяла держать голову прямо. Почему-то Леопольда больше всего страшило, что придется стоять, сильно наклонив голову. Ему казалось, что так скорее задохнешься. Еще успокаивало, что шкаф сплошь деревянный, пожалуй даже фанерный. В крайнем случае его можно проломить. Нет, удушить себя здесь он не даст! Пусть уж лучше застрелят «при попытке к бегству», как они наверняка сформулируют убийство.

Шаги темного затихли. Наступила полная тишина, только кровь звенит в ушах. Зачесался глаз, и Леопольд с облегчением констатировал, что поднять руку — если ее двигать вплотную к телу — можно. Долго ли придется провести здесь? Может быть, все-таки это — конец. Нет, вряд ли так скоро. Еще помучают. Если б хотели убить сейчас, могли бы это сделать иначе.

Как будто становится душно, но дышать вполне можно. Удушье кажется начинается с кашля, а кашля еще нет. Надо экономить воздух. Дышать редкими вдохами? Нет, так очень уж много воздуху втягивается зараз. Тогда наоборот — частыми, мелкими? Какой здесь объем в кубическом выражении? Один метр? Полметра? Вероятно, немного больше половины кубического метра. Да еще надо вычесть объем моего тела. В общем, для воздуха остается очень немного. А сколько надо человеку воздуха, например, на час? Наверное, учили когда-нибудь в школе, да разве все запомнишь? Если б знать, что пригодятся такие сведения... Если б знать. Если б знать все — лучше уж было бы свалиться с парохода за борт. Ехали зимой, одеты были в теплые вещи. Сразу бы пошел ко дну. Как хорошо было бы. Германия осталась бы Германией, светлой, святой мечтой детства и юности, прекрасной, страдающей матерью, кот-

рой сын должен отдать всего себя, на алтарь которой надо сложить все силы, все способности...

Очень нужны твои способности! Им Эйнштейн не пригодился!

Сколько, однако, времени я здесь? Полчаса? Час? Дышится еще свободно, но уже действительно душно. Или меня просто бросило в жар от волнения? Ломит поясница. Хорошо бы присесть. Что, если попробовать?

Леопольд начал оседать, но колени тут же уткнулись в дверцу. Сползание вниз прекратилось, но и в таком положении вышло некоторое облегчение: таз уперся в заднюю стенку и принял на себя основную тяжесть тела. Поясницу отпустило. Но долго оставаться в таком положении он не смог. По ягодицам забегали мураски. Пришлось снова выпрямиться.

Леопольд чувствовал уже сильное утомление и надвигающуюся дурноту. Немели плечи, в голове кружилось, ноги стали ватными. Может быть, все-таки это конец? Пора выламывать дверцу... А, впрочем, надо ли? Не лучше ли сейчас? Все равно — конец один. Из этого дома не выходят...

А я — выйду! Выйду, будь они прокляты! Я хочу жить, я еще так мало жил. Я хочу жить и буду. Назло им. Может быть, их еще переживу!

Вот подожду еще немного и начну ломать шкаф. Хоть бы успеть броситься на этого, темного. Я вцеплюсь в него зубами, я ему горло перегрызу. Если уж самому умирать, так хоть одну зловредную вошь уничтожить. Если бы все люди в одно время вышли на улицу и каждый взял бы на себя одну вошь. Мы бы их передавили всех в полчаса. Вся суть в том, что договориться невозможно. Мы пользуемся одинаковыми словами, но говорим на разных языках. Вавилонская башня, которая никогда не будет достроена. Почему люди созданы так, что они не понимают друг друга? Чья в этом вина?

Нет, этого темного убивать я не буду, это глупо. Слишком ничтожная цель. Обмен неравноценный. Ламсдорфа? Да нет, и это цена слишком дешевая. Среднего, залуженного душегуба за честного человека. Вот группенфюрер Рунге — это еще куда ни шло. Душегуб высокой успеваемости. Но до него не доберешься, а дешево я

им свою жизнь не отдам. Они меня здесь, сейчас во всяком случае, не убьют. Как сказал Ламсдорф? «Отдохните. Подумайте. У вас будет достаточно времени». Хороший отдых! Вам бы такой, капитан Ламсдорф! Может быть, еще дождитесь? Где был Рем 29 июня? А где оказался 30-го? Его жирную тушу скормили псам. Дождитесь и вы, и ваш группенфюрер своей «Ночи длинных ножей»!¹ Нет, я не помогу вам убить меня. Я хочу еще пережить вас, хочу глотнуть того воздуха, движением которого будет развеян ваш прах. Вы разыграли дебют по-своему. Как говорят шахматисты — поймали на домашнюю заготовку. Но в дебюте партии не выигрываются. Предстоит сложный миттельшпиль. Он мне сулит мало радости, но мы еще поиграем. Я — не из тех, кто сдается уже в дебюте!

III

Дверь внезапно распахнулась, хлынул поток свежего воздуха, и в светлом проеме, как на портрете, четко обрисовался силуэт темного.

— Выходи!

Леопольд жадно, глубокими вдохами втягивал воздух, но вышел не сразу. Трудно было превозмочь слабость в ногах.

— Что такой бледный? Испугался? — усмехнулся темный. Но улыбка не смягчала выражения его лица, скорее наоборот. Она обнажала очень крупные, белые зубы, в которых не было ничего человеческого.

— Устал, — слабо ответил Леопольд.

— Рано устаешь! — еще раз усмехнулся темный и, уловив удивленный взгляд Леопольда, добавил: — Здесь есть вещи похуже!

На Леопольда такое сообщение не произвело должного впечатления, потому что в эти мгновенья он был в состоянии реагировать лишь на огромное физическое облегчение, которое ему принесла возможность полно-

¹ В ночь с 29 на 30 июня 1934 г. по приказу Гитлера и Геринга был уничтожен глава штурмовиков Эрнест Рем и его сторонники. Эту акцию в Германии называли: «Ночь длинных ножей».

ценно дышать. Горевшее лицо его словно купалось в прохладных струях.

Темный вывел его из закутка, и вскоре они оказались в довольно просторной комнате полуподвального этажа, о чём можно было судить по окну, как и все другие в этом доме, сплошь забранному решётками и к тому же имевшему снаружи нечто вроде ширмы из жести.

На дворе уже почти стемнело, и немолодой офицер с простым, изборождённым крупными морщинами лицом, сидевший за письменным столом, включил настольную лампу, прежде чем приступить к заполнению листа с анкетными данными.

Потом пришла фельдширица — маленькая худая женщина средних лет со злым и брезгливым выражением лица — и жестом приказала раздеваться. Осмотр не занял много времени и, как догадался Леопольд, имел целью выяснить, не укрывает ли арестованный чего-нибудь на теле.

Леопольд стоял совершенно голый среди одетых и переминался с ноги на ногу на холодном, цементном полу, не зная, что делать и как вести себя, а офицер, не обращая на него внимания, переговаривался вполголоса с фельдширицей и время от времени записывал что-то, глядя то через очки — на бумагу, то поверх очков — на женщину.

Вошла еще одна — толстая, кривоногая, в форме с лычками обер-фрейтара — и стала рыться в шкафу возле окна. От неё на всю комнату разило дешевыми духами, и этот неожиданный в таком месте и в такой ситуации запах вызывал странное ощущение нереальности всего происходящего. Но холодный пол и начинавшаяся от озоба дрожь ясно показывали, что все вокруг вполне реально, и Леопольд, боясь, чтоб эта дрожь не была принята за страх, решил напомнить о себе:

— Можно одеться? — обратился он к офицеру и, видя, что тот или не расслышал или умышленно не обращает внимания, добавил громко, — мне холодно.

— Сейчас, сейчас, — вполне миролюбиво ответил офицер, не отрываясь от писания, которое, видимо, было для него нелегким процессом.

— Hal — негромко воскликнула надушенная и, не

обирачиваясь, швырнула к ногам Леопольда связку застиранного и латаного полотняного белья.

Леопольд вопросительно посмотрел на офицера, но сбоку выступил темный:

— Давай, давай! Живее!

Леопольд кое-как натянул нижнюю рубашку, а кальсоны недоуменно держал в руках: он никогда не носил длинного нижнего белья да еще с какими-то тесемками.

— Ну, ну, давай, давай! — торопил темный, и Леопольд влез в кальсоны, в которых сразу почувствовал себя очень неудобно и неуклюже. Верхнюю одежду ему разрешили надеть свою.

Темный слегка тронул Леопольда за плечо и, показав следовать за собой, — повел.

IV

Одиночная камера! Вот, оказывается, что было уговорено ему на родине.

«Отечество зовет вас всех под свою сень. И те, кто решат возвратиться, и те, кто останутся здесь, должны помнить, что они являются любимыми детьми Великой Германии, которая, словно Феникс, возродилась из праха и пепла незаслуженного поражения, поражения, нанесенного ей не мощью врагов, а подлостью изменников, вонзивших ей нож в спину. Но это больше не повторится! Мы очистим нацию от всех предателей, трусов, маловеров. Мы еще теснее сплотим наши ряды и единой когортой, во главе с нашим великим, гениальным фюрером двинемся на построение тысячелетнего рейха! Одна Германия! Один народ! Один фюрер!»

Как он был хорош в этот момент! Льняные волосы, небрежно отброшенные со лба, синие с металлическим отливом глаза, прямой нос, тонкие, мужественного рисунка губы и резко очерченный тевтонский подбородок. Настоящий Зигфрид! Даром, что так и звали. Зигфрид фон Притвиц. А какая фамилия! Герой Семилетней войны, легендарный кавалерист «маленького Фрица». Потомок такого действительно может сразиться с драконом и убить его...

...А вместо этого они собираются убить меня, от-

нося к числу тех, от кого надо очистить нацию! Леопольд даже про себя был не в состоянии повторить уничтожающие слова белокурого Зигфрида, поскольку слова эти теперь относились к нему самому.

Неужели они и вправду считают меня врагом? Это же чудовищная ошибка. Как ужасно, что такие вопросы решаются недостойными людьми! Вот бы мне теперь увидеть Зигфрида фон Притвица, поговорить с ним. Он бы помог, он бы их одернул. Как жаль, что тогда не удалось познакомиться ближе. У нас в городе он был всего пять дней. Но меня бы он сейчас узнал. У них там было мало таких преданных людей, как я. А как мы его принимали! Разве можно забыть эту встречу, эти воодушевленные лица, эти глаза людей, горящие неистребимой любовью к родине, эти руки — сотни рук, — тянувшиеся к ее представителю, приехавшему специально, чтоб повидать соотечественников на далекой чужбине, передать им привет от возрождающейся родины!

Где он теперь, Зигфрид фон Притвиц, какой пост занимает? Надо спросить следователя. Конечно, именно такие люди, как Зигфрид фон Притвиц, выражают суть новой Германии, а эти, что меня здесь держат...

Кто же они, эти!.. Их даже людьми не назовешь. А ведь реальная власть у них. Знает ли Притвиц, знает ли фюрер, что они делают? Какими методами очищают нацию? И от кого? От меня? Разве я ее пачкаю? Да ведь они-то сами как раз грязнее всех. На них невинная кровь. Что же пачкает сильнее, чем кровь невинной жертвы? У них руки по локоть в крови, и с такими руками они строят новую Германию? Кровь Валли Твалкопфа, который мухи был не в состоянии обидеть, кровь Вальтера Манна — этого добродушного увальня, кровь тысячи жертв — теперь-то ясно, что все сообщения о масовых репрессиях были правильными. И эта невинная кровь тот цемент, на котором они собираются воздвигать величественное здание новой Германии?

Леопольд с усилием отринул от себя эти мысли. От них, казалось, лопнет голова. Он огляделся и, хотя находился в камере уже больше часа, только в эту минуту увидел ее воочию.

Два с половиной метра на полтора, глухие серые стены, железная дверь с глазком, узкая железная кой-

ка с тремя сбитыми досками вместо матраса, замызгнная тумбочка, параша, прикрытая куском фанеры... На тумбочке глиняная миска, рядом — деревянная ложка. Тут же ломоть черного хлеба. Леопольд заглянул в миску. В ней застыла пшеничная каша.

Леопольд почувствовал голод. Взял ложку, ковырнул кашу, зацепил небольшой кусок и положил в рот. Давно холодная, совершенно пресная и безвкусная каша не лезла в горло. «Значит, когда я сидел там, на верху у Ламсдорфа, и еще надеялся, что вышла ошибка, меня уже поставили на тюремное довольствие!» И тут вдруг Леопольда охватило отчаяние, такое безысходное, такое острое, какого он еще не испытывал. Вот его участь: холодные, серые стены, зловонное ведро, постылая тюремная пища, железная дверь, отделяющая от чистого воздуха, от жизни, от всего, ради чего человек живет. От счастья? Да, конечно, от счастья. Теперь он сознавал, что последние месяцы, когда рядом с ним оказалась Луиза, он был счастлив. Он не понимал этого, не ценил, моментами считая свою женитьбу на Луизе лишь избавлением от одиночества, но теперь, потеряв ее, он видит, что Луиза была его счастьем. Даже лицо матери — внешне суховатой, сдержанной, умеющей скрывать свои чувства — стало при Луизе иным. Оно смягчилось, потеплело. В их скромной квартире поселился ангел. Появилась надежда, оптимизм молодости, потом прибавилось ожидание ребенка.

Зачем надо было разрушать его жизнь?

Леопольд вскочил. Он не мог больше сидеть, ему надо было двигаться, жестикулировать, чем-то проявлять себя. Он подошел к двери и попробовал открыть, наперед зная, что она заперта. Дверь даже не скрипнула. Леопольд прислушался. Стояла могильная тишина, хотя, без сомнения, поблизости были люди, много людей, страдающих, как и он, бьющихся в отчаянии, наращивающих, проклинающих, молящихся, изыскивающих в уме способы спасения, и все тщетно, все тщетно... И были они, эти существа, внешне так похожие на людей, занятые, однако, тем, что людей истребляют, и, видимо, уверенные в том, что делают нужное дело.

Способны ли они мыслить? Способны ли понять результаты своей деятельности?

А ты-то сам способен мыслить? Да, конечно, теперь, здесь, когда тебе ничего другого не остается. А там, где ты жил, как человек, где ты не боялся высказывать вслух свое мнение, там ты мыслил? Ведь тебя отговаривали, тебе доказывали, ты читал сообщения газет, слышал рассказы людей, вырвавшихся из этого ада, который они называют новой Германией. Как ты реагировал? Ты не верил. Не хотел верить. Потому что все эти правдивые свидетельства опровергали систему представлений, созданную твоим воображением, твоим обостренным национальным чувством. Когда ты видел измученных мужчин и женщин, в глазах которых еще стоял ужас пережитого, что ты о них говорил? Обыватели! Перетрусившие обыватели, неспособные понять величие совершающихся перемен, при которых неизбежны некоторые перегибы, ставящие свое мелкое «я» выше блага народа, не желающие поступиться личными интересами во имя общего блага... Но ведь обыватель — что это такое, как не обыкновенный человек, как не частица того самого народа, во имя которого якобы все и делается? Глупое слово — «обыватель», лицемерное слово. На английском языке такого слова нет. Просто говорят: man in the street — человек с улицы. Не герой, не мудрец, не пророк — просто человек. Благо каждого из таких людей и составляет благо народа, и никакого другого блага достигнуть нельзя, если каждомуциальному человеку, обывателю (да, да, именно обывателю!), не будет хорошо. Все остальное — фальшивь, лицемерие, подлый обман, которому нет прощения, с которым нет и не может быть примирения.

• • • • • • • • •
Поздно ты все это понял, Леопольд фон Халлер, слишком поздно!

В замочной скважине послышалось дробное постукивание ключа, дверь открылась, и некто в форме произнес:

- Оправка!
- Что? — не понял Леопольд.
- Оправка! — без всякого выражения повторил выводящий.

Он пропустил Леопольда вперед и, оставив дверь камеры настежь раскрытой, повел по коридору.

В уборной стоял специфический запах хлора, резало глаза, но зато было окно, и Леопольд, подойдя вплотную, жадно вдыхал льющийся в узкую щель свежий воздух. По сравнению с камерой даже в этой уборной казалось хорошо. Из окна доносился несильный, но явственный шум — слитный и равномерный, как будто поблизости работала фабрика. Но фабрик в этом районе не было. Что бы это могло быть? Леопольд прислушивался, но понять не мог. На дворе стоял вечер — небо было совершенно темное, и только его и видно было в это зарешеченное и снаружи закрытое жестяной загородкой окно. Сколько сейчас может быть времени? Десять, одиннадцать?

Задвижка щелкнула, и выводящий движением головы показал, что надо выходить. С невыразимой тоской Леопольд возвращался к своей камере. Слева и справа шли пронумерованные двери, намертво запертые массивными железными задвижками, с какими-то фортисками на метр от пола, тоже закрытыми снаружи. В глазок одной из дверей, сдвинув в сторону свободно висящий на гвозде железный кружок, заглядывал еще один в форме. Пока Леопольд со своим выводящим поравнялся с ним, он уже перешел к другой двери и заглядывал в другую камеру. Потом двинулся к третьей. «Веселая работа!» — усмехнулся Леопольд, у которого эта мелочь почему-то вызвала перелом настроения к лучшему. Ему захотелось проверить этих коридорных гестаповцев: что они из себя представляют, и потому, уже подходя к камере, он неожиданно обратился к своему:

— Сколько времени сейчас?

— Тиш! — только и ответил выводящий и, видя, что заключенный пытается разглядеть циферблат на его ручных часах, угрожающе произнес: — Ну?!

Леопольд понял, что разговаривать здесь запрещено, и, пожав плечами, уже как старожил переступил порог своей камеры. Дверь за ним закрылась, ключ щелкнул, задвижка снаружи задвинулась. Он снова был один в кромешной тишине следственной тюрьмы.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Два дня гауптштурмфюрер Ламсдорф занимался изучением материалов, изъятых при обыске на квартире фон Халлера. Писем, фотокарточек, газетных вырезок, книг, журналов и вообще всяких бумаг оказалось очень много. Толку от них—мало. Вернее—совсем никакого.

Еще во время обыска Ламсдорфа неприятно поразил подбор книг на этажерке. Стихи — главным образом немецкие, беллетристика — совершенно нейтрального характера (даже Ремарка нет! — с неудовольствием тогда же отметил Ламсдорф) и несколько книг политического содержания, но какие! «Моя борьба», «Миф 20-го века» и еще кое-что из трудов классиков национал-социализма. Их, конечно, оставили на месте, но дурак Краузе, протоколировавший данные обыска, со своей тупой швабской педантичностью перечислил все названия и авторов. В общем — удружили. Хорошо еще, что Куцен пошел навстречу и разрешил уже в Управлении составить новый инвентарный список, куда перечень книг просто не включили.

Корреспонденция не представляла интереса. Это были старые, явно на память хранимые письма, главным образом от женщин. Еще хуже дело обстояло с газетными вырезками. Судя по ним, фон Халлер весьма активно работал в прессе и проводил прогерманскую линию как в чисто американских газетах, так и, особенно, в газете на немецком языке. Какого же черта не установили этого еще до ареста? Тоже работал!

Ламсдорф не мог не признать, что перо у фон Халлера бойкое и что, если это не ловкая маскировка, его статьи и корреспонденции были полезны для национал-социалистской Германии. Одним словом, газеты не помогали следствию, а лишь осложняли дело. Их надо убрать подальше. Ламсдорф завернул все газетные вырезки в плотную бумагу, перевязал бечевкой и засунул в нижний ящик письменного стола.

Журналы, изъятые у фон Халлера, были главным образом кинематографические, но попалось несколько номеров «Лайф» и «Тайм». Эти представляли интерес, так

как в них помещались политические материалы, и вполне могло статься, что были и антигерманские.

Ламсдорф, не владеющий английским языком, отложил их в сторону для отправки в иностранный отдел Управления. Это уже кое-что сулило. Параграф уголовного кодекса о ввозе и хранении подрывной литературы предусматривал заключение сроком до десяти лет. А больше ему и не натянешь, фон Халлеру. Ничего за него нет. Ламсдорфу с его длительным стажем работы в следственных органах это совершенно ясно уже сейчас, что бы там ни доказывал горе-академик Шлегель.

Никчемное дело. Могли бы поручить кому-нибудь помельче. А, впрочем, потому и поручили Ламсдорфу, что сами понимают — дело слабое.

Нужен опытный, знающий человек, чтобы из такой ерунды составить материал для обвинительного заключения. А вести допрос так, как его ведет Ламсдорф, мало кто умеет. Из камня сок выжмет, при этом не прибегая к крайним мерам.

Ламсдорф усмехнулся не без удовлетворения: Шлегель знает, что на применение третьей степени к фон Халлеру группенфюрер санкции может не дать, — никаких оснований нет, — а вести сухой допрос «академик» не может. И такого назначили заместителем начальника следственного отдела!

Ниакого допроса третьей степени в данном деле не требуется. Фон Халлер интеллигентик, с ним нужен интеллектуальный подход. Ему надо дать возможность говорить, вести допрос в форме беседы, вызывать когда на спор, — в пылу он может сболтнуть лишнее, — когда на откровенность. Воздействовать смутными угрозами, сомнениями, намеками, недомолвками, порой сочувствием. И все не в лоб, не в лоб, а исподволь, накапливая мелочи, нанизывая их одна на другую, как бусинки, пока не составится ожерелье нужной длины и тяжести. И беспрерывно давить и давить психологически, используя все имеющиеся средства. Для начала одиночка строгого режима, никаких прогулок, никаких книг. Жаль, что он не курит, а то хорошо бы заставить его посидеть дней пять без курева, а потом встретить здесь участливо, угостить хорошей сигаретой. Допросы —

только ночью. Это на всех действует, а на таких — особенно. И без спешки. Пусть Шлегель бесится сколько ему влезет. Через три месяца — не раньше — фон Халлер будет готов.

II

На четвертые сутки Халлер установил, что звонок ко сну дается не в одиннадцать часов, как ему казалось вначале, а в десять. Просто из-за вынужденного бездействия день тянулся бесконечно долго, минута казалась часом, день шел, как год. И это так изнуряло не только психологически, но и физически, что Леопольд уже чувствовал головокружение, слабость в коленях и сонливость, тем более мучительную, что днем спать не разрешали. Стоило — не прилечь даже — просто закрыть глаза, как в дверь раздавался резкий стук. Пробовал Леопольд садиться спиной к двери — опять стук, форточка открывалась:

— Сидеть лицом сюда!

Постель сразу после подъема полагалось скатать и о ней локтем не опираться. Сидеть только на досках!

Один выводящий, заметив, как побледнел Халлер, выйдя в коридор, дал полезный совет:

— Все сидишь? Ходить надо, больше ходить!

Леопольд решил послушаться и начал ходить по камере из угла в угол.

Много не расходишься: четыре шага — и лбом в стену, четыре обратно — и лбом в дверь. Остановился. Нет сил так ходить, — противно. Сел. И сидеть противно — жестко, низко. На стене висят правила внутреннего распорядка. Сколько раз за эти дни он их прочитал! Что на воле, что здесь, от первого до последнего слова — ложь. Параграф такой-то: «Заключенные имеют право на прогулку в тюремном дворе от 20 минут до 1 часа». Где эта прогулка? «Заключенные имеют право пользоваться книгами из тюремной библиотеки». Где они, эти книги? «Заключенные имеют право делать покупки в тюремном продуктовом ларьке». Где этот ларек? А он нужен до зарезу, потому что питание более чем скучное, на таком долго не простояшь. Утром кружка эрзац-кофе и кусок ржаного хлеба, вероятно,

с полкило, который надо растянуть на целый день. Днем — черпак пустой похлебки: в пресной воде разваренные куски капустных кочанов, чаще всего темные, три-четыре крохотных кусочка свеклы, изредка, как выигрыш в лотерею, — кусок картофеля. На второе — черпак каши, когда овсяной (это хорошо!), когда перловской, когда пшеничной. Иногда на каше можно разглядеть несколько капель жира. Вечером — опять кружка эрзац-кофе.

Первые дни Леопольд не страдал от голода. Ему было не до еды. Подавленность сменялась надеждой, но тревога с ее изматывающим посасыванием под ложечкой не оставляла ни на секунду. Только ночью удавалось забыться, но через какой сон дум и терзаний надо было пройти в течение бесконечных часов бодрствования, чтоб дождаться отбоя! Но и тогда сон шел не сразу. Все было враждебно в этой обстановке: и узкая, жесткая койка, и серое, грязное одеяло, и горящая днем и ночью лампа над дверью, и беспрерывно раздающиеся в коридоре шаги, и звук отпираемых где-то рядом дверей.

Да, ночью коридор жил активной и напряженной жизнью, лихорадочные импульсы которой проникали к Леопольду сквозь глухую, намертво запертую дверь. Но он рад был бы их не чувствовать, потому что они говорили о мучениях и отчаянии неведомых братьев и сестер по несчастью, наполнявших бесчисленные бетонные клетки.

Один раз среди ночи раздались женские крики, исполненные такой муки, что Леопольд в ужасе вскочил и прильнул к двери. Крик повторился и тут же резко оборвался, и Леопольд понял, что женщине зажали рот. Еще несколько раз повторился этот крик, не то слабея, не то удаляясь, и наконец все затихло, но еще долго дрожь била Леопольда и сердце стучало в грудной клетке, словно рвалось наружу.

В другую ночь Леопольд проснулся от громких стонов мужчины, перемежавшихся с приглушенными возгласами охранников: «Замолчи! Замолчи!» Одновременно слышался беспорядочный и неравномерный перестук шагов и параллельно с ним шуршащий сплошной звук. И то и другое замерло буквально у дверей

камеры Леопольда, и тут же еще более явственно стали доноситься стоны. Леопольд понял, что человека волокли по полу. Через полминуты послышался звук запираемой двери, и стоны стали глушее. Человека швырнули в камеру и заперли. Но возня в коридоре не прекратилась. Вскоре послышались быстрые легкие шаги — явно женские, дверь напротив снова открыли. Опять стоны стали слышнее. Леопольд приложил ухо к двери, стараясь разобрать слова, но слышал только как бы мычание. Суета продолжалась минут десять, потом дверь опять заперли, легкие шаги удалились, и все замерло.

Снова могильная тишина, бешеная свистопляска мыслей, мечущихся вокруг одного сверлящего мозг вопроса: «Что будет со мной?»

— Ты чего не спишь? — в форточку заглянула какая-то физиономия. — Лечь!

Леопольд только сейчас осознал, что все это время ходил, вернее, метался по камере. Сейчас он остановился и резко ответил:

— Я не могу спать!

— Можешь, не можешь, а лежать! — скомандовала физиономия, и форточка захлопнулась.

Леопольд улегся, закрыл глаза и попытался уснуть. Он долго лежал на одном боку, потом перевернулся на другой, но все никак не мог найти удобного положения. Сквозь тонкую подстилку в бедро давили доски, старая вата в подушке сбилась комками. Как назло особенно ярко горела лампа. Леопольд прикрыл глаза ладонью, но рука вскоре устала. Тогда он достал носовой платок и закрыл им лицо. Стало душно, но свет уже не так резал глаза. Леопольд загнул нижний край кверху и открыл часть лица. Вот так — хорошо. Он лежал некоторое время, стараясь отогнать мысли о стонавшем человеке, и ему это в конце концов удалось. Сон вновь начал целительно разливаться по его телу, сознание проваливалось в спасительное небытие. Но тут снова раздался негромкий, но резкий стук в дверь. Леопольд нервно вскочил, не сразу поняв, в чем дело. Стук повторился, и, повернувшись в сторону глазка, Леопольд жестом спросил: «Что надо?»

Снова открылась форточка:

— Не закрывать лицо!

Леопольд вспыхнул:

— В правилах об этом ничего не сказано!

Он показал на стену.

Физиономия в форточке исчезла, и тут же приоткрылась дверь. Некто абсолютно лысый и безбровый, с перебитым носом и глазами цвета разбавленного молока посмотрел на Леопольда исподлобья:

— Я тебе покажу правила... мать твою... Здесь не нравится? В подвал с крысами захотел?

Леопольд стоял и молчал, жалея, что поддался вспышке раздражения. Мужество оставило его, потому что по тону лысого было ясно, что такой подвал на самом деле существует и попасть туда нетрудно. Угнетающе действовала и внешность тюремщика. Глупо было вспоминать о правилах... Какие здесь правила, какой закон? Если б у них был закон, разве он, Леопольд, находился бы здесь?

— Лечь! — неожиданно рявкнул лысый.

Леопольд не заставил его повторять приказ.

— Закрыть глаза!

Чувствуя себя униженным так, как еще ни разу не чувствовал с момента ареста, а в прежней жизни и тем более, Леопольд повиновался.

Дверь закрылась, но Леопольд боялся пошевелиться. С этим безбровым лучше не шутить. Какая морда! Будто из хичкоковского фильма!

Хоть бы заснуть. Но сна нет и в помине. Открыть глаза? А вдруг этот заметит? Леопольд чувствовал, что безбровый смотрит в глазок. Какое, оказывается, неприятное ощущение, когда приходится насильно держать глаза закрытыми. Какие-то смутные разводы — не то красные, не то фиолетовые, змеевидно изогнутые полосы, куда-то уплывающие и возникающие вновь. Какие странные ощущения. Вот линии исчезли, и стало просто равномерно темно, но не черно, а вот что-то движется. Как странно, это же папа... Как давно я его не видел! Он совсем не постарел, даже наоборот. И как элегантен он в этом летнем пиджаке changeant и кремовых шевиотовых брюках. А на Луизе какое-то новое плаТЬе... Когда она его сшила? Розовый — опасный цвет, он многих простит, но Луизе он идет, ничего не скажешь.

Эти оборки на юбке делают ее силуэт таким воздушным, что кажется, подуй ветер, и она взлетит. Как ласково улыбается ей папа. Я очень рад, что он полюбил ее, она этого заслуживает. Папа всегда хотел, чтобы я женился на немке: «Американки слишком легкомысленны и любят самостоятельность. Немки — лучшие жены!». Вот видишь, папа, я выполнил твою волю. Я все сделал, как ты хотел... Он подходит.

— Здравствуй, папа! Я не ждал тебя сегодня.

— Да, Лео, мне случайно удалось вырваться. Ну как вы тут с мамой?

— У нас все хорошо, папа. Пойдем. Мама ждет нас. Она сегодня испекла твой любимый пирог с клубникой и заварным кремом. Скорей, она заждалась нас.

Они идут вместе, втроем, а впереди, сзади, параллельно идут, оживленно переговариваясь, другие семьи, встретившие отцов и мужей, приехавших на конец недели из города.

На дачный поселок незаметно опускается тихий летний вечер. Поезд уже ушел, оставив после себя лишь слабое гуденье рельсов и легкий, рассеивающийся в ясном воздухе дымок.

Стрекочут, отходя ко сну, сверчки, серебряно звенит неугомонная речка, поскрипывают под ногами доски берескового мостика. Луиза что-то оживленно рассказывает отцу, и он, рассеянно улыбаясь, кивает в такт ее словам. Как легко они понимают друг друга! Это так приятно. И как хорошо все вокруг. Чей это сад? Леопольд любит такие — не с ухоженными, благопристойными клумбами и расчищенными аллеями, а вот как этот — слегка запущенный, с дикорастущей травой и в ней белыми цветами. Луиза собирает их, у нее уже большой букет. Какие красивые цветы — нежные, спокойные, и на лепестках прозрачные, как слезы, капли росы.

А вот и мама. Она ждет у калитки, всматриваясь в приближающуюся группу, щурит свои близорукие, добрые глаза. Сквозь кусты сирениглядывает веранда. Чайный стол накрыт. Вчера целый день мама варила варенье из белой черешни, и сейчас, янтарно-золотистое и прозрачное, оно искрится в хрустальной вазочке, которую Леопольд помнит столько, сколько себя самого. Расположившись всей семьей за этим столом, они долго

будут сидеть и пить чай. Папа рассказывает городские новости, и в уже сгустившейся синеве июльского вечера невнятно доносятся голоса с соседних дач и женский смех в темной аллее волнует и кажется загадочным.

Звонок... Почему звонят? Поезд давно ушел, а другого не будет до утра. И почему так громко? Ведь станция далеко.

— Подъем!

Форточка с треском захлопнулась. Леопольд лежал и соображал, что происходит. Где отец, где мама, где Луиза?.. Он открыл глаза: серая глухая стена. О господи, значит, он спал! И нет того, что всего секунду назад окружало его? Нет жизни, а есть это немыслимое, непонятное, глупое и жестокое существование, которое они организовали для людей и которое, — он в этом уверен, — им самим тоже не доставляет никакой радости.

Невидимые тиски сжали сердце так, что он застонал и вскочил. Острая, колющая боль пронзила голову и грудь. Зачем я проснулся? Если б можно было продлить этот сон бесконечно, если б можно было никогда не просыпаться!.. Его душа не желала возвращаться из той страны, куда унес ее сон, но тело — немощное, пленинное тело — уже покорно выполняло все, что предназначено: одевалось, разглаживало пальцами волосы (ребенку отобрали при личном обыске), стелило постель. Потом оно пило воду, хотя пить совсем не хотелось, протирало краем полотенца миску, перекладывало с места на место ложку. Тело стремилось все время быть в движении, в состоянии обманчивой активности, и это давало возможность душе еще витать в том волшебном мире, откуда вырвал его проклятый звонок.

III

День шел за днем, и были эти дни похожи на паровой каток, наезжающий с ног на распластанного на земле человека.

Десятки раз отчаяние сменялось надеждой, мужество уступало место слабости и вновь вырастало из каких-то неведомых глубин души.

К вечеру, до предела изнуренный бесконечной фи-

зической пассивностью и непрестанным потоком мыслей, воспоминаний, догадок, сожалений, Леопольд, едва дождавшись отбоя, валился на койку и погружался не в сон, в том смысле, в каком его понимают люди, находящиеся в нормальном положении, а в какое-то чуткое, тревожное полу забытье, все же дающее некоторый отдых телу и успокоение духу.

На восьмые сутки ночью,—Леопольд не знал, очень ли поздно, но ему показалось, будто он только что забылся,—его разбудил стук ключа в скважине. Леопольд вскочил, как током ударенный, и оглянулся на дверь, которая как раз в этот момент открылась.

Некто в форме, подтянутый и стройный, с лицом довольно красивым и не враждебным, а просто нейтральным, смотрел на него с порога.

— Фамилия, имя? — спросил он резко.

Леопольд по неопытности удивился этому вопросу: «Разве он не знает, кто находится в этой камере?»

— Леопольд фон Халлер! — отчеканил он, не сильно, но заметно выделив дворянскую приставку.

В прежней жизни Леопольду было глубоко безразлично его аристократическое происхождение, и он, знакомясь, обычно называл себя просто Халлер. Но в этой стране, где изо всех пор лезло победившее хамство, где руководили государством воинствующие плебеи, он вдруг ощутил потребность подчеркивать свое происхождение, чтоб не смешиваться со всем тем, что было ему так глубоко отвратительно. Они могут подвергать его безжалостной дискриминации, могут глумиться над ним, но в душе своей пусть чувствуют его превосходство. Это сознание доставляло ему горькое удовлетворение.

— Одеваться! Быстро!

Слова выводящего привели Леопольда в сильное волнение.

Неужели освобождают? — ослепительно сверкнула надежда.— Вот почему столько дней прошло без всяких новостей! Они выясняли и установили ошибку. Трясущимися руками Леопольд с трудом напяливал брюки, пиджак и никак не мог застегнуть пуговицы — пальцы плохо слушались.

— Скорее, скорее! — торопил выводящий.

— Сейчас буду готов! — откликнулся Леопольд и улыбнулся.

Этот стройный, молодой тюремщик казался ему сейчас очень красивым, а суровое выражение лица даже шло к этим энергичным чертам и военной выпрямке.

— Не разговаривать! — оборвал выводящий, но даже этот окрик не повлиял на настроение Леопольда. — Ну? Иди!

Леопольд шагнул в коридор. К глазку одной из дверей прильнул дежурный по отсеку. Серая войлочная дорожка, предназначенная для того, чтобы скрадывать звук шагов, тянулась шершавой лентой, оставляя с обеих сторон полосы бетонного пола. В том конце коридора, к которому вслед за выводящим двинулся Леопольд, стоял в углу небольшой столик и табурет. Над ними тускло желтела запыленная лампочка без абажура. Выводящий обернулся и скомандовал:

— Руки за спину!

У столика коридор делал поворот под прямым углом. Не дав Леопольду дойти до него шага три, выводящий приказал остановиться, а сам стал так, что видел перпендикулярный отсек. Видимо, там кто-то был, потому что выводящий делал знаки руками, потом вернулся, распахнул дверцу, не замеченную до того Леопольдом, и коротко скомандовал:

— Туда!

Леопольд увидел деревянный шкаф, вроде того, в котором его держали в первый день. Теперь он не испугался, как тогда, но нервы напряглись и от подъема духа, испытанного в первые минуты пробуждения, ничего не осталось. Он еще не успел обдумать свое положение, как услышал шаги. Кажется, двое прошли мимо, потом в глубине коридора раздался звук открываемой и вновь запираемой двери, и Леопольд понял, что шкаф, в котором он сейчас находился, используется для того, чтобы заключенные не встречались в коридоре. Словно в подтверждение этой догадки, дверь шкафа тут же открылась и вновь прозвучала команда:

— Иди! Быстро!

Соблюдая те же предосторожности, выводящий провел Леопольда еще двумя коридорами и вывел на лестницу, пролеты которой были перекрыты прочной метал-

лической сеткой — для предотвращения попыток к самоубийству. Опять коридор, новая дверь и узкая деревянная лестница, которую Леопольд помнил по первому дню. У подножья ее за небольшим столом сидел гестаповец. Выводящий предъявил ему бумажку («накладная» — усмехнулся про себя Леопольд). Тот, взглянув на стоящий перед ним будильник, отметил в накладной время и кивнул. Поднявшись по крутым, поскрипывающим ступеням, ходившим под ногами, Леопольд и выводящий вышли в коридор, такой широкий, просторный и светлый, что Леопольд почувствовал удовольствие от того лишь, что в нем находится. Воздух здесь казался необычайно свежим, и Леопольда охватил озноб. Его начала бить дрожь, которая постепенно охватила все тело. Больше всего смущало Леопольда, что дрожит нижняя челюсть и стучат зубы. Леопольд уже проклинал и этот свежий воздух, и эту прохладу. Хоть бы они не заметили, еще подумают, что это от страха. Как унять дрожь? Надо согреться. Хорошо бы размахивать на ходу руками, но этого делать нельзя. Руки должны быть за спиной. Какая глупость... Надо делать глубокие вдохи и выдохи. Леопольд задышал так, что выводящий обернулся и пытливо посмотрел на него. Леопольд немного смущился, но продолжал, чувствуя, что стало немного теплее. Не может же он запретить дышать? И, словно в ответ, выводящий обернулся и угрожающе произнес:

— Ну? Чего дышишь?

Наконец дошли до двери № 139. Выводящий приоткрыл ее, заглянул внутрь и, видимо, получив разрешение, открыл дверь шире и пропустил Леопольда. У окна слева за письменным столом сидел Ламсдорф. Не отрываясь от бумаг, он жестом указал Леопольду на табурет в углу за дверью, отметил что-то в накладной и кивком головы отпустил выводящего. Тот молодцевато щелкнул каблуками и вышел. Ламсдорф продолжал писать.

Минут пять длилось молчание, во время которого Ламсдорф ни разу не оторвал глаз от бумаг. А Леопольд сидел в своем углу и, впившись в него глазами, старался угадать, что он пишет и почему так долго молчит. За эти минуты у него несколько раз менялось настроение — он от надежды переходил к унынию, и потом снова на-

катывала волна надежды и возносила его на такую высоту, откуда он уже видел себя идущим по вечерним улицам города и предвкушающим то, невыразимое никакими словами, счастье, с которым он откроет дверь своей квартиры и с порога крикнет обеим ждущим его женщинам:

— А вот и я!

Да, видимо, Ламсдорф заканчивает оформление документов о его освобождении. Они хотят отпустить его еще сегодня. Леопольд не мог вспомнить, когда и от кого, но он слышал, что освобождают обычно вечером.

Наконец Ламсдорф кончил писать и положил ручку. Выдержав еще паузу, во время которой он, казалось, перечитывал последние строчки написанного, а Леопольд напрягся так, что звон застлал ему уши и жилки на висках задергались от бурно пульсирующей крови, Ламсдорф повернулся и поднял на Леопольда тяжелый, дышащий холодом взгляд своих черных круглых глаз.

— Ну, Халлер, вы имели достаточно времени обдумывать свое положение. Надеюсь, вы поняли, что запирательство ни к чему хорошему не приведет.

Волна, только что взмывавшая его, стремительно ушла, под ногами разверзлась бездна, и Леопольд рухнул в нее. «Опять все то же! Господи, что же это? Наваждение? Ночной кошмар? Что они от меня хотят? Когда этот бред кончится?»

— Я не совершил никакого преступления, мне не в чем сознаваться,—произнес он плохо слушающимися губами.

Ламсдорф глубоко вздохнул и покачал головой.

— Опять вы за свое! Я думал, вы умнее. Надо понять, Халлер, ваше время кончилось. Вы у нас в руках, и у вас есть единственный выход: во всем признаться. Тогда, может быть, суд учтет ваше чистосердечное признание и смягчит вашу участь.

— Но мне не в чем сознаваться, поверьте! Я ничего не сделал!

— Все так говорят, Халлер,—возразил Ламсдорф со скучающим видом.—И все равно приходится сознаться рано или поздно. Лучше, для вас лучше,—добавил он выразительно и недобро сверкнув глазами,—сделать это не слишком поздно...

«Все-таки они меня в чем-то подозревают, — подумал Леопольд. — Как им доказать, что я невиновен, что вышла ошибка?»

— Я не знаю за собой никакой вины. Я все обдумал. Я перебрал по дням всю свою жизнь. Я твердо знаю — я не сделал ничего плохого для Германии. Наоборот, всю свою сознательную жизнь я служил ей. Я делал что мог. Вы можете спросить кого угодно. Ведь не я один приехал. Вернулись многие. Меня знают, — ведь я в газете работал.

Заметив, что при последних словах Ламсдорф сделал пренебрежительный жест, Леопольд добавил:

— Вы можете не верить таким же, как я, родившимся за границей. Но спросите своих. Запросите германское посольство. Меня хорошо знал пресс-атташе. Сам посол, наконец...

Ламсдорф счел нужным оборвать его.

— Эта сторона вашей жизни достаточно хорошо известна. Вы не поскупились на яркие краски, чтобы ее расписать, — он усмехнулся. — Но теперь вам предстоит рассказать о другой стороне вашей деятельности.

— Господин следователь, я вам категорически заявляю: никакой другой деятельности у меня не было. Если вы считаете так — значит, вышла ошибка. Я никогда не был двурушником!

Ламсдорф выпрямился и повернулся к допрашиваемому всем корпусом:

— Леопольд фон Халлер, запомните: органы имперской безопасности ошибок не совершают! — Голос его звучал торжественно, — с металлом и значением.

— Тогда скажите мне конкретно: в чем меня обвиняют? В чем мое преступление?

— Нет, это вам придется рассказать самому.

— Ну хорошо. Я заявляю вам, что ничего не совершал. Вы мне не верите, вы считаете, что я запираюсь. Передайте меня в суд. Если будет найдено, что я виновен, пусть меня накажут строже за запирательство.

— Нет, Халлер. Прежде чем вы попадете в суд, вам придется все рассказать здесь!

— Я опять повторяю, что мне говорить нечего! Но сколько же можно сидеть, не зная, за что сидишь?

— За что сидите — вы знаете. А сидеть будете столь-

ко, сколько понадобится следствию.—Ламсдорф говорил медленно и четко. И вдруг, снова сверкнув глазами и не скрывая раздражения, которое вообще у него прорывалось редко, добавил, — вы год просидите, два просидите — все равно все скажете!

— Интересно, что по этому поводу говорит процес-суальный кодекс? — едко спросил Леопольд.

— С каких это пор вы стали защитником германских законов? Когда дело касается особо опасных преступлений — закон допускает отклонения.

«Да что он, в самом деле, с ума сошел? — подумал Леопольд со злостью. — Мелет черт знает что! Какие там у меня особо опасные преступления?» И еле скрывая охватившее его настроение, он спросил:

— И вы считаете, что я совершил особо опасное преступление?

— Вы здесь находитесь, Халлер, чтобы отвечать на вопросы. Спрашивать буду я!

— Так спрашивайте же!

Ламсдорф встал и, заложив руки за спину, несколько раз прошелся из угла в угол по своему небольшому кабинету. Леопольд следил за его тяжелыми шагами и с нетерпением ждал. Подошло время решающего вопроса, из которого он хоть узнает наконец, чего от него хотят.

Продолжая ходить, Ламсдорф вдруг сказал, не глядя на подследственного:

— Расскажите о своих связях с иностранными разведками.

«Боже! Они меня шпионом считают!» Как ни вздорно было подозрение, сознание того, что подобный вопрос в отношении его встал в таком учреждении, поверг Леопольда в ужас.

— У меня нет и никогда не было никаких связей с иностранными разведками, — почти выкрикнул он и от волнения даже привстал, сам не замечая этого.

От Ламсдорфа не ускользнуло смущение допрашиваемого, но он истолковал его по-своему: «Неужели я попал в точку?»

— Садитесь! — он жестом указал Леопольду на табурет. — Почему вас так взволновал этот вопрос?

От Леопольда, в свою очередь, не скрылся заинтересо-

сованный огонек, зажегшийся в глазах следователя, и он понял, что тот просто ткнул наобум. Но все же самая возможность, что его имя может быть сопоставлено с таким обвинением, была невыносима.

— Шутка ли сказать! Связь с иностранной разведкой, — Леопольд говорил быстро, утратив контроль над тем, что говорит, просто выражая мысли вслух. — Вам легко быть спокойным. Ни с какой разведкой я связан не был. Я честно служил Германии. Конечно, у меня было много знакомых. Разных знакомых. Были наши друзья, были противники. Были — нейтральные, вернее такие, убеждения которых мне неизвестны. Может быть, никаких политических убеждений у них вообще не было. Просто жили себе, и все. Это неизбежно при многопартийной системе — общение с разными людьми. Особенно, когда работаешь в газете. Без этого невозможно. Может быть, кто-нибудь из них и был связан с какой-нибудь разведкой. Я не знаю. Они мне не говорили. Но это возможно. Было много всяких людей. Но вы должны понять, я — журналист. Мне без знакомств невозможно. Ведь там — много газет. Я должен раздобыть информацию раньше других. Во всяком случае не позже. Иначе никто не будет читать нашу газету. Надо широко общаться с людьми. Откуда же я возьму информацию? Это специфика моей профессии. Посольству было известно, что у меня много знакомых. Если подозревали — не надо было пускать. Я продолжал бы работать там в газете. Приносил бы пользу...

— А почему они давали вам информацию? — неожиданно прервал Ламсдорф.

— Они давали мне, я давал им. Обычный обмен информацией между газетчиками...

Волнение охватило Ламсдорфа: крючок, наконец, зацепил рыбу. Главное сейчас не дать сорваться. Пусть рыба проглотит всю наживку.

— Так. Значит, обменивались информацией... — он выговорил эту фразу, только чтоб выгадать время и спрятаться с волнением.

— Да, конечно, обменивался информацией, — подтвердил Леопольд с готовностью.

— Они давали сведения вам, а вы давали сведения им?

Это уже было ошибкой. Леопольд, увлеченный объяснением специфики журналистской работы и ободренный неожиданно проявляемым со стороны следователя пониманием, при повторном вопросе насторожился. Ламсдорф же, в свою очередь взволнованный явным сдвигом в ходе допроса, этого не заметил и совершил вторую ошибку. Он спросил:

— И вы, значит, использовали полученную информацию в интересах Германии?

«Будь осторожен! Здесь скрытый шах и потеря фигуры!» — пронеслось в мозгу у Леопольда, и он почувствовал себя сидящим за шахматной доской и разгадывающим замысел противника. И тут же увидев, в чем заключается его собственная контригра, он подтвердил, безмятежно глядя в глаза следователя:

— Да. И я использовал ее в интересах Германии.

Ламсдорф помолчал немного, тщательно формулируя про себя решающий вопрос. Чтоб выражение лица или глаз не выдало его, он опустил голову, рассматривая свои ногти и потирая, как бы массируя пальцы правой руки пальцами левой, что служило у него признаком удовлетворения. И вдруг, подняв глаза и вперив свой взгляд в лицо Леопольда, он произнес:

— Ну, а та информация, которую вы им давали, она в чьих же интересах использовалась?

«Вот теперь делаем выпад ферзем», — с торжеством подумал Леопольд и, спокойно глядя прямо в глаза Ламсдорфу, ответил:

— В пользу германского рейха!

В душе он в эту минуту смеялся и над напыщенностью своего тона, и над недоумением, сменившим выражение торжества на лице следователя. И тут же продолжил:

— Неужели вы думаете, что я, главный политический корреспондент официальной германской газеты за рубежом, облеченный доверием имперских органов информации и пропаганды, идейно вооруженный теорией национал-социализма, мог давать нашим противникам сведения, которые они бы использовали против нас? Они получали от меня только те новости, которые нам было выгодно им давать. Любое сведение, которое я давал им, согласовывалось с нашим посольством. Это называет-

ся инспирированное сообщение. Просмотрите подшивки нашей газеты за те пять лет, что я в ней работал, и если найдете в моих материалах хоть сдну политическую ошибку — делайте со мной что хотите!

Ламсдорф растерянно молчал. Такого поворота он не ожидал. Он встал и снова заходил из угла в угол, стараясь сохранить привычное насмешливо-недоверчивое выражение лица и быстро перебирая в уме возможные реплики. А Леопольд сидел совершенно успокоившийся и даже почти забывший, где и в каком положении он находится.

— Все это не совсем так, Халлер, не совсем так, — заговорил наконец Ламсдорф только для того, чтобы нарушить невыгодное для себя молчание, а Леопольд с удовлетворением отметил расположение слов: «не совсем так», выдававших неуверенность говорившего. — Но мы к этому еще вернемся, — пытаясь вновь принять свой тон недомолвок и скрытых угроз, продолжал Ламсдорф.

Он лихорадочно соображал, в какую сторону увести допрос от направления, которое неожиданно оказалось выгодным для Халлера. Такого удара от подследственного Ламсдорф давно не испытывал и потому все никак не мог прийти в себя. Наконец он вспомнил, что в ящике стола у него находится запрос об одном человеке, тоже приехавшем из Соединенных Штатов, на которого дрезденское гестапо подбирает материал. Конечно, с опознанием этого человека стоило бы повременить до момента, когда Халлер будет окончательно обломан и станет податливее. Но, в конце концов, — плевать на дрезденское гестапо. Пусть сами работают. Не в ущерб же себе стараться для них! Решив так, Ламсдорф достал большой конверт из плотной бумаги и, подойдя к столику, за которым сидел подследственный, высыпал перед ним ворох фотографий.

— Вот, пересмотрите, Халлер. Кого вы знаете из этих людей?

Леопольд стал перебирать карточки с большим интересом. Сейчас он наконец увидит кого-то из своих знакомых, из-за которого на него пали подозрения. Кто это может быть?

Карточек было больше двадцати, все мужчины, но никого знакомого. Одно лицо — довольно полного чело-

века средних лет, с темными волосами, расчесанными на боковой пробор, остановило его внимание, но ненадолго. Человек отдаленно напоминал ему кого-то, но и только.

— Я никого не знаю из этих людей, — сказал Леопольд, подняв глаза на следователя.

— Никого не узнали? — в голосе Ламсдорфа слышалась ирония. Он уже полностью овладел собой и вел допрос в своей привычной манере. — У вас что, зрительная память слабая?

Леопольд пожал плечами.

— Не знаю. Никогда об этом не думал. Наверное — обычная.

Ламсдорф подошел к его столику, сгреб фотографии в конверт и с ними вернулся за свой стол.

— А я думаю, что слабая, — сказал он с легкой и недоброй усмешкой. — Ну хорошо. Я вам сейчас прочту ряд фамилий. Вы кого-нибудь знаете из таких лиц?..

Ламсдорф поднял лист бумаги и начал внимно читать одну за другой фамилии. Когда он произнес «Крайслер», Леопольд прервал его:

— Одну минуту! Дайте мне эти фотографии.

Ламсдорф снова положил перед ним конверт и, вернувшись на место, заинтересованно следил. Леопольд быстро перебирал карточки, и найдя полного человека с боковым пробором, твердо сказал:

— Вот он!

— А почему вы сразу не показали его?

— Потому что на этой карточке он мало похож на себя. Он в жизни совсем не такой красивый, как здесь.

Ламсдорф снова недоверчиво усмехнулся, но на этот раз ничуть не смутил Леопольда. Крайслера он знал очень мало, никакого отношения они друг к другу не имели, и кем бы тот ни оказался — это никак не могло отразиться на нем самом.

— Расскажите подробно о своем знакомстве с этим человеком! — потребовал между тем Ламсдорф.

Леопольд пожал плечами.

— Пожалуйста. Я с ним познакомился на вечеринке у одной своей знакомой.

— Как фамилия? — быстро перебил Ламсдорф.

— Чья?

— Вашей приятельницы.

— Не приятельница, а просто знакомая, — возразил Леопольд.

— Так как же все-таки ее фамилия?

— Мартин. Лилиан Мартин, если это вам что-нибудь говорит, — добавил Леопольд не без ехидства, чувствуя удовлетворение от того, что хоть эта женщина находится вне достижения гестапо. — Она не немка и сюда не приехала.

— Продолжайте показания! — сухо приказал Ламсдорф, уловив насмешливые нотки в словах Халлера.

— Это было в какой-то праздник. Кажется, на Новый год... А, может быть, на Рождество... В общем, зимой. Я зашел ее поздравить. Там было довольно много народа. Среди них и Крайслер. Нас представили, но мы и слова друг другу не сказали.

— Почему?

— Он сидел на диване в одном конце гостиной, я уселся в кресло — в другом. К тому же я скоро ушел.

— Почему?

— Компания была не по мне. Все уже много выпили и пили еще. А я не люблю пьяных.

Ламсдорф не преминул вставить:

— Да, вы трезвенник и вообще необычайно нравственный человек!

— Я на это не претендую, — ответил Леопольд огорченно. В момент, когда между ним и следователем стали складываться, как ему показалось, отношения, похожие на нормально-человеческие, когда разговор принял наконец деловой характер, эта насмешка уязвила его. Он повторил: — Я не претендую на высокую нравственность, но я и не безнравственный человек и пьянства никогда не любил.

Ламсдорфа уже некоторое время коробил слишком независимый тон подследственного, и потому он счел нужным поставить его на место.

— Продолжайте показания о Крайслере.

— Показывать, собственно, больше нечего. С тех пор мы встречались несколько раз на улице, но никогда не останавливались, только раскланивались.

— И при таком сверхмолодом знакомстве вы,

однако, прекрасно запомнили его фамилию, которую могли бы и не расслышать...

— Но я ее расслышал! А запомнил потому, что есть такая марка автомобиля. Мне она как раз нравилась.

— А Крайслер-человек вам не нравился?

— Он мне ни нравился, ни не нравился. Он для меня был и есть никто.

— А почему же вы пытались отрицать свое знакомство с ним?

— Я не отрицал. Я его просто не узнал. Его трудно узнать на этой карточке, я повторяю. Если вы его ищете по этой фотографии, вы его век не найдете!

— Ну уж это предоставьте нам. А где он сейчас?

Леопольд пожал плечами:

— Понятия не имею!

Ламсдорф был явно раздосадован, но пытался это скрыть. Он понимал, что Халлер говорит правду, да ведь еще надо посмотреть, есть ли что-нибудь за самим Крайслером или там тоже вот такое дело. Но этого, конечно, нельзя дать почувствовать Халлеру. Пусть думает, что Крайслер — крупная птица и что на него самого из-за знакомства с ним падает тень. Подследственному нельзя давать ни минуты спокойной, иначе он воспрянет духом. А Халлер, — это теперь видно, — не из слабых, хотя и потрясен арестом. Сейчас лучше всего прервать допрос и отправить его вниз, к тяжелым раздумьям о личности Крайслера и о том, как может отразиться знакомство с ним на его собственной судьбе.

И севшив так, Ламсдорф нажал электрический звонок — вызвал сопровождающего.

Хорошо зная, как действует в некоторые минуты задушевный тон, особенно на интеллигентных людей, он сказал как бы сочувственно:

— И все-таки, Леопольд, я вам советую хорошенко вспомнить все, что вы знаете о Крайслере. Группенфюрер лично занимается его делом, и эта ваша неискренность, ваше упорное запирательство оставляют очень неблагоприятное впечатление...

Эти слова тяжело подействовали на Леопольда: уж если сам Рунге занимается делом Крайслера, значит, тут что-то важное. И надо же было тогда познакомиться с ним у Лилиан!

Ламсдорф, видя, что Леопольд поверил его словам и подавлен, решил: настал удобный момент еще для одного обязательного со всеми подследственными хода. Жестом отослав приоткрывшего дверь конвойного, он подошел к Леопольду и заговорил медленно и очень значительно:

— И вообще, Халлер, вы ведете себя очень неразумно. Вам следовало бы стать на путь искреннего сотрудничества с нами. Вы ведь многих там знали и могли бы нам быть полезны. Это сильно облегчило бы вашу собственную участь. Подумайте над этим!

Леопольд, поглощенный своими переживаниями, понял только смысл произносимых слов, а не того, что стояло за ними, и потому, пожав плечами, ответил:

— Там, где я мог быть полезнее всего — в газете, мне работать не дали. Но и в министерстве просвещения я работал добросовестно.

— Да я не о том, — прервал Ламсдорф с раздражением. — Не стройте из себя простачка...

Теперь в словах Ламсдорфа Леопольд явно различил какой-то намек. Что он имеет в виду! Леопольд напряженно думал, но мысли были несвязные, в голове шла какая-то чехарда. Нужно взять себя в руки, нужно сообразить. Ламсдорф говорит о чем-то важном. А тот, решив, что подследственный колеблется, стал дожимать. Еще более значительно, тоном, которым дают добрый совет, он произнес:

— Хорошо поразмыслите над тем, что я сказал. Это в ваших интересах!

Теперь все стало ясно Леопольду: ему предлагаю стать доносчиком! Какой позор! Неужели он дал им основание так о себе думать?

А Ламсдорф все стоял и тяжело и пристально смотрел на него. Надо ответить ему так, чтоб не оставить ни малейшего сомнения в том, что он ни за что не согласится на это гнусное предложение.

Леопольд поднял глаза и, как ни трудно это было, выдержал встречный взгляд следователя. Потом он покачал головой и сказал тихо, но твердо:

— Я полезен тем, что даю правдивые показания. Ни чем иным я вам полезен быть не могу.

Ламсдорф усмехнулся, сверкнув своими холодными, черными глазами:

— Ну, дело ваше.

Он подошел к двери, приоткрыл ее и кивком головы подозвал ожидавшего в коридоре конвойного:

— Уведите!

IV

Как только дверь за подследственным закрылась, Ламсдорф снял трубку и попросил соединить его с заместителем начальника следственного отдела.

— Оберштурмфюрер Шлегель, — раздался в трубке неприязненный голос, который самому обладателю его казался непреклонным и металлическим.

— Здесь гауптштурмфюрер Ламсдорф. Допрос окончен.

— Ну как?

— Кое-какие сдвиги имеются...

— У вас есть еще допрос сегодня? — Шлегель говорил как-то странно, делая неожиданные паузы между словами.

— Нет.

— Тогда идите сюда. Захватите протоколы!

— Протоколы пока не веду.

— Не ведете?

«А что протоколировать, болван?» — подумал Ламсдорф, но в трубку сдержанно ответил:

— Считаю преждевременным, — и, чтобы предупредить дальнейшие замечания, добавил: — действую на основании инструкции 169.

«Тоже, уцепился за устарелую инструкцию, — думал в это время Шлегель. — Работать не умеют». Но спорить не стал и коротко повторил:

— Жду.

С обоих концов трубку положили одновременно.

Ламсдорф встал, взял со стола папку с кое-какими бумагами и вышел из кабинета. Он запер обшитую черным дерматином дверь большим ключом, потом нажал кнопку специального устройства и, убедившись, что дверь заперта, как положено по инструкции, двинулся крупным, тяжелым шагом по длинному коридору. Он

испытывал неприятное чувство, которое всегда охватывало его, когда приходилось встречаться со Шлегелем. Мысль о том, что он, — старший и по годам, и по званию, и по стажу работы, — идет с докладом к неопытному, без году неделю работающему в органах безопасности оберштурмфюреру, уязвляла его самолюбие. В душе он верил, как и многие в отделе, что слишком быстро вознесшийся Шлегель сломает себе рано или поздно шею. Но пока что Шлегель успешно провел несколько важных дел и был на хорошем счету. Ему нельзя отказаться в хитрости. Дело Халлера он спихнул Ламсдорфу. Он считает, что сухим способом от Халлера ничего не добьешься, и тогда Халлера он возьмет себе, и тот у него заговорит.

Ламсдорф действительно избегал спецдопросов, так как считал, что они не дают нужных результатов. В подавляющем большинстве случаев допрашиваемые не выдерживают, начинают нести чёрт знает что, набирается огромный, невероятно путаный материал, заваривается каша, которую расхлебать очень трудно, тем более, что чаще всего эти показания оказываются самооговором. Такое дело трудно закрыть. Если же доходит до суда, то необоснованность обвинений становится очевидной с самого начала, и тогда хлопот не оберешься. Единственный выход в таком случае — это провести дело мимо судебных органов и отправить подследственного в лагерь решением особой комиссии — органа, специально созданного для сомнительных с юридической точки зрения дел.

Нет, надо из Халлера выжать все, что можно, обычными методами, и если Шлегель захочет взять дело себе — он получит выжатый лимон.

В глубине души Ламсдорф был не прочь, чтоб к Халлеру применили спецдопрос, а то он моментами держится вызывающе. Халлер, конечно, не выдержит, наговорит на себя с три короба, а Шлегель — рад стараться: все запротоколирует и утонет в груде ничего не стоящего материала. Со свойственным ему самомнением он, конечно, не позаботится придать какое-либо подобие стройности делу, не разработает детали и, когда подожмут сроки, в сыром виде передаст дело в суд, полагая, что окончательно сломил Халлера.

Но он ошибется. Ламсдорф хорошо знал этот тип интеллигента. Халлер будет казниться за то, что из-за него пострадали другие, и на суде обязательно откажется от своих показаний. Такие часто отказываются: как же — высокие христианские принципы! Конечно, это им мало помогает, как и тем, кого они стараются выгородить, но дело отложат, вернут на доследование, будет доложено группенфюреру, и выяснится, что во всем деле есть только то, что установил гауптштурмфюрер Ламсдорф. И Шлегель может сломать себе шею на таком, в общем, пустяковом деле. И очень хорошо, если сломает.

С этой мыслью Ламсдорф остановился перед кабинетом Шлегеля, одернул мундир, пригладил волосы, проверил, все ли пуговицы застегнуты и, открыв дверь, шагнул через порог.

Первое, что он увидел, был лежавший на полу вниз лицом человек со связанными руками и ногами. У человека, обнаженного по пояс, спина была иссечена — словно заштрихована — иссиня-багровыми рубцами. Некоторые кровоточили.

На полу, подсыхая с краев, густели фиолетовые пятна крови.

Обходя стонущего человека, Ламсдорф заметил на стене свежие пунцовыве брызги и, поморщившись, брезгливо подумал:

«Что за свинство! Ведь есть же баня для этого!»

Спиной к двери, склонившись над человеком, стоял знакомый Ламсдорфу штурмбаннфюрер Мельцер, обладавший большой физической силой и потому всегда привлекавшийся к спецдопросам, тем более что сам следствие вести не мог — был малограмотен. Нижний чин — совершенно лысый и безбровый, с головой, словно полуутонувшей в конусообразной шее, — стоял по другую сторону лежащего человека. Как и Мельцер, он держал в руке «бычий хвост» и дышал тяжело.

Сам Шлегель, тоже запыхавшийся, сидел, однако, за столом. Он исподлобья взглянул на вошедшего и, не приглашая сесть, сказал так, словно в кабинете никого, кроме него самого и Ламсдорфа, не было:

— Ну, что там у вас?

«Не воображает ли он, что я буду докладывать при этих...» — подумал Ламсдорф. У Шлегеля не хватало

верхней пуговицы на кителе, и Ламсдорф заметил ее поблескивание около босых ступней лежащего человека. Не отвечая, он нагнулся, поднял пуговицу и молча положил на стол перед начальником. Шлегель никак не реагировал на эту двусмысленную любезность, а Ламсдорф, покосившись на вспухшие щиколотки человека, подумал: «Опять по пяткам бьет! Вот умрет допрашиваемый прямо здесь, — тогда будет знаты! А и хорошо было бы. Тогда уж не вывернется».

— Ну что там у вас? — снова произнес Шлегель, савшим повторением вопроса показывая, что считает обстановку нормальной и не видит причин для задержки с докладом Ламсдорфа.

Тот обернулся на трех посторонних, слегка пожал плечами, как бы говоря этим движением: «Ну, как знаете!» — и начал говорить...

ГЛАВА ПЯТАЯ

I

Следующие недели были очень тяжелыми для Леопольда. Серии допросов, когда вызывали по два раза в сутки, чередовались с непонятными и вызывающими еще большую тревогу паузами, и надежда, что ошибка выяснится и его немедленно освободят, почти исчезла. Наоборот, Леопольд понял, что ни о каком скромном освобождении не может быть и речи.

«Органы безопасности ошибок не совершают» — стояли в его ушах слова Ламсдорфа. И хотя Леопольд на личном примере видел, что ошибки допускаются, и очень грубые, это не утешало. Слова Ламсдорфа означали, что органы имперской безопасности отказываются, даже теоретически, допустить возможность своей ошибки. Раз ты попал сюда — значит, ты виновен. Виновен хотя бы в том, что имел несчастье попасть сюда. Ради того, чтобы восстановить справедливость в твоем частном случае, государство не будет подрывать авторитет учреждения, которое является его оплотом.

Да и ошибка ли допущена в его частном случае? Может быть, никакой ошибки нет, может быть, это неумолимая логика и закономерность? Ведь писали же газеты

там, в другом мире, что в Германии происходит планомерное уничтожение инакомыслящих. А разве он — не инакомыслящий? Разве можно в этом сомневаться? Но чем же он дал основания так считать? Да! Конечно, он не кричал на перекрестках: «Долой национал-социалистов!» Но он никогда, ни перед кем не одобрил то, что увидел в этой стране, не воздал хвалу тому, кого все славословят, не восхищался тем, что превозносится как величайшие достижения режима, и что он считает обманом народа и путем, ведущим к еще большему его закабалению. В письмах к Гильде он ни словом не выразил радость, что находится на родине, не описывал преимуществ жизни в Германии. Конечно, он и не критиковал вслух, но им этого мало. Когда-то они удовлетворялись тем, что человек не борется против них. Теперь им нужно, чтоб человек боролся за них, они хотят запачкать каждого, всех сделать соучастниками. А кто отказывается, хотя бы пассивно, кто молча уклоняется — тот подлежит уничтожению. Как это ясно! Почему он раньше не понял? И как странно все же! Еще там, на месте прежней жизни, обдумывая, ехать или не ехать, он видел, что все лучшие люди из числа его соотечественников, самые мыслящие, честные, патриотичные, — едут. Остались, кроме открытых противников режима, себялюбцы, разжиревшие обыватели — тупые и трусливые — с их тошнотворными рассуждениями вроде: «А мне и здесь хорошо!» «От добра добра не ищут!» «Береженного и бог бережет». И вот, выходит, что они-то и были правы, они оказались дальновиднее, умнее, наконец, чем та интеллигентская элита, которая вернулась на родину, ужаснулась увиденному и теперь подвергается безжалостному уничтожению. Выходит, права была страстная, ослепительная, но уж никак не интеллигентская Гильда, яростно противившаяся его отъезду и, как главный довод, восклицавшая: «Разве можно ехать туда, откуда нельзя вернуться?» И каким жалким, да что жалким — просто глупым, звучит сейчас его ответ ей: «А зачем мне оттуда возвращаться? Я не для того еду!»

Да, теперь вспоминать все это бесполезно. Как Ламсдорф сказал тогда? «Ваше время кончилось!» В пылу спора слова эти не произвели большого впечатления, но сейчас, всплывшие в памяти, они звучали как приговор.

Неужели это окончательно? Неужели он никогда больше не увидит ни матери, ни Луизы? Гильду он уже похоронил в своем сердце. Один бог знает, чего ему это стоило, но похоронил окончательно. Гильда не воскреснет. Но мама, Луиза — неужели их тоже не будет в его жизни?

Как человек, ступивший в болото, неуклонно, хотя и медленно оседает в засасывающую жижу, так Леопольд погружался в беспроблемное отчаяние. Сердце давила невыносимая, физически ощущаемая тяжесть, вокруг казалось темно, хотя ненавистная, не дающая ни днем, ни ночью покоя лампа над дверью продолжала гореть.

Особенно удручающее действовало на него один случай.

Как-то во время допроса к Ламсдорфу зашел молодой обер-лейтенант с какими-то бумагами в руке. Они заговорили вполголоса, что-то обсуждая и заглядывая время от времени то в одну, то в другую бумагу. О Леопольде Ламсдорф, казалось, совсем забыл.

Леопольд же от ничего делать стал издали приглядываться к бумагам, из которых одна лежала сейчас на столе перед Ламсдорфом, а другую продолжал держать в руке обер-лейтенант. И тут Леопольд понял, что это были письма, чьи-то письма с прикрепленными к ним скрепкой, аккуратно вскрытыми конвертами! Они читают чужие письма! Кто-то пишет другу, может быть, матери, может быть, невесте, высказывает сокровенные мысли, а его письма прежде чем дойти до адресата, попадают сюда — их изучают, анализируют... Человек еще живет, ходит по улице, смеется, кого-то любит, строит свои планы и не знает, что путь его жизни ведет сюда, что здесь для него уже готово место.

И тут Леопольда вдруг пронзила нестерпимая своей трагической очевидностью мысль: ведь то, что они сейчас делают, составляет строжайшую служебную тайну, ни в коем случае не предназначенную для сведения постороннего! И если эти двое так спокойно занимаются обсуждением содержания чужого, не им предназначенногописьма, нимало не смущаясь его, Леопольда, присутствием, значит, они уверены, что эта их служебная тайна разглашена не будет.

«Боже мой! Да ведь они меня уже за мертвца счи-

тают! Так безмятежно обсуждать вслух тайну можно только при мертвеце...»

Да, это несомненно, они уже не считаются с его присутствием. Из списка живых он вычеркнут...

Где выход, где надежда? Все было правильно, что писали газеты в том мире, ничего они не преувеличивали. Наоборот — недотягивали. Были, конечно, и выдумки. Наивные, нелепые выдумки, в общем совершенно безобидные для режима, потому что разве можно оттуда сравниться выдумкой с тем, до чего додумались здесь?

Что же делать? Вырваться на свободу, конечно, не удастся. На сколько могут осудить? На пять лет? На десять? Больше вряд ли дадут. Все-таки не могут же они игнорировать мою работу за границей. Ламсдорф сказал, что если я сознаюсь, суд может смягчить приговор. Но в чем я должен сознаться? Сказать, что я — шпион, агент чьей-нибудь разведки? Леопольд содрогнулся. Сын Юлиуса фон Халлера — иностранный шпион? Никогда! Никогда не возведет он на себя такого чудовищного поклепа, не запачкает кристально чистое имя отца. Но они явно хотят именно этого... Ламсдорф к этому и клонит. Он намекнул, что, если я буду запираться, меня могут передать другому следователю, который применяет иные методы допроса. И тогда — выдержу ли я? Лучше до этого не доводить. Надо в чем-нибудь признаться. Надо помочь Ламсдорфу, но так, чтоб он не погубил меня окончательно. Как жаль, что я не знаю законов. Можно было бы сознаться в чем-нибудь не очень страшном, чтоб получить лет пять. Удовлетворился бы Ламсдорф этим? Наверное — да. Ведь он-то знает, что я ни в чем не виноват. Разве не хватит пяти лет для невиновного человека?..

Но пять лет... Какой огромный срок! Пять лет я учился в университете. Студенческие годы — целая эпоха в моей жизни. И теперь — сидеть пять лет? За что? Не хочу!! Выдержит ли такой срок Луиза? Ведь ей всего двадцать три. Мы прожили вместе только девять месяцев, знакомы только два года. Можно ли требовать, чтобы она ждала меня пять лет? А если дадут больше? Если дадут десять? Наверное, десять, меньше никому не дают. Мне будет сорок четыре, Луизе тридцать три. Нет, такой срок выдержать невозможно. Что же делать? Боро-

тъся! Сопротивляться! Найдется какой-нибудь выход. Где-то есть спасение. Есть, в конце концов, другие следователи. Все не могут быть как Ламсдорф. Он—просто неразвитой человек, не представляющий себе жизни за границей. Ему кажется, что все, что делается за пределами Германии,— это один сплошной антигерманский заговор. Какая чушь! Кто там интересовался Германией? Каждый живет своей жизнью, и дела ему нет до их вечной маеты, преодоления беспрестанно возникающих трудностей, которые сами же правители и создают; до этих нескончаемых внутренних распреи и гонений то на евреев, то на коммунистов, то на католиков... Как отвратительна эта жизнь! Все время под страхом, все время во власти ненависти и недоверия... Где нет свободы — там нет взаимного уважения, там трудно сохранить человеческое достоинство. Там все друг другу лгут, все друг друга боятся и не доверяют. Как можно так жить? И зачем цепляться за такую жизнь? Не лучше ли сразу оборвать все? Леопольд огляделся... Чем? Но мысль о пассивном самоубийстве он сразу же отверг. Это их бы, в общем, устроило. Запишут: убит при попытке к бегству или еще что-нибудь в таком духе, закроют дело и примутся за другого человека. У них уже наверняка намечены следующие жертвы, только руки не доходят.

Нет, я им такой услуги не окажу. Все, что нужно, что выгодно им, не нужно, вредно нам, людям.

Напасть на Ламсдорфа? Даже если удастся его убить—обмен неравноценный... Леопольд вспомнил, что уже думал об этом, и понял, что подобные мысли бесплодны. Ни до кого мало-мальски значительного не доберешься, а если бы и добрался — голыми руками ничего не сделаешь.

Так какой же выход?

Сопротивляться!

Некоторое время тому назад цепь его размышлений началась именно с такого вопроса и пришла к такому же ответу. Он ходит по заколдованным кругу. И разорвать этот круг у него нет сил.

В бешенстве он вскочил, подбежал к двери и ударил по ней кулаком. Он ушиб руку о железную обшивку, а дверь даже не скрипнула, не дрогнула. Он ждал, что откроется форточка и дежурный по коридору спросит:

«Чего надо?» Но, видимо, поблизости его не было. Форточка не открылась. В коридоре и вокруг стояла мертвая тишина, которую на мгновенье прервал громкий, протяжный вздох. Или это ему показалось?

Леопольд постоял еще некоторое время перед дверью, подавляя желание размозжить себе голову. Если бы знать, что свалившись замертво, — тогда другое дело. А так... Он представил себе холодную, насмешливую улыбку Ламсдорфа при виде его, явившегося на допрос с перебинтованной головой. «Что, нервы пошаляют?» — спросил бы, наверное, Ламсдорф. Надо держать себя в руках, не поддаваться отчаянию. Пока человек жив — какая-то надежда все-таки есть. Только смерть не оставляет никакой надежды.

Легко сказать — не поддаваться отчаянию. Ведь гибнет жизнь. Неужели они хотят меня погубить? Зачем им это? Ведь, в конце концов, меня можно использовать. Неужели я им никак, совсем никак не нужен? В мировую войну Германия потеряла пять миллионов человек — молодых, сильных, здоровых. Я приехал: вот мои руки, вот мои ноги, вот моя голова! Неужели все это никак нельзя использовать? Неужели все, что можно сделать с моей головой, — это отрубить ее?

Что ж такое — этот строй? Кто такие эти существа? Людьми их не назовешь... Что же они? Как их земля терпит, как бог допускает все это?

Леопольд никогда не был особо набожным, но в бога верил твердо. Он не задумывался специально над вопросами бытия, мироздания, но был убежден, что сама по себе жизнь возникнуть не могла. Должна быть первопричина, начало всех начал, исходная точка. Это и есть бог. А бога он понимал так, как учит церковь, со всеми его ипостасями, главной из которых считал все-благость.

И вот здесь, в одиночной камере, ему пришло в голову, что две ипостаси бога противоречат одна другой: если бог всемогущ, то он не всеблаг, если же он всеблаг — то не всемогущ, ибо как в противном случае он может допускать все то, что делается в мире?

Леопольд сознавал, что такие мысли для верующего — грех, и старался отогнать их, но они возвращались все настойчивее и настойчивее.

— Почему, в конце концов, это грех? — спрашивал он себя. — Я ищу истину, а бог и есть истина. Значит, я ищу бога. В чем же тут грех?

— В сомнении, — отвечал он себе.

— Но греховно ли такое сомнение? Ведь сомневаешься в боже, я возвращаю себя к мыслям о нем. И так как он существует, то я неизбежно каждый раз в этом убеждаюсь и, следовательно, мои сомнения еще больше укрепляют меня в вере.

Леопольд усмехнулся. «В средние века написал бы я рассуждение «О пользе сомнения». Меня объявили бы еретиком и сожгли на костре. Спустя сто или двести лет нашлись бы люди, которые провозгласили бы меня святым. А я не еретик и не святой. Я просто человек, который хочет постичь истину, понять окружающую жизнь. И за это ни сжигать, ни держать в тюрьме нельзя. Раз человеку дан разум, он имеет право им пользоваться, и никто не должен посягать на это право, возывающее человека над всем окружающим живым миром».

Как ни противоречивы были мысли Леопольда о боже, они все же принесли ему некоторое облегчение. Он почувствовал, что не одинок здесь, в каменной клетке самого страшного на земле места. Он перестал ощущать себя беспомощным перед этой беспрерывно действующей машиной. Именно в эти минуты к нему начали — еще очень смутно — приходить понимание, что, пока он жив и нравственно не сломлен, он сохраняет главное, что есть у человека — духовную свободу, и в этом отношении стоит неизмеримо выше своих мучителей. Ибо сказано: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь и немногие находят их».

И впоследствии, хотя он далеко не всегда это сознавал, хотя были у него новые приливы и отчаяния и сомнений, — все его усилия были направлены на то, чтобы эту духовную свободу сохранить.

— Итак, вы утверждаете, что никогда не состояли в антигерманской организации?

— Да. Никогда.

— А в каком году вы вступили в члены так называемого Германского общества взаимопомощи?

— На этот вопрос мне трудно ответить. Дело в том, что мой отец был его основателем и одним из руководителей еще до моего рождения.

— Ну и что из того?

— Как — что? Я бывал там с детства. Сколько себя помню.

— Что же там было делать ребенку?

— Как — что? Там была детская площадка. Там мы слышали вокруг себя немецкую речь. Библиотека была, клуб...

— В общем, если вас послушать, так самое невинное учреждение. А, между тем, у нас имеются другие сведения.

«Что за ересь? — подумал Леопольд. — Какие другие сведения могут у них быть о нашем обществе?»

— Я не знаю, господин следователь, какие у вас сведения, но, уверяю вас, что в нашем Германском обществе не было ничего антигерманского. Наоборот, наши родители основали его, чтоб мы, дети, не утратили германский дух, не растеряли национальные чувства. Само название общества говорит за себя.

— Ну, название можно дать какое угодно. Вы искусно маскировались, вернее, вам казалось, что вы искусно маскируетесь.

Леопольд почувствовал себя уязвленным до глубины души. Было особенно больно оттого, что задетым оказался отец, всегда гордившийся своим детищем, которое он основал еще до мировой войны и которое ему стоило таких трудов сохранить в тяжелые военные годы.

— Мы ничего не маскировали. Мы преследовали благородные патриотические цели. Мы можем гордиться нашим обществом. Мы помогали бедным немцам, мы лечили больных бесплатно, хоронили одиноких, подыскивали работу тем, кто в ней нуждался. Благода-

ря нашему обществу ни один немец, даже в период великой депрессии, не стоял с протянутой рукой, не опустился до воровства или бандитизма, не проводил часы в очередях Армии Спасения за бесплатным супом...

Ламсдорф и сам все это прекрасно знал и потому решил прервать горячую тираду подследственного.

— Хватит рассказывать сказки, Халлер, — сказал он резко. При этом он хлопнул рукой по столу, делая вид, что теряет терпение. — Антигерманское гнездо — вот чем было на самом деле ваше так называемое Германское общество взаимопомощи. У вас там состояли и коммунисты, и евреи, и гнилые либералы. Не думайте, что мы ничего не знаем.

Он взял со стола толстую папку и, подойдя к Леопольду, быстро перелистал несколько страниц. Замелькали знакомые фамилии, названия фирм, адреса. Ламсдорф с усмешкой смотрел на Леопольда.

— Видите, Халлер, нам все известно. Все документы здесь! — В голосе Ламсдорфа слышалось торжество, которое, однако, не оказалось на Леопольда ожидаемого действия.

— Да, я вижу здесь знакомые имена, — спокойно сказал он. — Меня это не смущает. Мы ничем предосудительным не занимались. Вы в этом легко убедитесь, когда ознакомитесь с материалами.

— Я уже ознакомился... Преступная организация, враждебная третьему рейху, — вот что такое было ваше общество.

— Нет, нет! Не было этого...

— Было! Состояли у вас коммунисты? Евреи состояли? Католики?

— Коммунистов, по-моему, у нас не было. Во всяком случае, я таких не помню...

— Вы ничего непомните, что вам невыгодно!

— Дайте мне подумать... Нет, не было у нас коммунистов. Их вообще там мало...

— Но могли быть?

— Могли. Мы не спрашивали о политических убеждениях. Лишь бы был немец...

— Вот видите! А евреи были? Либералы?

— Евреи были. Лотар Штейн, Сэмми Майер, Эйб Голдберг. Еще были... Сейчас не вспомню всех. Но они

только по религии были евреи, а вообще немцы. Они любили Германию, считали ее своей родиной. Эйб Голдберг — прекрасный бейсболист. Ему предлагали играть за профессиональную команду, но он нас не бросил. Мы один год были чемпионами штата. Без него мы бы этого не добились.

— Ваш бейсбол меня не интересует. У вас было полно либералов, демократов, католиков.

— Да, но были и национал-социалисты...

— Хорошие национал-социалисты! Якшались с евреями!

— Поймите, там многопартийная система. Там есть люди разных взглядов. Общество наше было аполитичным. Мы не спрашивали, какие у человека политические взгляды. Ты немец — значит, иди к нам! Разве это плохо?

— Очень плохо. Аполитичность — тоже политика! — строго сказал Ламсдорф так, будто он сам являлся автором этой мысли. И тут же добавил еще более значительно: — Вредная политика!

— Не знаю, какой вред был для рейха от того, что мы собирались, пели немецкие песни...

— И «Хорст Вессель» пели? — быстро вставил Ламсдорф.

— Нет. Мы пели старые немецкие песни.

— Ох, не любите вы нового, Халлер, не любите, — вздохнул Ламсдорф с притворным огорчением. Леопольд молча пожал плечами, не будучи в силах заставить себя возразить.

— Скажите мне вот что, — продолжал Ламсдорф. — В чем выражалось ваше личное участие в жизни общества? Только не пытайтесь что-либо скрыть. Здесь, — он тяжело положил руку на объемистую папку, — здесь есть все.

Несмотря на то, что Леопольд по-прежнему был убежден в своей невиновности, теперь, когда выяснилось, что общение с евреями — предосудительно, дружба с либералами (да и что такое, черт возьми, либерал?) — чуть ли не преступление, он уже не был так уверен, что ему удастся оправдаться. У них свои законы, свои юридические и моральные нормы, и по их критериям он, Леопольд фон Халлер, если не преступник (он никак не мог смириться с этим словом в при-

менении к себе), то правонарушитель. Поэтому Леопольд, отнюдь не собираясь что-либо скрывать, решил все же говорить, взвешивая каждое слово, чтоб из-за какой-либо обмоловки не напортить себе еще больше. Ведь сказав, что и коммунисты могли состоять в Обществе взаимопомощи, он сильно ухудшил свое положение.

И сейчас, когда ему предстояло ответить на вопрос, который Ламсдорф наверняка считал важным, он решил быть осторожным.

— Мне трудно так сразу ответить на ваш вопрос,— заговорил Леопольд.— Какой период моей жизни вы имеете в виду? В детстве...

— Ваше детство меня не интересует! — оборвал его Ламсдорф. — Не увиливайте, Халлер!

— Я не увиливаю. В более старшем возрасте я был некоторое время председателем кружка молодежи при нашем Обществе.

— В каком году?

— Ну... мне было лет шестнадцать...

— Шестнадцать? — недоверчиво переспросил Ламсдорф.

— Одну минуту. Дайте вспомнить. Я как раз поступил в колледж. Да, правильно. Шестнадцать лет мне было.

— Что-то рано вы кончили среднюю школу.

— У нас там многие так кончают.

— У вас? — на этот раз удивление Ламсдорфа было искренним. Но он тут же добавил с насмешкой: — Ах, да, правильно. Я и забыл, что вы американец!

— Я не американец. Я — немец.

— Какой вы немец! Американец, самый настоящий!

— Если вы меня считаете американцем, тогда я не понимаю, почему я здесь нахожусь, почему меня обвиняют в антигерманской деятельности? По американским законам общение с евреями, либералами или коммунистами не является преступлением.

— Вот вы как рассуждаете!

— Ну а как же? Ведь вы же не обвиняете меня, что я совершил... что-нибудь предосудительное на территории Германии? А живя в Америке, я обязан был жить по американским законам, разве не так? Следователь-

но, в моих действиях нет никакого состава преступления.

Ламсдорф, не зная, что сказать, только недобро усмехнулся и покачал головой.

— Ну, вы... знаете... фрукт... — Ламсдорф тянул, придумывая, как бы вывернуться из неожиданно возникшего неприятного положения. И ничего не придумав, просто оборвал эту боковую нить разговора. — Не отвлекайтесь, Халлер. Я прекрасно понимаю ваши уловки. Сколько лет вы пробыли на этом посту? Председателем вашего кружка...

Леопольд невольно улыбнулся.

— Ну какой же это пост? Некого было избрать — выбрали меня. Считали, что у меня есть общественная жилка...

Сказав это, Леопольд осекся, так как заметил, что Ламсдорф стал усердно записывать его слова.

— Сколько членов у вас было?

— Несколько десятков. Активных, во всяком случае, человек тридцать.

— И вы, значит, были самым активным?

Леопольд почувствовал, как почва плывет у него под ногами. Внутри вновь появился тревожный холодок, словно кусок льда, который не тает. Оспаривать последнее слово было бесполезно: раз председатель — ясно, что самый активный член. Как глупо, как неудачно складывается! Что могло быть безобидней их кружка молодежи, и вот здесь, вдруг оказывается, что это было чем-то предосудительным. Все для них плохо, все у них плохие. Нет, надо ему сейчас же объяснить, как было на самом деле.

— Что же вы молчите? — донесся до Леопольда суховатый голос следователя. — Отвечайте: были вы или нет активным членом организации, враждебной национал-социалистской Германии?

Сердце Леопольда взорвалось ненавистью к этому существу, неизвестно зачем всеми силами старающемуся погубить его. И хотя предостерегающий голос убеждал: «Промолчи! Вытерпи! Успокойся и тогда отвечай. Говори сдержанно, тщательно обдумывай каждое слово!» — он был не в состоянии в эти мгновения повиноваться велению здравого смысла.

— Да! — сказал Леопольд твердо и даже с нотками гордости и вызова в голосе. — Да, я был самым активным членом кружка молодежи при Германском обществе взаимопомощи в северо-восточных штатах; да, я был его председателем, подобно тому, как отец мой был двадцать пять лет председателем всего общества; я готов нести всю ответственность и за него, и за себя. И если преступлением перед Германией является то, что мы изучали немецкий язык и литературу, — то я признаю себя виновным в таком преступлении; если вредно германскому рейху, что мы на спортивной форме носили цвета национального флага и с этим флагом на груди не раз одерживали победы, то и в этом преступлении я признаю себя виновным; если преступление, что в моем сердце с той самой поры, как я себя помню, горела любовь к германскому отечеству — то пробейте пулей это сердце!

«А ведь умеет говорить, подлец!» — думал Ламсдорф, слушая эту тираду. «Такому только дай развернуться!..» И очень довольный оборотом, который принял допрос, и особенно тем, что удалось, наконец, вывести подследственного из равновесия, раскрыть скользуго его осторожности и недоверия, Ламсдорф сказал вкрадчиво и примирительно:

— Не надо волноваться, Халлер. Никто вас не собирается убивать. Вот вы здесь рассказали интересные вещи. Их надо зафиксировать. Мы хотим знать все...

Ламсдорф знал, что теплый тон, которым он ответил на вспышку гнева со стороны подследственного, обязательно вызовет у того резкую смену настроения и расположит его к доверительной беседе. Тем более что слова о необходимости знать всё, сказанные после такой патриотической речи, можно было понять, как намерение следователя начать наконец выявлять истину, а не фиксировать только неблагоприятные обстоятельства.

И Ламсдорф не ошибся. Стоило Леопольду услышать в голосе следователя человеческие нотки, как гнев его исчез. Ему почудилось, что он наконец задел в душе Ламсдорфа какие-то затаенные струны, до сих пор молчавшие. «Ведь человек же он, в конце концов! Ведь он тоже немец!» — в который раз подумал Лео-

польд, пытаясь убедить себя в том, во что так хотелось, так необходимо было верить в эти минуты. И он ответил мягко, даже немного смущенный своей вспышкой:

— Пожалуйста. Я готов ответить на любой ваш вопрос.

— Я не буду задавать вопросов, Леопольд, — тоже мягко, почти задушевно ответил Ламсдорф и отодвинул от себя бланк протокола, а ручку отложил в сторону, этим жестом показывая, что между ними сейчас происходит не допрос, а скорее задушевная беседа.— Расскажите все, что помните. Только откровенно...

— Мне таить нечего, господин следователь. Я повторяю — может быть, у нас и были какие-нибудь ошибки, но ничего злостного не было.

Произнеся эти слова, Леопольд почувствовал легкую досаду на себя: зачем сказал об ошибках? Какие были ошибки? А, впрочем, пусть так будет. Пусть не думает Ламсдорф, что он запирается, ни в чем не уступает. Если Ламсдорф хочет понять — он поймет. А он, кажется, теперь хочет понять. Он же видит, что я не враг.

И Леопольд начал рассказывать о своем детстве, о том, как любил он слушать рассказы отца о Германии, о студенческих союзах, о дуэлях на шпагах, о том, с какой беспримерной торжественностью справляют в Германии рождество; о деде-генерале, герое франко-прусской войны, которого обласкал сам Мольтке, а Бисмарк лично наградил медалью; о том, как горд был отец своей принадлежностью к нации, давшей миру Бетховена, Гёте, Ницше и Вагнера, как еще в школе он понял, что он не американец и никогда им не будет, и решил вернуться на родину отца, как мечтали о том же его товарищи по кружку; как любовно изучали культуру своего народа.

Ламсдорф слушал, не прерывая, порой понимающе кивая головой, и Леопольд впервые за эти недели чувствовал себя полноправным человеком. Он перестал ощущать стену недоверия и неприязни, которая отделяла его от всех, с кем приходилось здесь иметь дело.

— Скажите, Леопольд, — вступил наконец в разговор Ламсдорф. — Вот вы изучали германскую лите-

туру. Как вы это делали? Вам кто-нибудь преподавал ее?

— Нет. В нашем городе такого специалиста не было. Мы сами доставали материалы, выписывали отсюда, готовили темы и читали доклады.

— И вы читали?

— Конечно.

— Ну и на какую тему вы читали?

— Я прочел два. По истории — об Оттоне Великом. По литературе на тему «Жизнь и творчество Генриха Гейне».

Ламсдорф чуть не вздрогнул при этом имени, но быстро опустил глаза. Вот лишнее подтверждение преимущества чередования жесткого допроса с мягким: разве Халлер полчаса тому назад упомянул бы Гейне? А вот размяк и ляпнул. Но не спешить, не спешить. Еще рано. И, не выдавая особой заинтересованности, Ламсдорф спросил, как бы невзначай:

— Ну и как же вы охарактеризовали его?

— Ну как можно охарактеризовать Гейне? Великий поэт, гордость германской культуры...

Леопольд снова осекся, заметив, как остро блеснули холодные глаза Ламсдорфа. А тот вздохнул и проговорил негромко не то с сожалением, не то с укоризной:

— Вот видите, Леопольд. А говорили, что не было у вас ошибок! Прославляли еврейского поэта, творчество которого не только чуждо, но и враждебно духу новой Германии, поэта, чье тлетворное влияние губительно действовало на мораль германской молодежи. Вы ведь знали, что рейхсминистр пропаганды назвал его врагом национального духа Германии, что патриотически настроенная молодежь предала писания этого ублюдка огню?

— Я читал об этом в газетах, но не верил...

— Не верили? — поднял Ламсдорф на Леопольда тяжелый взгляд.

«Да, я не верил, не хотел верить, что у меня на родине находятся ублюдки, которые предают огню сочинения великого поэта», — хотелось крикнуть Леопольду. Это был единственный мыслимый ответ, но произнести вслух такие слова — значило подписать собственный обвинительный приговор, и Леопольд угрюмо мол-

чал. Он уже снова утратил доверие к следователю, но прежняя ненависть еще не вернулась. Он находился в каком-то промежуточном состоянии, и Ламсдорф очень точно уловил это настроение, и потому, не настаивая на ответе на свой нелегкий вопрос, вкрадчиво заговорил:

— Теперь вы понимаете, Леопольд, что не все было у вас так гладко и безупречно, как вы утверждали?

— Но разве это преступление?

— А как же? Вы славословили поэта, враждебного духу новой Германии! Вы отравляли души ваших слушателей ядом скептицизма, неверия в исконно германские идеалы и принципы, вы, наконец, активно противились официальной линии германского правительства по культурным вопросам. Тем самым вы подрывали устои, на которых строится здание новой Германии. Как же это назвать? Сами скажите.

Леопольд подавленно молчал. Все было не так на самом деле. И никакого славословия не было — он просто давал трезвую оценку, да и не свое мнение он выражал. Это общее мнение. Не мог же он сказать, что Гейне — плохой поэт, его просто засмеяли бы... И никакого яда в поэзии Гейне нет, а в его, Леопольда, докладе и подавно не было. А о высказывании Геббельса он не знал... И вообще это был ученический доклад типа реферата, да и слушателей было человек двадцать, не более, и никакого тлетворного влияния на души этих ребят он не оказывал, и после доклада все поехали купаться на озеро и уже не думали о докладе, а сложились и вечером пошли в кино... Но как все это объяснить ему? Все равно он не поверит, не захочет поверить. Они во всем хотят видеть лишь злой умысел, заговор, преступление. Зло — их удел.

И в эти мгновения Леопольд понял, что отделаться от них не удастся, будь он трижды святым, что раз он сюда попал, он должен смириться с мыслью, что понесет наказание, и что лучше уж признаться в таких ошибках (он опять не в состоянии был употребить слово «преступление»), чем оказаться вынужденным назвать себя шпионом или заявить, что он замышлял убийство фюрера. Вчера ночью опять волокли кого-то по коридору, и стоны и мольбы о помощи не давали уснуть до

утра. Ламсдорф уже раза два намекнул на то, что есть следователи, которые ведут допросы по-другому. Нет, лучше не доводить дело до этого, лучше уж помочь Ламсдорфу — пусть сочиняет историю об их Обществе. Это все-таки наименьшее зло.

Но все же он не мог решиться сделать роковой шаг и потому, надеясь уже только на чудо, слабо спросил:

— И вы считаете, что это было с моей стороны... преступление? — ему трудно далось это слово.

— Несомненно! — твердо произнес Ламсдорф.

— Ну что ж, — ответил Леопольд мертвым голосом, — я не отрицаю. Это было...

Ламсдорф некоторое время писал, а Леопольд, глядя на то, как он необычно держит перо — между указательным и средним пальцами, — думал, что неизбежное свершилось, у него вырвано признание и теперь уже нет никакой надежды... И все же, убеждал он себя, это еще, может быть, лучший выход. Не могут же его пребывание в Германском обществе взаимопомощи рассматривать как серьезное преступление. Зато он избавляется от страшной угрозы подвергнуться тому, что испытал стонавший вчера ночью человек... Видимо, придется пробыть несколько лет в заключении. Такова уж его участь. Только бы не дали больше пяти. Пять лет — это терпимо, это можно выдержать. Хоть бы разрешили свидания. Мама останется с ним до конца, но Луиза... Она ведь совсем еще молодая, да и привыкнуть не успела...

Между тем Ламсдорф закончил писать и снова обратился к Леопольду.

— Теперь ответьте мне на такой вопрос: когда именно вступили вы во вражескую организацию, именовавшую себя: Германское общество взаимопомощи?

— Да не было оно вражеским! Оно было аполитичным, нейтральным, — запротестовал Леопольд.

Ламсдорф укоризненно посмотрел на него, как бы говоря: «Опять ты за свое!», но сказал миролюбиво, не выказывая признаков нетерпения:

— Вы же сами говорили, Леопольд, что у вас там были либералы, коммунисты, евреи.

— Не было коммунистов, — устало возразил Лео-

польд, но Ламсдорф, будто его и не перебивали, продолжал:

— Не молчали же они все время? Вы же сами рассказывали, что там у вас всякий говорил, что хотел...

«Когда я это ему рассказывал?» — с опаской подумал Леопольд, но промолчал, не желая останавливаться на этой скользкой теме.

— ...так не будете же вы утверждать, что все эти Сэмы, Эйбы и Лотары хвалили Германию, что они были в восторге от третьего рейха? А либералы, левые и прочая дрянь, они разве не ругали нас?

— Германию они никогда не ругали...

— Германия есть только одна. Наша Германия! — Ламсдорф сделал ударение на слове «наша», и Леопольд вспомнил слова их песни: «Сегодня Германия наша, а завтра весь мир будет наш!». Тем временем Ламсдорф продолжал: — Никакой другой Германии нет и быть не может. И вот в этом вашем Обществе произносятся враждебные Германии речи, а вы, считающий себя немцем, гражданином третьего рейха, состоите в такой организации. Что же это такое, как не преступление перед вашей родиной, вашим народом?

— Я не был тогда гражданином рейха. Я был американцем.

— Были! Вы разве не знаете, что по нашим законам каждый немец, даже родившийся за границей и имеющий иностранное подданство, считается одновременно и германским подданным?

Леопольд молчал. Об этом законе он слышал и когда-то считал его правильным политическим ходом. Но разве мог он представить, как губительно будет использован лично против него этот закон?

— Итак, я повторяю свой вопрос: когда вы вступили во вражескую организацию, именовавшую себя Германское общество взаимопомощи?

— Не вступал я в него. Я в нем родился. Я бывал там, сколько себя помню.

— Но на вашем членском билете какая дата стояла?

— Да не было у нас никаких членских билетов!

— Вы опять запираетесь, Халлер! — голос Ламсдорфа звучал сурово. От недавней мягкости не осталось и следа.

— Я не запираюсь. Вот же у вас там документы, касающиеся нашего общества. Вы не найдете в них упоминания о членских билетах.

Этот довод прозвучал убедительно для Ламсдорфа, и у него — что редко с ним случалось при допросах — вырвалась искренняя фраза:

— Должен же я проставить какую-то дату в протоколе!

С этим Леопольд был согласен. Если уж рассматривать их земляческое общество как политическую организацию, то нужна какая-то дата вступления.

— Я не знаю, — начал Леопольд нерешительно. — Как было по-настоящему — я вам сказал, если же нужна точная дата, ставьте, какую хотите. Ну, например, можно считать год поступления в колледж. Все же, некоторым образом, этап взрослости. Устраивает вас это?

Ламсдорф подумал и спросил:

— В каком году вы поступили в колледж?

Леопольд назвал год, и Ламсдорф записал. Неожиданно и ненамеренно, но получилось для Леопольда удачно: он ведь поступил в колледж шестнадцати лет. Не может быть, чтоб суд не учел крайней молодости обвиняемого в момент вступления в Общество. На это надо будет напирать в суде.

III

В ту ночь допрос длился очень долго, потому что Ламсдорф вел протокол и фиксировал все добросовестно. Так, во всяком случае, казалось Леопольду. Вопросы носили деловой характер, в тоне не слышалось ни угрозы, ни прежнего недоверия ко всему, что бы ни сказал Леопольд, ни враждебности и насмешки. Ламсдорф просто устанавливал факты, и факты эти носили столь безобидный характер, что невозможно было себе представить, чтоб на суде они могли повредить. У Леопольда даже снова появилась надежда: там все-таки заседают совсем другие люди — серьезные, объективные и образованные, для которых подозрение и недоброжелательность ко всему окружающему не составляют основы мироощущения. Им будет ясно, что ничего преступного не было в их Обществе взаимопомощи.

Ведь нельзя же требовать, чтоб у всех членов было одно мнение по всем вопросам.

Было уже под утро, когда Ламсдорф поставил последнюю точку, отложил перо, потянулся и, обернувшись к Леопольду, сказал почти приветливо:

— Ну, вот и все. Мы с вами, Халлер, проделали сегодня большую работу.

«Работу? — удивился про себя Леопольд. — Он называет это работой?» Но вслух Леопольд, конечно, не сказал ничего и только ждал, когда же Ламсдорф вызовет конвойного и отправит его вниз. Он очень устал, проведя всю ночь на табурете и отвечая на бесчисленные и зачастую не идущие к делу вопросы. И к тому же это был пятый ночной допрос кряду. И если Ламсдорф имел возможность после такихочных бдений отсыпаться, то заключенных при любых условиях подымали в шесть утра.

Но, к удивлению Леопольда, Ламсдорф, который тоже выглядел усталым и даже осунувшимся, поднес пачку протокольных листов к его столику и предложил подписать их.

— Разрешите мне сперва прочитать, — сказал Леопольд, не беря в руки пера.

Ламсдорф уязвленно усмехнулся:

— Не доверяете?

Леопольд замялся...

— Все-таки... Это такой важный документ... Я хотел бы...

— Читайте. Ваше право, — произнес Ламсдорф с обидой в голосе, торопя не словами, а тоном и, взглянув на часы, покачал головой.

Он немного походил по комнате, тяжело ступая и скрипя тупоносymi черными сапогами, потом уселся на свое место, достал портсигар и закурил, моментально окутавшись сиреневато-сизой дымкой.

Леопольд тем временем читал и с неприятным чувством дивился, как изложенная сухим (и довольно корявым! — не преминул он отметить про себя) языком протокола история его жизни приобретала черты ей не свойственные и рисовала перед читателем, — а ведь этот читатель будет вершителем его судьбы! — портрет человека, имеющего очень мало общего с подлин-

ным Леопольдом фон Халлером — легким ребенком; без блеска, но вполне прилично учившимся студентом; хорошим спортсменом; позднее небесталанным журналистом и, в общем, совершенно безобидным малым, если и причинившим кому-нибудь зло в своей жизни, так только мужу Гильды.

— Позвольте, почему же «враждебный»? — не выдержал, наконец Леопольд и прервал чтение.

— Это вы о чём? — поинтересовался Ламсдорф.

— О докладе, который я прочел в кружке молодежи.

— Ну, конечно, враждебный! — подтвердил Ламсдорф.

— Да ведь Гейне все-таки немецкий поэт.

— Я вам уже разъяснил, Халлер, что мы думаем об этом еврейском ублюдке. Вы что же, оспариваете мнение имперского министра пропаганды?

Ламсдорф выжидательно смотрел на Леопольда, всем своим видом показывая, что он готов зафиксировать такую точку зрения, если подследственный ее выскажет. Леопольд счел за благо промолчать и уступить.

Дальше спор возник из-за фразы «был связан с антигерманскими кругами в США».

— Я не был связан ни с какими антигерманскими кругами! Я вам этого не говорил! Это не соответствует действительности! — горячо возражал Леопольд, стараясь, однако, выбирать выражения помягче.

— То есть как это — не говорили? Вы что, хотите сказать, что я неправильно записал ваши показания? Вы это утверждаете? — Ламсдорф выглядел не на шутку рассерженным, и Леопольд смущился.

Лучше не восстанавливать его против себя.

— Я не говорю этого, господин следователь, — сильно сбавив тон, стоял на своем Леопольд. Он очень волновался и старался придать своим словам как можно больше силы убеждения, но без резкости. — Но я действительно не говорил вам этого и не мог говорить. Не было у меня связей с антигерманскими кругами.

— Ну и ну! — Ламсдорф возмущенно покачал головой из стороны в сторону. — Вот вы, оказывается, какой человек! — Он загасил сигарету и, поморщившись, помахал рукой над пепельницей, чтобы развеять едкий

дым. — Ну хорошо, снова спрашиваю вас: были в вашем обществе либералы, евреи?

— Были.

— Вы тесно общались с ними?

— Как сказать... — Леопольд мялся. Он видел, что отвечать с полной откровенностью опасно. Все обращается против него.

— Ну, бывал кто-нибудь из них у вас дома? Бывали вы у кого-нибудь из них?

Леопольд находился в большом затруднении. До сих пор он давал абсолютно правдивые показания и всю систему своей защиты строил на этом, будучи убежден, что в его жизни не было ничего преступного, даже по критериям гестапо. Но за последние минуты, когда он своими глазами увидел, какую окраску принимают в изложении Ламсдорфа самые невинные факты его биографии, он насторожился. И потому, не давая прямого ответа, он сказал:

— Из левых у меня близких знакомых никого не было.

— Лучше говорите правду, Халлер. Имейте в виду — мы все знаем!

— Я говорю правду...

Ламсдорф небрежно махнул рукой и продолжал:

— Ну, а из евреев? Вот, скажем, этот спортсмен, Голдберг. Вы у него бывали дома?

— Да это же мой школьный товарищ и сосед к тому же! Конечно, бывал!

— А он у вас?

— Тоже бывал.

— Ну я об этом и говорю! Не скажете же вы, что его родители были преисполнены симпатии к нам?

— Я с ними никогда не говорил об этом. Миссис Голдберг была очень симпатичная, простая женщина, а отец вечно сидел в магазине. Я его редко видел.

— Но ведь были же знакомы все-таки?

— Ну, был знаком, конечно.

— И с родителями других евреев?

— Да.

— Ну так что же вы хотите?

— Ведь тут написано: «был связан с антигерманскими кругами»!

— Так вы же только что сказали, что они были настроены враждебно...

— Да, но какие же они «круги»? Просто частные люди. Да и не были они уж так враждебны. Им просто не нравилось...

Леопольд снова осекся. Не скажешь же, что они, как, впрочем, и все честные люди, возмущались погромами и бесчинствами штурмовиков?

— Что не нравилось? — между тем с интересом подхватил Ламсдорф. У него даже глаза заблестели.

— Ну, им не нравилось... — Леопольд подбирал слова с большой тщательностью, — им не нравилось, что... евреи... лишены экономических привилегий в Германии.

Леопольд облегченно вздохнул: выбрался. А Ламсдорф насмешливо, но и разочарованно повторил:

— Лишены экономических привилегий. Ах вы... дипломат, дипломат.

— Почему же дипломат? — удивленно, но и не без удовольствия спросил Леопольд, очень довольный, что сумел выпутаться из затруднительного положения. — Обыватели они были. Самые настоящие обыватели. А вы в протоколе пишете «круги».

— Слово «круги» не обязательно подразумевает официальных лиц.

— Да, но все-таки получается как-то очень уж неблагоприятно.

— Как было, так и получается, Леопольд, — неожиданно вновь смягчился Ламсдорф. — Из песни слов не выкинешь. Не упорствуйте, это лишь заставляет сомневаться в вашей искренности. Суд разберется во всем. И, кстати, мое личное заключение сыграет далеко не последнюю роль...

Это был сильный аргумент, и он подействовал.

«Действительно, — подумал Леопольд. — «Круги» — слово неопределенное. Можно и так трактовать, как Ламсдорф. На суде я объясню. И он снова уступил, потому что больше всего на свете ему сейчас хотелось спать. За последние пять суток он спал в сумме не больше десяти часов.

Но когда он дошел до фразы «был связан с амери-

канской полицией», все в нем возмутилось так, что от усталости не осталось и следа.

— Господин следователь! — воскликнул он возмущенно. — Этого я не подпишу! Этого никогда не было! Я вам этого не говорил.

— Опять? — на этот раз в голосе Ламсдорфа слышалась неприкрытая угроза. — Значит, вы отказываетесь от своих показаний? Вы становитесь на путь саботажа следствия...

— Но почему же? — Леопольд был растерян и напуган зловещим словом «саботаж», произнесенным по его адресу. — Я от своих показаний не отказываюсь... Но я утверждаю, что...

— Боюсь, Халлер, — перебил Ламсдорф, не давая закончить фразы, — что вам придется иметь дело с другим следователем.

Меньше всего на свете Леопольд хотел сейчас оказаться у другого следователя, потому что прекрасно понимал, на что намекает Ламсдорф. Но в своих уступках он дошел до той грани, за которую отступить было невозможно. И потому, собрав остатки сил, он сказал со всей твердостью, на которую еще был способен:

— Я не был связан с американской полицией. В протоколе записано неправильно.

Ламсдорф понял, что в лоб ничего не добьешься, он видел, у какой психологической черты стоит Халлер, и решил вновь сменить тактику.

— Ну хорошо, Леопольд, давайте разберемся. Вы показывали, что в первые месяцы вашей работы в газете вели отдел происшествий и уголовной хроники.

— Показывал.

— Разве вам не приходилось бывать в полицейских участках? Брать информацию у полицейских офицеров, общаться с ними?

— Приходилось.

— Ну, а в протоколе что написано?

— В протоколе написано про связи с полицией.

— Ну это и есть связи!

— Да, но в этом нет преступления.

— А разве я пишу это? — на лице Ламсдорфа играла почти дружелюбная улыбка.

— Нет. Но в таком контексте слово «связь» звучит совершенно в другом смысле.

Леопольд говорил гораздо менее твердо, обезоруженный улыбкой следователя.

— Суд разберется, Леопольд. Я фиксирую только факты. А вы все объясните. Вам дадут эту возможность.

Леопольд колебался. В нем шла внутренняя борьба, осложнившаяся тем, что усталость и сон вновь начали овладевать им. Но он крепился.

— Я все-таки хотел бы, чтобы слова «связан с полицией» были изъяты. Потому что связей с полицией у меня не было.

— Вы хотите, чтобы я переписал весь протокол? — Ламсдорф выразительно посмотрел на часы.

— Нет. Только эту фразу.

— Вычеркивание не допускается.

— А разве нельзя переписать только этот лист?

Всем своим видом Ламсдорф выразил возмущение:

— Ну, знаете, Халлер, это уж слишком! Я начинаю терять терпение.

Пауза длилась долго, мучительная для Леопольда пауза, во время которой он уже представил себя на допросе у другого следователя, применяющего другие методы. Пусть пытают... Сколько смогу, буду терпеть, потом подпишу. Зато у меня будут основания требовать пересмотра дела. А так, добровольно, я не дам Ламсдорфу погубить себя.

И, приняв решение, как ни тяжело оно было, Леопольд почувствовал себя увереннее.

— Как хотите, — сказал он, твердо глядя в лицо Ламсдорфу, — но я такого протокола не подпишу.

Ламсдорф не сказал больше ни слова. Он встал, подошел к столику Леопольда, взял лист и, вернувшись на свое место, начал переписывать страницу заново.

Леопольд сидел на своем табурете опустошенный психологически и настолько изнуренный физически, что даже не был в состоянии радоваться одержанной победе. И, может быть, если бы он не находился в таком состоянии, он удивился бы тому, как после столь долгого спора Ламсдорф так легко в конце концов согласился изменить текст протокола. Но сейчас он чувствовал

только одно — почти неодолимую потребность спать, и думать мог только о том, сколько еще времени остается до того вожделенного момента, когда он вытянется на своей койке и получит право смыкать веки, хотя бы на два часа, хотя бы на час!

Наконец Ламсдорф кончил переписывать и передал лист Леопольду. Тот незаметно перебрал пальцами — оставалось еще пять или шесть страниц. Скорее бы закончить. Хоть бы дальше все было правильно!

Но уже на следующей странице внимание его привлекла фраза: «давал информацию во враждебные органы печати».

— Здесь неправильно, господин следователь, — начал Леопольд, далеко не столь уверенным тоном, каким он оспаривал фразы о связях с полицией.

Он прекрасно понимал, что эта новая фраза составлена с таким расчетом, чтобы бросить тень на ту сторону его деятельности, которая являлась его главным защитным козырем — на работу в газете. Но после того, как Ламсдорф уступил ему с предыдущей фразой и согласился из-за двух слов переписать целую страницу, ему было неловко снова заставлять его переписывать и опять из-за нескольких слов. Так можно действительно вывести его из терпения и попасть к другому следователю. И тогда, как бы не пришлось подписывать вещи похуже. Но и в такой редакции фразу оставить нельзя.

— Ну что там еще? — спросил Ламсдорф почти грубо.

— Вот здесь, господин следователь... — голос Леопольда звучал просительно.

Ламсдорф подошел, взял лист и прочел указанное ему место.

— Да ведь это точно с ваших слов записано! — вскричал он с очень естественным негодованием.

— Я говорил, что обменивался информацией, а не давал ее односторонне.

— Нас не интересует, что вы получали от них информацию. Нас интересует то, что вы давали информацию враждебным органам печати.

— Да, но мне важно, чтобы была запротоколирована вся моя фраза. Только тогда можно составить правильное представление о том, что происходило в дей-

ствительности. Господин следователь, — голос Леопольда вдруг сорвался, к горлу подкатил ком. Он всеми силами стремился держать себя в руках, — поймите, ведь от этого зависит моя судьба!

Леопольд говорил так, будто имел основания расчитывать на сочувствие собеседника. В эти минуты он был слишком истощен и взволнован, чтоб отдавать себе отчет в том, с кем имеет дело. Он видел перед собой существо, внешне подобное себе, и потому обращался к нему, как человек к человеку, забыв обо всем другом.

Ламсдорф, стоя над подследственным с руками в карманах галифе, смотрел на него с торжеством и плохо скрываемой насмешкой, которых Леопольд, поглощенный своими переживаниями, не замечал.

Опять начался изнуряющий, доводящий до исступления спор, в котором Ламсдорф чередовал угрозы и убеждения со ссылками на позднее время, а Леопольд пытался доказать то, что и не требовало доказательств и потому было особенно трудно доказуемо.

Наконец Леопольду пришла, как ему показалось, счастливая мысль. Он обратил внимание на то, что спорная фраза оканчивается в самом начале строки и, показав это место Ламсдорфу, сказал почти радостно:

— Не надо все переписывать! Вот, видите, есть место. Целая строка. Можно дописать: «в порядке журналистского обмена».

— Как, как?

— Вся фраза будет звучать так: «давал информацию во враждебные органы печати в порядке журналистского обмена».

«Зачем я соглашаюсь на такую фразу? Она против меня, и она полностью искажает истину», — пронеслось в мозгу у Леопольда, но у него уже не было ни сил, ни возможности остановиться. Сани, спущенные с вершины, неудержимо катились вниз...

Ламсдорф прислушался к фразе, скептически покачал головой и, взяв лист, направился к своему столу.

— Так и быть, добавлю,—бросил Ламсдорф через плечо и вдруг, остановившись, произнес тяжко и раздельно,—но имейте в виду, Халлер,—больше я ничего исправлять не буду!

Он присел, прошелся пером по строке и вернул лист Леопольду. К спорной фразе было дописано два слова: «в порядке обмена». Слово «журналистского» отсутствовало. Без него добавление теряло свою главную силу, но затевать новый спор было немыслимо, и Леопольд промолчал.

Дальше текст протокола возражений не вызывал, и Леопольд фон Халлер подписал каждую его страницу и весь документ в целом.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Хотя были у него дела и поважнее, все эти недели оберштурмфюрер Шлегель не выпускал Леопольда фон Халлера из своего поля зрения.

Этот человек продолжал вызывать в нем какой-то особый интерес и острую антипатию. Шлегель знал, что рано или поздно Халлер перейдет к нему. Сейчас, законченное и должным образом оформленное дело (тут уж к Ламсдорфу не придерешься!), состоящее из двух среднего объема папок, лежало у Шлегеля на столе. Ламсдорф уложился точно в срок — три месяца. Этот щегольской стиль работы действовал Шлегелю на нервы, тем более что Ламсдорф, — в который раз уже! — проявил бездушно-формалистическое отношение к своему долгу. Во всем чувствовался сотрудник старой школы, уходящего поколения. Лишь бы норму выполнить. И тот — американский пижон — наверное, радуется: легко отделался. Нет, пора браться за дело самому.

С агентурными разработками, предшествовавшими аресту, Шлегель был знаком, и они его не интересовали. Материалы же допросов, сводки, недельные доклады Ламсдорфа и, наконец, окончательный протокол представляли определенный интерес.

Со смешанным чувством читал Шлегель страницы протокола. Нельзя было не отдать должного мастерству Ламсдорфа в выуживании и накоплении мельчайших неблагоприятных деталей, этому скрупулезному, целенаправленному плетению сети, которой постепенно опутывается подследственный. Но как раз тут-то и просту-

пала со всей очевидностью порочность самого подхода Ламсдорфа и ему подобных к проводимой работе. Он в основу следствия ставил закон, и все усилия, опыт, умение направлял на то, чтобы закон обойти. Этот столп, на который Ламсдорф беспрерывно натыкался, мешал ему, поглощал слишком много времени и усилий, что, в конце концов, приводило к явно недостаточным результатам.

Не закон, а политическая целесообразность, определяемая партийным сознанием национал-социалиста,— вот единственный критерий, которым должно руководствоваться в работе в органах имперской безопасности! И еще интуиция. Без интуиции — нет контрразведчика. Эти истины не в состоянии понять сотрудники старой школы, типа Ламсдорфа. И как раз интуиция подсказывала Шлегелю, что Леопольд фон Халлер — враг и что поэтому он должен быть уничтожен, достаточно для этого законных оснований или нет.

Ведь если судить чисто формально, не было юридически обосновано и устранение Рема. А кто сейчас возьмется оспаривать прозорливость и своевременность мероприятия, в результате которого партия вышла из кризиса еще более сплоченной, еще более монолитной и преданной своему фюреру?

Но в отношении Халлера Шлегель был убежден, что и юридические основания найдутся. Нужно только взяться за него как следует и не миндальничать. Если хорошенько тряхнуть — из каждого можно вытрясти что-нибудь, чтоб посадить надолго. Но всех сразу не тряхнешь. Зато уж с тем, кто попал, — останавливаться на полпути недопустимо. Что за материал представил Ламсдорф? Разве это следствие? Халлер фактически не сказал ничего. Тут и на десять лет нету...

Шлегель вспомнил, что уже месяц назад хотел забрать дело себе, но не разрешил Куцен.

Со своим непосредственным начальником у Шлегеля отношения складывались внешне вполне корректные, но чувствовалось, что в глубине души Куцен не любит заместителя. Впрочем, кого Куцен любит?

Шлегель тоже не любил и боялся Куцена, потому что знал: если надо, тот в обращении с допрашиваемым может пойти даже дальше его самого. Про Куцена,

кроме того, было известно, что он активный участник великой чистки тридцать третьего года, когда он лично ликвидировал своего двоюродного брата — одного из приближенных Рема. Поэтому среди сотрудников имперской полиции безопасности авторитет Куцена стоял очень высоко, и Шлегель разделял общее мнение. Но все-таки он считал, хотя даже думать об этом старался редко, что нынешний пост Куцену не по плечу. Он следователь-практик, ему не хватает теоретических знаний и широты кругозора. Шлегель был уверен, что рано или поздно займет место Куцена, и чувствовал, что Куцен тоже понимает это. Именно по этой причине Куцен ни в чем не идет ему навстречу, хотя ни в чем прямо и не отказывает.

В тот раз, когда Шлегель, докладывая о мизерных результатах следствия по делу Халлера, сказал, что сам хочет заняться им, Куцен, с этой своей улыбочкой на ярко-красных, четко очерченных губах, возразил:

— Дадим уж Ламсдорфу довести до конца, а там — посмотрим. Все-таки опытный работник.

Намек был настолько прозрачным, что звучал как колкость, но время для спора было неудачное. Тогда как раз выплыла-таки история с перебитой рукой школьного учителя, подозревавшегося в коммунистических симпатиях. Пришлось промолчать.

Но теперь и Куцен не возражал — он тоже не был удовлетворен результатом следствия. Суд такого дела не примет, а всякое дело, переданное в специальную комиссию, группенфюрер считает провальным. И он, конечно, прав.

— Перетрясите как следует все дело, Шлегель, — сказал, суммируя, Куцен. — Это их земляческое общество, на котором строит все обвинение Ламсдорф, — дерзко. Организация безобидная, хотя публика там пестрая. Но как раз те, кто нам интересен, — не приезжают. Надо вот что сделать: пересмотрите хорошенъко газетные связи Халлера, тут может вылезти что-нибудь. Было бы крайне желательно выявить какую-нибудь крупную птицу из числа приезжих. Тогда вопрос о них всех был бы решен единым махом. А то все болтунов берем — таких у нас и собственных полно.

— Я сумею установить его связи с иностранными

разведками. Для начала переведем его на особо строгий режим. Ну, а позднее...

Насчет разведок Кутцен отнюдь не был уверен, но и спорить считал бесцельным — пусть действует. Что же касается последних слов, то он ждал их, но решил до поры до времени не выявлять своего отношения. А Шлегель понял молчание начальника как одобрение само собой разумеющейся меры.

Однако он ошибся. Он еще не знал о сверхсекретной директиве, исходившей от главы имперской полиции безопасности. В ней указывалось на участившиеся случаи смертей подследственных, из-за чего трудовые лагеря недополучали рабочую силу, столь нужную государству в преддверии больших событий. В связи с этим предписывалось без особой санкции высших руководителей — глав отделений — спецдопросов не производить. Санкции же на такие допросы давать, только если имеются хотя бы минимальные, но обоснованные данные о конкретной вине подследственного.

Фраза была составлена весьма туманно и оставляла возможность различных толкований, но основной смысл был понятен: спецдопросами не увлекаться, памятуя, что в лагерях государству нужны рабочие руки, а не инвалиды-нахлебники.

На практике все это свелось к тому положению, что начальники отделений, смотря сквозь пальцы на некоторые неизбежные перегибы со стороны следователей во время допросов, перестали одобрять самые крайние меры.

Вернувшись в свой кабинет, Шлегель вызвал секретаршу и велел ей приготовить приказ о передаче следствия по делу о преступной, антигосударственной деятельности германского гражданина Леопольда-Юлиуса фон Халлера от старшего следователя гауптштурмфюрера Ламсдорфа — заместителю начальника следственного отдела оберштурмфюреру Шлегелю. Затем, чтоб освежить в памяти детали, начал перелистывать страницы дела, перечитывать письма, сводки, донесения, протоколы опознания, внимательно знакомился с заключительным протоколом. Шлегель не торопился. Из устных докладов Ламсдорфа и его комментариев он

знал, что подследственный — не из податливых, неплохо осведомлен в юридических вопросах, хорошо знает теорию национал-социализма, разбирается в международной политике. В общем, предварительное мнение, сложившееся еще до ареста, что противник будет нелегкий, — подтверждалось.

Что ж! Тем хуже для него! Чем больше он будет сопротивляться, тем больше ему предстоит испытать. А конец все равно один.

II

После завершающего допроса у Ламсдорфа Леопольд вернулся с убеждением, что на свободу ему не вырваться, и все же испытывал большое облегчение. Причина этого облегчения была двоякая.

Во-первых, исчезла неопределенность положения, всегда тягостная для человека, особенно когда дело касается его судьбы, и уже совершенно невыносимая для натур, подобных Леопольду, любящих ясность, определенность и гармоничность как внутри, так и вне себя.

Во-вторых, из-за того, что пришлось уступить во многом Ламсдорфу и даже по существу помочь ему из ничего состряпать дело, уменьшалась, пожалуй, даже совсем опасность, что его передадут следователю, применяющему другие методы...

Все эти недели мысли Леопольда возвращались к такой возможности, и, как он ни старался подготовить себя к ней, это ему не удавалось. Страх, унизительный, гнетущий, подрывающий волю и доверие к себе, лишающий самоуважения, охватывал все его существо. Страх тоже был двоякий — естественное отвращение здорового, нормально развитого человеческого организма к боли и опасение выказать слабость перед своими мучителями. Этот второй страх был сильнее всего.

Но так как дух человека не может беспрерывно находиться в состоянии безысходного томления, то, в конце концов, Леопольд склонился к тому же, к чему склоняются все люди в его положении: к слепой, безосновательной, нелепой, но спасительной надежде, что с ним этого быть не может.

Он и сам понимал эфемерность своей надежды, но все же цеплялся за нее. И вот теперь его надежда оправдалась. Дело заканчивается, и совсем не так катастрофически, как могло бы быть.

Конечно, ему предстоит заключение... Сколько могут дать? Три года? Пять лет? Какие огромные сроки! Как их выдержать? Но все же надо благодарить судьбу — удалось сохранить здоровье и силы, а они очень понадобятся. Ведь предстоит дальнейшая борьба. Надо готовиться к суду.

Дадут ли ему адвоката?

Как странно, что мысль о защитнике впервые за все месяцы заключения только сейчас пришла ему в голову. Впрочем, почему — странно? Пока оставалась надежда еще на следствии доказать свою невиновность — естественно было забыть про адвоката. Но дело не в адвокате. Он будет защищаться сам, он устроит им новый процесс Димитрова. Ведь, в конце концов, он ни в чем не виноват. Это самое главное, что надо помнить. К черту софистику Ламсдорфа! Нет за ним никакой вины! Пусть Ламсдорф трактует закон по-своему, — посмотрим, как отнесется к такой трактовке суд! Там ведь будут сидеть люди образованные, юристы, а не профессиональные душегубы.

Судьям он сумеет доказать свою невиновность, объяснить условия, в которых он жил. Он потребует вызвать свидетелей. Не надо его друзей. Пусть вызывают своих людей: посла, пресс-атташе, директора телеграфного агентства... Но вызовут ли их? Посла, вероятно, нет, но кого-нибудь да вызовут же. Пусть Ламсдорф послушает, как будут отзываться о его работе за границей эти люди. А когда ему самому предоставят слово... Надо готовить речь. Это будет не защитительная речь — ему не в чем оправдываться. Это будет обвинительная речь, обличение тех, кто под видом защиты государства творит злодействия, надсмеивается над законом и подрывает тем самым авторитет той власти, которую призван охранять.

Хорошо бы, чтоб Зигфрид фон Притвиц услышал его, хорошо бы, чтоб его услышала вся Германия!

III

Неделя шла за неделей, а Леопольда словно забыли. Вся жизнь его сосредоточилась среди трех цементных стен и железной двери камеры-одиночки, и даже вывод на оправку, особенно вечером, после унылого, бесконечного дня, казался вожделенным развлечением. В туалете, подойдя к окну, можно было глотнуть свежего воздуха, который по сравнению с затхлой духотой камеры казался сладостным, опьяняющим напитком. В остальное время, все бесконечные шестнадцать часов бодрствования, Леопольд видел перед собой лишь серую, шершавую стену, такой же потолок и омерзительный, липкий пол, мыть который разрешалось всего раз в месяц, да и то давали одно неполное ведро воды, так что грязь не смывалась, а лишь размазывалась. После такого мытья в камере дня три сохранялся гнилостный дух, доводивший Леопольда до тошноты.

В тягучей веренице дней, похожих друг на друга, как звенья одной цепи, ярко выделялись те, когда заключенных водили в баню. Часов с десяти утра, то есть по окончании утренней оправки, начиналось усиленное хождение по коридору. Отпирались двери, через минуту-две слышался звук двух пар удалявшихся ног. А что состоялся вывод именно в баню, а не на допрос, было понятно прежде всего по тому, что дверь не запирали.

В тюрьме, из-за отсутствия зрительных впечатлений, необычайно обостряется слух и особая способность по совершенно незначительным деталям делать выводы о происходящем вне поля зрения, выводы, почти всегда оказывающиеся верными. Леопольд, например, установил, что при выходе в баню ритм шагов как заключенного, так и конвойного совсем другой, чем при выводе на допрос. О ритме же шагов кого-нибудь из тюремной администрации и говорить нечего. Появление в коридоре начальства всегда определялось безошибочно.

По мере приближения очереди в баню нетерпение Леопольда возрастало до такой степени, что он с трудом мог дождаться, когда дверь откроется и выводящий коротко провозгласит:

— Баня!

Приятное тут заключалось не только в удовлетворении привычной для цивилизованного человека потребности быть физически чистым, но, главным образом, в том, что на этот час заключенный из парии, лишенного каких бы то ни было прав, превращался снова в человека, которого обслуживают: ему выдавали кусочек мыла, он мог потребовать мочалку, получал свежую смену белья. Все это напоминало о прежней жизни, о привычках, усвоенных с детства, о домашнем комфорте, к которому, — в такие минуты в это верилось сильнее, — он рано или поздно вернется, ведь все это так свойственно человеку, так正常ально.

Зато остальные девять дней проходили, не оставляя ни малейшего следа в памяти, ничем не отличаясь друг от друга, словно блеклые отпечатки с одного негатива.

После утренних процедур — подъема, застилки постели, ожидания оправки, ожидания утренней бурды, именуемой кофе, и дневного пайка хлеба — возникало тревожное посасывание под ложечкой. Наверху начинался рабочий день, и можно было ждать новостей, и уж, конечно, не хороших. Это ощущение все возрастало, переходя постепенно в чувство еле сдерживаемой, тянущей тревоги, лишавшей способности связно мыслить. Как ни убеждал себя Леопольд, что дело его окончено, тревога не отпускала до тех пор, пока не подходил час обеденного перерыва у тех и собственный обед. Как ни скуден он был, как ни однообразна и безвкусна тюремная пища, все же обед являлся некоторым развлечением, так как создавал смену впечатлений. В послеобеденные часы тревога возобновлялась, но почему-то уже не столь острая.

После шести вечера Леопольд почти успокаивался. Предстояло несколько часов подряд, в течение которых он был гарантирован от любых неожиданностей. Правда, надвигалась зловещая и бесконечная ночь, когда и совершались все страшные дела этого дома, но между нею и сиюминутным благополучием пролегала четкая граница — отбой, раньше которого, — Леопольд знал это по опыту, — на допрос не вызовут. И потому до отбоя (а до него целых четыре часа!) можно быть спокойным.

В обстоятельствах, в которых находился Леопольд, человек умел ценить каждую спокойную минуту.

Но были дни — целые дни! — проходившие без волнения. Таких дней в неделю было два. Воскресенья Леопольд не любил. Слишком много было связано с воскресеньем в прежней жизни, чтоб быть ему благодарным за то кладбищенское спокойствие, которое оно дарило в тюрьме. Но был еще четверг, когда тоже почему-то не вызывали, и четверг был лучшим днем.

Он стал им не сразу. Сперва, ничем не заполненный, даже тревогой, он тянулся дольше всех дней. Но постепенно у Леопольда выработалась привычка заполнять эти пустые часы. Поскольку настоящего не было, особенно выпукло выступало прошлое.

Спасительные воспоминания о безмятежном детстве...

В жизни Леопольда, особенно последних лет перед отъездом в Германию, были яркие моменты, были успехи по работе в газете, незабываемые часы с Гильдой, с друзьями. Но не эти последние годы вспоминались ему в тюрьме, а если и вспоминались, то не оказывали того успокаивающего действия, как ничем казалось бы не примечательный период детства. Последние годы были пропитаны настроением предстоящего отъезда в Германию, событие, которое тогда представлялось осуществлением мечты всей жизни, а теперь, в свете того, чем оно обернулось, воспринималось как непоправимая, трагическая ошибка. И потому воспоминания о последних годах были неприятны, и Леопольд гнал их от себя.

Душа его стремилась сейчас не к яркости, а к умиротворению, и лучшее целительное действие на нее оказывали именно воспоминания о том безмятежном времени, когда на мир смотрелось чистыми глазами неведения и жизнь воспринималась как неизменно гармоничное благополучие, осененное двумя источающими любовь и благоволение образами — матери и отца.

Конечно, и в детстве были свои неприятности и даже горе — расставание с няней-негритянкой, к которой в тот период своей жизни маленький Лео был привязан больше чем к кому-либо на свете, но человеческая память обладает счастливой особенностью выбирать из

прошлого главным образом радостное и даже то, что когда-то мучило и тревожило, воспроизводить в каком-то умиротворенном свете.

Поэтому далекое прошлое всегда вызывает в человеке умиление.

По мере того, как шло время, ничем не заполненное внешне, в Леопольде вырабатывалась способность целиком погружаться в мир воспоминаний. Было несколько любимых сюжетов, которые он умел вызывать по своему желанию.

Одним из таких наиболее отчетливо восстановленных и облеченных в зримые формы эпизодов прошлого был день рождения, который переживался с момента пробуждения, когда маленький Лео, только открыв глаза и вспомнив о том, какой сегодня день, первым делом смотрел, не лежит ли у него что-нибудь в ногах, куда ангел имел обыкновение класть ему подарки. И ангел никогда не обманывал его ожиданья.

Другим излюбленным сюжетом был приезд отца на дачу — так, как он привиделся во сне в одну из первых тюремных ночей, обросший, однако, дополнительными деталями, привлеченными из других эпизодов и помогавшими создать картину маленького, но радостного события.

Третьей любимой темой был день сдачи последнего экзамена в школе в одном из средних классов. Такой же день в старшем классе уже не годился: в нем утрачивалась самая нужная сейчас черта — детская беззаботность. Ничто в этих снах наяву не должно было напоминать о беспокойном и тревожном будущем или о трагическом настоящем.

И Леопольд так дисциплинировал свою память, что она почти автоматически отбрасывала все мелочи и подробности, отвлекавшие или не гармонировавшие с картиной, которая ему в тот момент была нужна.

В дни, когда Леопольду удавалось окутать себя такими воспоминаниями, проходили незаметно и оказывали благотворное влияние на душу, появлялись новые силы, возрождалась надежда.

Среди тюремной челяди Леопольд слыл легким клиентом, и потому даже самые ревностные службисты, самые непримиримые к врагам относились

к нему терпимо и смотрели сквозь пальцы на незначительные отклонения от усиленного режима строгой изоляции, который по распоряжению нового следователя применялся теперь к Леопольду.

Для Леопольда, еще не знавшего об этой важной перемене в своей судьбе, изменение режима прошло фактически незамеченным. Усиленный режим предусматривал лишение заключенного тех благ вроде ежедневной прогулки, пользования книгами из внутренней библиотеки и покупки продуктов питания в тюремном ларьке, которых узники одиночек и так были лишены произволом тюремной администрации, избавлявшей себя тем самым от излишних хлопот.

Конечно, далеко не каждый день удавалось уйти в прошлое, и тогда тревога по-прежнему высасывала душу.

Мысли о матери и жене в такие дни все больше и больше занимали его внимание.

Приближалось и миновало время, когда Луиза должна была разрешиться, а Леопольд был лишен всех сведений о семье. Он пробовал заговаривать об этом с конвойными, но те резко обрывали его — они имели категорические инструкции не вести никаких разговоров с заключенными. Тогда Леопольд обратился к начальнику тюрьмы во время еженедельного обхода.

Невысокий, худощавый штурмбанфюрер средних лет держался обычно сдержанно и без враждебности, говорил вежливо и интересовался лишь тем, нет ли насекомых, получен ли недельный паек сахара и прочими бытовыми вопросами. Поэтому он казался Леопольду самым благожелательным из всех, с кем пришлось иметь дело со дня ареста.

Штурмбанфюрер бесстрастно выслушал вопрос Леопольда о жене и ребенке и, слегка наклонив голову, сказал:

— Выясним.

Но даже этот неопределенный ответ показался Леопольду дружелюбным и наполнил его благодарностью к начальнику тюрьмы.

И так как Леопольду необходимо было видеть какие-нибудь обнадеживающие проблески, которые дали

бы ему сил существовать дальше, то он и усмотрел в ответе начальника тюрьмы и даже в его манере держаться смутный намек на благоприятный перелом в своем деле.

Но ни на следующий день, ни позднее от начальника тюрьмы не поступило никаких известий, и Леопольд заволновался. Ему стало казаться, что с Луизой что-то неладно, и отсутствие ответа на свой запрос он объяснял тем, что никто не хочет брать на себя неприятную миссию — сообщить о постигшей его утрате. Никакой другой причины быть не может, волнуясь все больше и больше, рассуждал Леопольд. Почему бы им не сообщить мне, если все в порядке, что у Луизы — сын или дочь, что она и ребенок здоровы? Ведь это ни в коей мере не отразилось бы на следствии. Будь я самый опасный преступник — какую пользу я могу извлечь из этого сообщения? Нет, конечно, если бы все было в порядке, они бы мне сказали. Ведь люди же они в конце концов! Безжалостные, жестокие, враждебные, но все-таки люди. У них у самих есть жены, дети... Не могут же они не понимать, что мне необходимо знать, как Луиза и ребенок!

Тут, в этой последней своей мысли, Леопольд был прав: они понимали.

Когда к оберштурмфюреру Шлегелю поступил запрос от начальника тюрьмы, он удовлетворенно усмехнулся: наконец-то пробрало! Уже две недели, по его специальному указанию, за Халлером велось особое визуальное наблюдение, и сведения поступали неблагоприятные. Заключенный не проявляет признаков склонности к первозности и подавленности, которые были ему присущи в первые недели заключения. Наоборот, он спокоен, задумчив и углублен в себя. Ничтожество Ламсдорф! Вот результаты его мягкого метода, интеллектуального допроса. Особенное раздражение в Шлегеле вызвало выражение «безмятежно спокоен», содержащееся в докладе одного из сменных наблюдателей-стажеров. «Кто этот дурак? Он что — стихи пишет?» — подумал Шлегель и, посмотрев на подпись, занес в памятную книжку фамилию этого сотрудника. И еще очень раздражало Шлегеля то, что Халлер начал по утрам делать гимнастику — это явно указывало

на подъем духа, на то, что растерянность и подавленность первых недель прошли. В общем, пора приниматься за Халлера всерьез. Хорошо, что подвернулся этот запрос о жене. («Как это я раньше не знал, что у него жена беременна?» — укоризненно подумал требовательный и к себе Шлегель).

Если сообщить ему, что жена умерла при родах? Или что ребенок родился мертвым? Нет, не стоит. Еще попытается покончить самоубийством. Попадая сюда, они все становятся очень чувствительными. Нет, пусть помучается неизвестностью. В его положении неизвестность хуже самого трагического известия.

Поэтому на запрос начальника тюрьмы Шлегель ничего не ответил и каждое утро, прия на работу, с интересом знакомился с данными наблюдения за Халлером. Результаты определенно были налицо. В сводках появились выражения: «Проявляет признаки нервозности», «Аппетита нет», «Сидит, закрыв лицо руками», «Шепчет и бормочет», «Ходит из угла в угол», «Плохо спит».

Вот это было то, что нужно. Еще несколько дней, решил Шлегель, и можно будет приниматься за дело.

IV

Сквозь сон Леопольд слышал, как позвякивает в скважине ключ, как с коротким теноровым скрипом отворилась дверь. Он насторожился, но еще не совсем проснулся.

— Ты! — услышал он негромкий, но грубый склик.

Леопольд вскочил и обернулся. Сердце сжалось, а потом забилось, будто постороннее живое существо, — уже несколько недель его не будили ночью!

В дверях стоял лысый, с яйцеобразной головой, до половины погруженной в бычью шею, — тот, который когда-то запретил Леопольду закрывать лицо платком. Уже дазно Леопольд его не сидел.

— Фамилия! Имя!

Леспольд назвал ссобя.

— Одеваться! Быстро!

Леспольд и так уже одевался. Сердце продолжало

колотиться учащенно и глухо, плечи и руки немели от охватившего необычайного волнения.

«Что со мной? Почему я так волнуюсь?» — спрашивал себя Леопольд. — «Ну, ночной вызов на допрос... Мало ли их уже было?»

Но он знал, что обманывает себя, хотя и не понимал, чем именно. Он начал перебирать: появление этого лысого? Да, отчасти. Поздний ночной час? И это, но опять же не главное... Так что же? Может быть, освобождают? Нет, теперь уже не освободят — ты же сам подписал признание. Вызов к группенфюреру? Вот это было бы хорошо — можно многое объяснить, у того хоть кругозор шире. Но нет, здесь ничего хорошего не случается.

— Ну? Готов? — снова открыл дверь лысый.

— Да.

Леопольд жадно смотрел на конвойного, словно надеясь прочесть ответ на клокотавшие в нем вопросы. И ему почудилось какое-то выражение — кроме уже знакомой тупой жестокости — на этом начисто лишенном растительности трупно-белом лице с желтоватым отливом. Вот эта желтизна была почему-то страшнее всего.

Они двинулись по уже давно знакомой дороге — мимо бесконечных дверей с номерами, глазками и форточками, перечеркнутых массивными стальными задвижками. Как всегда, одиноко маячила фигура дежурного по коридору, прильнувшего к глазку.

«Веселая работенка!» — снова, как когда-то, подумал Леопольд, и эта простая ироническая мысль, позволившая ему вспомнить разницу между собой и теми, в чьих руках он находился, неожиданно оказала на него успокаивающее действие. И, как всегда в таких случаях, где-то подспудно, не оформленная словами, но вполне отчетливо, выступила мысль: «Со мною этого случиться не может!».

Пока они шли, он почти совсем успокоился, оставил только напряжение, настороженность и естественная заинтересованность: что сулит ему этот вызов?

Но, выйдя в корпус следственного отдела, они, неожиданно для Леопольда, двинулись не в привычную сторону, а свернули влево и сразу оказались в корот-

ком коридоре, упиравшемся в двустворчатую дверь, как и все другие в этом доме, обитую черным дерматином, сквозь которую звук проходил очень скupo.

Конвойный без стука приоткрыл дверь, просунул голову, вынырнул, обернулся на Леопольда и, открыв дверь шире, с неожиданной ухмылкой показал ему, что надо входить. Не успев задуматься над тем, что может означать эта гримаса, больше с любопытством, чем со страхом, Леопольд переступил порог.

В комнате было почти темно. Только слева настольная лампа бросала густой конус света на письменный стол, за которым виднелся темный силуэт. Во мраке тускло блеснул серебряный галун на погоне, чуть скрипнуло кресло. На мгновение конвойный, положивший перед сидящим бумажку, отделил его от Леопольда. Но тут же, приняв подписанный листок, он щелкнул каблучками, круто повернулся и вышел из кабинета.

Леопольд и Шлегель остались с глазу на глаз.

— Садитесь! — раздался горловой голос, очень неприязненный, и Леопольд, поискав глазами, нашел привычный столик и табурет в углу справа, дальнем от письменного стола.

Он прошел на свое место и сел, испытывая то нервное напряжение, которое всегда охватывало его перед началом допроса, когда кажется, что вот сейчас откроется, наконец, настоящая причина, почему его держат здесь. И это будет что-то очень важное и страшное, совпадение неблагоприятных улик окажется чудовищно правдоподобным, и будет очень трудно доказать свою невиновность.

...Это кто-то новый и, судя по размерам кабинета и особой почтительности лысого, значительно более важный, чем Ламсдорф. Хорошо это или плохо? Доводы разума подсказывали, что скорее — хорошо, но сердце снова отказывалось верить, что в этом месте может случиться что-нибудь хорошее, и потому ждало беды.

Звенящее молчание длилось долго, и сквозь полумрак Леопольду казалось, что он различает поблескивание глаз, устремленных на него из глубины комнаты.

Вдруг луч яркого света прянул в лицо, полностью ослепив его. Леопольд сперва прикрыл глаза рукою и

подержал так, а потом, опустив руку, сощурился и отвел лицо в сторону. Маневр с лучом не произвел на него желаемого действия. Он знал, что такие приемы существуют, и понял только одно — вызвали его сюда отнюдь не для того, чтобы объявить о том, что он сейчас будет освобожден. Что ж, значит, надо готовиться к противоборству, бесконечным вопросам, ухищрениям, попыткам поймать на слове, стараниям каждый его поступок использовать как враждебное действие, в любом знакомстве усматривать наличие преступных связей. Ему припомнилось, что вопрос о Крайслере так и не был доведен до конца, так же как о показаниях, якобы данных против него Валли Твалкопфом. И еще о многих его знакомых расспрашивал Ламсдорф, а потом то ли забыл, то ли утратил к ним интерес.

Неужели сейчас все начнется снова?

Зная, что в эти секунды его пытливо и недоброжелательно изучают, Леопольд старался держаться спокойно, но это не вполне ему удавалось.

Шлегель, невидимый для Леопольда, действительно рассматривал его со вниманием и любопытством и оценивал внешние данные.

…Так вот он, американский Дон-Жуан. Вид довольно задрипанный, даже если учесть, что он здесь у нас уже четвертый месяц.

Роста Халлер оказался не такого высокого, как выглядел на карточках, и не такой стройный. («Костюмчики-то модные — дома остались!»). При остриженных наголо и теперь отрастающих волосах лоб казался больше, чем на фотографиях. Щеки впалые, заросшие щетиной. (Сколько раз в месяц их бреют? Да, ведь не бреют, а стригут машинкой под нулевой номер! — вспомнил Шлегель). Нос, который на фотографиях выглядел породистым, на самом деле просто длинный. В этом месте своих наблюдений Шлегелю подумалось, что надо выяснить, нет ли у Халлера в роду евреев. Это бы значительно упростило дело.

В общем, внешний вид клиента, — так Шлегель называл своих подследственных, — удовлетворил его. От былого лоска не осталось и следа, на висках появилась седина, которой, согласно агентурным данным, в день ареста не было.

Но вот манера держаться не только раздражала, а просто бесила. Халлер, конечно, волновался, но крепился изо всех сил и сейчас, сидя под ослепляющим лучом, старался придать своему лицу безразличное, как бы даже скучающее выражение.

«Так тебе скучно?» — мысленно обратился к нему Шлегель. «Ну подожди немного, сейчас мы тебя развлечем. У нас долго не поскучаешь!»

Луч внезапно погас, и снова возник усеченный конус над письменным столом. Еще мгновение, и зажглась, осветив равномерно всю комнату, лампа под потолком. За письменным столом, боком к Леопольду, но повернув голову в его сторону, сидел худощавый молодой обер-лейтенант с длинным, заостренным книзу лицом и колючим взглядом черных глаз, которыми он буквально пронизывал Леопольда. Этот взгляд — не просто враждебный, а ненавидящий, — эти плотно сжатые тонкие губы с опущенными углами, эти глубокие складки, тянувшиеся от крыльев острого, загнутого книзу носа к удлиненному подбородку, не сулили ничего хорошего.

Леопольду стало страшно. Если бывают лица с откровенной, ярко-выраженной жестокостью, то перед ним было как раз такое лицо.

Не выдержав, в конце концов, этого взгляда, Леопольд начал обводить глазами комнату, рассматривая ее не без искреннего интереса. Она была раза в три больше, чем кабинет Ламсдорфа, и стена, противоположная той, у которой сидел Леопольд, имела два окна с решетками. Письменный стол, диван, сейф и секретер — все было или больших размеров, чем у Ламсдорфа, или лучше качеством. На левой стене, спиной к которой сидел хозяин кабинета, висел большой портрет Гиммлера в форме войск СС.

И все же, несмотря на пышность обстановки, кабинет производил впечатление запущенности. Внизу на стене, между углом Леопольда и диваном, было несколько бурых пятен, и пол в пустом промежутке тоже был весь в бурых пятнах. «Неужели здесь не убирают?» — мелькнуло у Леопольда, который еще не понял происхождения этих пятен, но в этот момент его прервали.

— Ну, Халлер, ваши фокусы кончились. Дело вы те-

перь имеете со мной. Мы больше не потерпим вашей лжи, уловок, запирательства...

Голос говорящего звучал жестко и враждебно, слова он выговаривал раздельно, после каждого делая крошечную, но уловимую паузу — словно гвозди вбивал. Гвозди эти вонзались Леопольду в сердце и, застrevая в нем, причиняли невыносимую боль. В эти секунды разлеталась вдребезги хрупкая надежда, оказывается еще таившаяся где-то в глубине, что все обойдется, будет установлена его полная невиновность... Что-то страшное вплотную приблизилось к нему, и у него не было сил отвратить роковую неизбежность.

А гвозди продолжали, один за другим, вонзаться ему в сердце.

— ...и церемониться больше не будем. Вы злоупотребили нашим гуманным отношением. Теперь — пощады не жди... —ober-лейтенант неожиданно перешел на «ты», и Леопольд воспринял это очень болезненно, словно рухнул последний барьер между ним и тем, че-го он так страшился. — Не будет тебе пощады!

Обер-лейтенант встал. Он оказался довольно высоким — одного роста с Леопольдом, узкоплечим и сильно сутулым, с впалой грудью и длинной шеей, на которой — тоже остро — выдавался кадык. Весь он был какой-то острый, жесткий, колючий и разгуливал по кабинету, слегка раскачиваясь взад и вперед в такт шагам, неравномерной, как бы спотыкающейся походкой, заложив руки за спину.

— У тебя нет выхода. Имей в виду — мы знаем все! Все нам известно!

Обер-лейтенант остановился неподалеку от молча сидевшего бледного и ослабевшего Леопольда и взглянул ему прямо в глаза черными треугольничками своих маленьких, горящих ненавистью глаз. Но эффекта он достиг только наполовину. Леопольд понял, что перед ним враг — лютый и непримиримый, по сравнению с которым даже недоверчивый, подозрительный и недобросовестный Ламсдорф казался сейчас воплощением корректности и объективности. Но, с другой стороны, дважды повторенная фраза о том, что им «известно все», когда на самом деле в жизни Леопольда ничего преступного, даже с их точки зрения, не было, ясно

показывала, что именно ничего и неизвестно, потому что ничего нет, даже сколько-нибудь обоснованных подозрений, даже заслуживающего доверия оговора.

Но легче от этого не стало. Он в руках у врага, который не остановится ни перед чем. И ему вспомнились слова, сказанные как-то Ламсдорфом с обычной его недобром усмешкой: «Я лично не прибегаю к этим методам. Но у нас есть такие следователи... Специфика профессии, знаете ли... Постоянное общение с преступниками, вроде вас, вынуждает действовать решительно и беспощадно». А раз они станут действовать таким образом, то спасения нет. Ведь ясно, что этот изверг на полдороге не остановится. И тогда... Кто знает, какую напраслину придется на себя взвести?

За эти месяцы полного одиночества Леопольд много думал над подобной возможностью и решил, что правильнее всего будет признаться в чем-нибудь таком, нелепость, даже невозможность чего будет легче всего выявить на суде. Но он так и не придумал, что бы это могло быть, на что имелось бы признание самого обвиняемого, но что счел бы неправдоподобным судья.

Сейчас, когда вероятность такого самооговора приблизилась вплотную, Леопольд досадовал на себя за то, что так много часов отдал воспоминаниям, бесплодным мечтам о будущем и просто неясным грезам, вместо того, чтобы думать о самом главном — то есть о худшем.

А обер-лейтенант, расхаживая из конца в конец своим спотыкающимся шагом, все говорил и говорил, и смысл его слов был страшен и убедителен.

— Встать! — вдруг закричал он высоким тенором, плохо вязавшимся и с его обликом, и с тем, что он только что говорил.

Испуганный неожиданным выкриком, Леопольд вскочил. Он сделал это так резко, что близко склонившийся к нему в этот момент обер-лейтенант слегка отпрянул. Как ни потрясен был Леопольд всем происходившим, от него не укрылось это движение, и он с презрением подумал: «Еще ты же меня и боишься?», и ему на несколько мгновений полегчало.

И тут, приглушенный, но совершенно явственный, до него донесся отчаянный крик человека. Тоже высоким

тенором, человек кричал без слов, одним протяжным, исполненным муки и ужаса звуком:

— А-а-а!..

Голос сорвался. Смутно слышались плотные, глухие удары тяжелым по мягкому — по человеческому телу! И снова раздалось это отчаянное, беспомощное, уничижительное для человека и, вместе с тем, столь человеческое:

— А-а-а...

У Леопольда захолонуло сердце. В комнате стало темно. Он даже посмотрел на лампу. Она горела, но света почему-то почти не давала. В груди стало пусто — он не слышал собственного сердца. Оно как будто исчезло. От плеч к груди разливалась одуряющая немота и слабость, ноги плохо держали, и приходилось совершать усилие, чтобы устоять.

Наконец и крик и звуки ударов замолкли и установилась абсолютная тишина могилы. Сколько она продолжалась, Леопольд не знал, но первое, что он услышал, был сдавленный, угрожающий голос обер-лейтенанта:

— Ты слышал? Пощады не жди!

Слово «пощада», повторенное столько раз на протяжении нескольких минут, обжигало своим уничижительным смыслом, и тогда, собрав все силы своей души, превозмогая тот ужас, который внушала ему окружающая обстановка и этот новый вершитель его судьбы, Леопольд, с трудом шевеля плохо повинующимися губами, сказал тихо, но твердо:

— Мне не нужна пощада. Я требую только справедливости!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

|

Все, что с ним случилось, начиная с того январского утра, когда двое в черных пальто усадили его в автомобиль и привезли сюда, казалось теперь Леопольду почти благополучным и мирным периодом.

Да, Ламсдорф не обманывал, когда предупреждал,

что его могут передать другому следователю. И когда говорил, что другой следователь будет применять другие методы...

Это еще не началось, но теперь уже неизбежно. Как наивно было надеяться, что этого удастся избежать! Все, что случается с другими,— случится и с тобой, теперь-то ты понимаешь? И не обманывай себя, не прячь голову, как страус. Надо готовиться, надо встретить достойно все, чему бы они тебя ни подвергли.

Легко сказать — подготовиться! А если начнут щепки под ногти загонять? Ущемлять мошонку? Выдержишь? Не закричишь? Не взмолишься о пощаде?

Нет, нет! Только не это! Только не унизиться перед ними, особенно перед этим новым... Как он отвратителен! Ламсдорф — красавец по сравнению с ним. А этот — тщедушный, с впалой грудью и длинной выгнутой спереди куриной шеей, с треугольными щелками глаз, в которых никакого выражения, только ненависть, дикая, неистовая ненависть. Почему он меня так ненавидит? Что плохого сделал я лично ему?

Просить пощады у такого, унижаться перед ним? Никогда! Лучше умереть!.. Да, умереть хорошо бы, но кто даст тебе умереть? Это было бы слишком просто, слишком легко. Здесь многие хотели бы умереть.... Не зря ведь лестничные проемы защищены сетками. Какие основания у тебя считать, что тот, кто кричал где-то поблизости в первую ночь, что он — слабее тебя? Но ведь есть же люди, которые выдерживают, ты же читал о таких?.. Не знаю, может быть, и есть. Они, видимо, сделаны из другого теста.

Тогда человека избивали — были слышны удары... Это еще можно выдержать. Во всяком случае — надо выдержать. Но другое — то, о чем ты уже думал, и еще многое, о чем подумать не успел, например, электричество. Его ты выдержишь? Хоть несколько минут, хоть минуту?..

Господи! Избавь ты меня от этих мыслей! Помоги мне не думать об этом! Помоги мне заснуть. Ну хоть на полчаса уснуть. Скоро подъем. Хоть бы несколько минут поспать до подъема, забыть все...

Разве забудешь?..

Надо решить... А что, собственно, ты можешь решить?

Но ведь так же нельзя. Надо взять себя в руки и обдумать положение, надо найти какой-то выход. Давай разберемся... Что можно сделать? Самое простое, конечно, это, как только он снова вызовет, заявить, что ты готов сознаться во всем... Нет, не могу! Как это сознаваться в том, чего не делал? И кому? Этому уроду? Впрочем, он совсем не урод... Да не в том дело, урод он внешне или нет. Просто не могу я перед ним унижаться, позволить ему так быстро одолеть меня.

А если бить начнет? Не дамся! Пусть зовет помощников! А если он ударит во время допроса? Дам сдачи! Дашь сдачи? А ты представляешь себе, что будет потом?..

Леопольд задумался. Вот тут бы и умереть. Но ведь не убьют же. Переломают кости, отобьют внутренности, а не убьют. И останешься на всю жизнь калекой. На всю жизнь... А много у тебя этой жизни осталось?

Но он тебя не тронет. С глазу на глаз — не тронет. Он трус, этот остроглазый. Как он отшатнулся, когда я резко встал. Да, один на один он не посмеет. Ну, а если их несколько человек будет — тогда не стыдно. Много ли я сумею выдержать? На ринге, когда я проиграл Ларри Грэю, тоже очень больно было, но я же вытерпел, не сдался, хотя секунданты после четвертого раунда предлагали выбросить полотенце. Я вышел на пятый раунд, продержался и шестой, получил много ударов, но устоял на ногах. В результате был проигрыш по очкам. Почетное поражение от более опытного противника, снискавшее мне уважение, даже популярность.

Да, но то было на ринге. Я имел возможность тоже бить и бил, сколько мог. И я знал, что еще четыре минуты, еще две минуты — и конец. Бой по правилам: «Деритесь честно, и пусть победит сильнейший!»

А здесь придется только получать, здесь сдачи не дашь. И конца не дождешься. И правил нет. Лучше об этом не думать. И м только и надо, чтоб ты дал сдачи. Искалечат и еще правы будут. Нет, терпение и выдержка — вот мое оружие. Они не могут унизить меня, как собака не унижает человека, укусив его. Она только причиняет ему физическую боль. Мне надо выйти отсюда, пусть даже в лагерь, по возможности, здоровым.

Это будет моей победой. В шахматах ведь приходится иногда жертвовать не только пешки — фигуры, но побеждает тот, кто ставит мат неприятельскому королю. Будем жертвовать пешки, будем жертвовать фигуры, но отстоим короля и спасем партию. Отложим ее, а потом когда-нибудь доиграем... Обязательно доиграем!..

Но ведь они не удовлетворятся избиением. Они пойдут дальше. Те, кто могут арестовать заведомо невинного человека, оскорблять его, унижать, держать месяцами в тюрьме, грозить расправой с семьей — такие способны на все. И ведь если бы имелась какая-то мера, какой-то предел. Если бы знать, что выдержишь то-то и то-то и тебя оставят в покое, тогда бы стоило терпеть. Но такой меры для них не существует. Став на этот путь, они не сойдут с него. Они будут пытать до тех пор, пока не добьются своего. А раз так, значит, и нет смысла терпеть пытки.

И тут Леопольду пришло в голову, что ему потому так трудно, что он невиновен. Было бы легче, если б ему было что скрывать.

Он задумался... Да, в положении, в котором он находился, ему было бы легче, если б он был, скажем, заговорщиком, активным участником сопротивления режиму. Противоборствующие стороны были бы обрисованы четко: вот они, режим и его защитники; вот мы, которые боремся с этим режимом. Я знаю, чего хочу и чего они от меня хотят. Я — хранитель тайны. И пока у меня хватит сил я буду эту тайну хранить всеми доступными мне средствами. А когда силы истощатся, я найду способ умереть...

Но ведь умереть ты можешь и сейчас? Нет, сейчас трудно. Умереть можно, когда знаешь, во имя чего умираешь, когда своей смертью спасаешь друзей, единомышленников, когда жизнь и смерть твоя становятся каплей — пусть только одной каплей — великого очистительного потока, который сметет — когда-нибудь да сметет же! — всю эту нечисть с лица земли! Такая смерть — подвиг, геройство... Она имеет моральное оправдание. А во имя чего умирать мне сейчас? Умереть, не имея никакой тайны, никакого идеала, без того, чтоб соратники мысленно преклонили колена перед твоей памятью... Умереть просто потому, что смерть легче, чем

та жизнь, которую они уготовили тебе. Нет, на такую смерть я не способен. Ведь есть надежда, она не умирает, она держит тебя цепко. Лучше уж наговорить на себя, сказать что им нужно. Меня посадят надолго, но жизнь я сохраню и буду бороться за свою правду.

Итак, решено. До пыток дело не доводить. Побои терпеть, держаться до последней возможности, а потом... Да... Потом признаться...

Но что им сказать, в чем признаться?

Уж который раз Леопольд задавал себе подобный вопрос и каждый раз оказывался не в состоянии на него ответить. И теперь он решил, что невозможно загадывать наперед. Они сами подскажут, намекнут по крайней мере, что им требуется. Только надо начало показаний сформулировать так, что потом, когда уйдешь от них, когда партия возобновится, иметь возможность сослаться на эту первую фразу. Нужно, чтоб она сводила на нет все, что потом скажешь. Начать примерно так: «Принимая во внимание сложившееся для меня положение, я готов дать требуемые показания...» Или нет: «требуемые вами показания...» Такая формулировка говорит о многом.

Но ведь они не запишут ее, как Ламсдорф не записывал того, что говорило в мою пользу. Пусть! Я запомню ее и потом когда-нибудь сошлюсь на эти слова в той инстанции, где можно найти справедливость. Если, конечно, она существует, эта инстанция, если она еще жива — справедливость. Но сейчас об этом думать не надо. Нужно верить, что где-то она есть. Не может не быть. Не весь же государственный аппарат состоит из негодяев. Где-то есть люди. Ведь это — Германия...

...Это их Германия. Это не Германия Юлиуса фон Халлера. Это Германия Ламсдорфов и Гиммлеров, сопляков, сжигающих книги Гейне, Томаса Манна, Ремарка, изгоняющих Эйнштейна...

Нет, Германия одна. Та, которая была, та, которая будет. А это — струпья на ее теле. Рано или поздно рана заживет, короста отпадет.

Но когда это будет? Дотяну ли я до этого момента?

Только на третьем допросе Леопольд узнал, как зовут его нового следователя. Леопольда вызвали утром, и это было не так страшно. В кабинете сидели еще двое. Один с внешностью боксера — толстая короткая шея, переломанный, явно от удара, нос и взгляд исподлобья, но не остро-колючий, как у Шлегеля, а напряженно-выжидающий. Но выражение лица у боксера было не злое, и смотрел он на Леопольда больше с любопытством, чем с неприязнью. Второй был маленький, курчавый, подвижной, и в подвижности этой чувствовалась неуверенность в себе, что подкреплялось заискивающей полуулыбкой и манерой вопросительно заглядывать в глаза. Чувствовалось, что в этой компании он самый младший если не по возрасту, то по чину и положению.

В момент, когда Леопольда ввели, его следователь и двое других сидели вокруг письменного стола и разглядывали какие-то фотографии.

Леопольд, которому на прошлых допросах пришлось стоять по несколько часов подряд, прошел в свой угол, но не сел.

Увидев это, хозяин кабинета, нахмурившись, жестом показал на табурет. Леопольд сел, внимательно смотря в сторону тех трех. Они же, не обращая на него ни малейшего внимания, продолжали перебирать фотографии, обмениваясь короткими репликами. Боксер и маленький при этом часто улыбались.

Зазвонил телефон. Хозяин кабинета снял трубку, и лицо его приняло то выражение, с которым он сбично обращался к Леопольду.

— Оберштурмфюрер Шлегель, — отчеканил он неприязненным голосом, который — это безошибочно угадывалось — ему самому нравился. Слегка нахмурившись, он несколько раз сухо произнес «да», «да» и потом, сказав «нет», не прощаясь, положил трубку.

Разглядывание фотографий продолжалось. Леопольд молча наблюдал за ними, стараясь понять, что все это значит и чего можно ожидать от присутствия новых двух.

Постепенно у него начало складываться впечатле-

ние, что их занятие имеет отношение к нему, — боксер несколько раз оборачивался на Леопольда и смотрел на него через плечо насмешливо, но без злобы. И тут Леопольд понял, что рассматривают они его фотокарточки, вероятно изъятые при обыске. Ему стало очень неприятно, хотя ничего компрометирующего в них не было.

Наконец нарушил это молчаливое перебиранье фотографий боксер. Взяв в руки одну большую, он обратился к Леопольду:

— Этот снимок где сделан?

Леопольд напряг зрение, но на расстоянии нескольких шагов не смог разглядеть и сказал:

— Я не вижу. Покажите ближе...

Боксер передал фотографию курчавому, который подошел к Леопольду. Тот протянул было руку за ней, но Шлегель резко скомандовал:

— Руками не трогать! Смотреть так!

Леопольд недоуменно вздернул плечами, как бы говоря: неужели вы думаете, что я попытаюсь уничтожить карточку? Курчавый остановился в двух шагах от него и, повернув фотографию лицевой стороной, держал ее на уровне лица. Леопольд не помнил хорошо этой фотографии, но узнал на ней многих.

— Этот снимок сделан в клубе немецкого землячества, — заговорил он. — Во время рождественского вечера...

— В каком году? — перебил его Шлегель с таким видом, будто усматривал важное значение в этом уточнении.

— Сказать точно не берусь. Но, во всяком случае, до тридцать третьего года.

Боксер усмехнулся и, обращаясь к Шлегелю, бросил реплику:

— Хочет этим объяснить отсутствие портрета фюрера.

— Я думаю, что в те годы портреты фюрера не везде висели и в Германии, — возразил Леопольд. — Но, как видите, на почетном месте висит портрет кайзера. А год я назвал так уверенно потому, что вот здесь, в центре, сидит мой отец. — Леопольд умышленно и с вызовом подчеркнул слова: «в центре». — А он скон-

чался летом тысяча девятьсот тридцать третьего года.

— И ваш почтеннейший родитель, проживи он дольше, конечно, распорядился бы повесить портрет фюрера? — с откровенной насмешкой спросил боксер. Несмотря на свою внешность, говорил он вполне интеллигентно.

Леопольд вспыхнул.

— Если вы будете в непочтительном тоне говорить о моем отце, я не буду вам отвечать!

Боксер демонстративно обернулся к Шлегелю, как бы приглашая того в свидетели этой выходки подследственного. Шлегель счел нужным вмешаться:

— Халлер, не нахальничайте, а то худо будет!

Ни малейшего страха не чувствовал в эти минуты Леопольд, только возмущение, которое он даже не пытался скрыть:

— Со мной можете делать, что хотите. Я в вашей власти. Но отца не трогайте! Вам редко приходилось встречать таких людей, как он!

Боксер усмехнулся, но промолчал, и это произвело на Леопольда успокаивающее действие. А тот продолжал:

— Но все же, доживи он до более поздних времен, повесил бы он портрет фюрера?

— Я же говорю, там висел портрет кайзера, его явственно видно на снимке, — уклоняясь от прямого ответа, заговорил Леопольд. Он заметил, что и Шлегелю и боксеру оказалось неприятным упоминание о портрете кайзера на стене. Но тут мысль, что кто-нибудь, а тем более эти, могут подумать, будто Юлиус фон Халлер был сторонником национал-социалистов, а он, его сын, сейчас пытается спекулировать на этом, так обожгла его, показалась ему столь кощунственной, что он поспешил пояснить:

— Не беспокойтесь! — Юлиус фон Халлер не был национал-социалистом и ничьих портретов, кроме тех, которые уже были, вешать бы не стал!

Как ни странно, слова эти не привлекли особого внимания следователей, и боксер только спросил:

— А чьи же еще портреты там висели?

— Бетховена, Гёте, Бисмарка...

— А портрета Эйнштейна не было?

— Не было... — ответил Леопольд, подавляя желание добавить: «К сожалению».

— Ах ты, сукин сын, сукин сын! — покачал головой Шлегель, так, будто известие о том, что в немецком клубе висели портреты великих немцев, было для него личным оскорблением. Леопольду эта ругань доставила даже удовольствие, так как стало очевидным, что ничего нужного для себя они от этой фотографии не получили. Ничего предосудительного в ней и не было, но Ламсдорф бы, конечно, обратил внимание, что рядом с Юлиусом фон Халлером сидит человек с явно еврейской внешностью. А Леопольд, видя, что они утратили интерес к фотографии и боксер отложил ее в сторону, злорадно подумал: «Слабо работаете, геноссе! Куда вам до Ламсдорфа!»

Некоторое время они молчали, продолжая перебирать карточки, потом боксер, не оборачиваясь, спросил небрежно:

— У вас что, собственный автомобиль был?

— Был.

— Это на журналистские-то заработки?

— Да. Там у всех свои машины. Мой стоил недорого: спортивный «эссекс», я его купил в рассрочку, к тому же не новый.

Боксер обернулся и, держа за угол небольшую карточку, процедил насмешливо:

— Такая машина стоила недорого?

И опять передал фотографию курчавому, а тот поднес ее Леопольду.

Эту карточку он помнил хорошо: одна из последних, где он снят вместе с Гильдой в ее «кадиллаке». По календарю всего лишь три года, но как безвозвратно давно это было! Толстый палец курчавого, с крепким, нечистым ногтем, касался снимка как раз в том месте, где было лицо Гильды. Леопольд почувствовал себя задетым, будто кто-то при нем оскорбил ее, а он не сумел заступиться. Зачем им эти карточки? Что они им дают?

— Отвечайте!

Это сказал Шлегель, и Леопольд, подняв глаза, встретился с его сверлящим, непримиримым взглядом.

— Это — очень дорогая машина, — спокойно ответил Леопольд, — но она не моя была.

— А чья? — боксер снова улыбался совершенно беззлобно.

— Той женщины, которая сидит за рулем.

— Кто она такая? — допытывался боксер, продолжая бессмысленно улыбаться.

Леопольду казалось кощунством упоминать имя любившей его женщины в этом месте, и он нехотя ответил:

— Моему следователю ее имя известно.

Тут вступил Шлегель. С брезгливой гримасой, отдавая — в своей манере — одно слово от другого, он произнес:

— Его любовница. На деньги которой он жил.

Этого Леопольд не ожидал. Он вскочил, сел, опять вскочил, и закричал:

— Вы лжете! Вы не смеете так оскорблять меня! Это подлая, низкая ложь! Она была богаче меня, но я никогда не воспользовался ни одним ее центом!

Внезапно слезы хлынули у него из глаз. Он старался их удержать, но не мог и презирал себя за слабость. Это еще больше усиливало его смятение, и он продолжал кричать, не помня себя:

— Это низко, это подло, так оскорблять! Вы не люди! Я любил ее, и она любила меня! Вы можете убить меня, но не имеете права так оскорблять!

Шлегель растерялся. В таком состоянии люди бывают способны на самые безрассудные поступки. Хорошо, что между ним и Халлером сидит чугунный Беккер со своими кулаками. Но все равно, сейчас лучше молчать, пусть выкричится. После такого взрыва они обычно слабеют. Главное, что он утратил самообладание. Вот оно, его слабое место: самолюбие. Здесь и давить.

Между тем Беккер, тоже учуяв слабое место, решил продолжать допрос, чтобы не дать Халлеру оправиться. Но прежде следовало разрядить обстановку, вызвать смягчение, вести допрос в русло беседы. Поэтому, согнав с лица улыбку и стараясь, чтобы голос его звучал участливо, что, впрочем, не очень ему удавалось, он заговорил:

— Почему вы так разволновались, Халлер? Не надо нервничать. Отвечайте на вопросы честно и откровенно. Для вас же лучше будет.

Как ни потрясен был Леопольд в эти минуты, он все же с горечью отметил про себя: «И это он говорит о честности!» Слезы уже перестали литься. Он чувствовал, что нос у него распух, глаза заплыли. Он помолчал немного, чтобы овладеть собой, и, стараясь придать своим словам больше твердости, сказал:

— Я готов отвечать на вопросы следствия, но я протестую против издевательства. Я нахожусь под защитой германских законов.

— Ну ладно, хватит, хватит! — счел нужным вмешаться Шлегель. — Развел антимонию... Поздно вспомнил о германских законах! Раньше о них надо было думать.

Беккер неодобрительно взглянул на своего начальника. Все-таки справедливо говорят, что допросы он вести не умеет, — слишком прямолинеен, гибкости нет.

Шлегель перехватил взгляд Беккера и правильно уловил его смысл. Он и сам понимал, что сейчас надо разговаривать помягче, но сидящий в углу, фактически уже уничтоженный, но еще ерепенящийся интеллигентик был так ему ненавистен, так раздражал его, что он не чувствовал себя в силах принять тон, предусмотренный теорией для данной стадии допроса. Поэтому он решил по возможности не вмешиваться и предоставить неограниченную инициативу Беккеру. А тот в это время держал в руках другую фотографию Гильды Стивенс — пляжную, в очень открытом купальном костюме... «Да-а, вот это — женщина!» — думал Беккер, стараясь сохранить непроницаемое выражение лица. «Какие плечи, какой бюст! А ноги! Счастливчик этот Халлер. И что она в нем нашла? Таких, как он, в любом городе полно».

В отличие от Шлегеля Беккер не питал к Халлеру личной антипатии. Подследственный как всякий другой. Правда, из трудных, но бывают и потруднее. Если бы не специнструкция о профилактических мерах в отношении приезжающих из-за границы, можно было бы его не трогать. С ним интересно было бы встретиться в небольшой теплой компании за кружкой пива, спросить о бурлеске, стриптизе. Там, говорят, девчонки

прямо на сцене раздеваются догола. Но раз уж он взят — его надо оформить лет на десять. Конечно, лагерь — не курорт, но тут уж ничего не попишешь. Не наша компетенция. Наше дело — доставлять рабсилиу. Останется в живых — его счастье. Нет... Не он первый, не он последний... Но все-таки — что за женщина эта Гильда Стивенс!.. Особенно здесь, на пляжном снимке...

Беккер почувствовал неодолимую потребность узнать о ней побольше, просто поговорить о ней.

— Кто это? — обратился он к Леопольду, сам поднося ему карточку.

Леопольду было мучительно видеть, с каким вожделением этот с перебитым носом разглядывает почти обнаженную Гильду.

Но он признавал достаточную обоснованность вопроса и потому ответил:

— Это та же, что в «кадиллаке».

— Чем она занималась? — спросил Беккер и, почувствовав фривольную двусмысленность вопроса, слегка улыбнулся. — Где работала?

— Она не работала. У нее муж — богатый человек, — угрюмо ответил Леопольд.

Ему был мучителен разговор о Гильде в таком месте и в таком тоне, но выхода не было. Чашу предстояло испить до конца.

— Значит, ничего не делала. Развлекалась... — Беккер все-таки сбился с делового тона.

— Она участвовала во многих благотворительных мероприятиях и лично помогала бедным. Из собственных средств.

— Для таких женщин благотворительность — тоже развлечение, — пренебрежительно махнул рукой Беккер.

«Где я уже слышал эти слова? — подумал Леопольд и с раздражением добавил про себя: — Ни одной собственной мысли не имеют!», а вслух парировал:

— Ну что ж, она имела возможность так развлекаться!

— Но больше развлекалась с вами?

«Дать ему по физиономии? — подумал Леопольд устало. — Убьют. Как минимум, искалечат, их здесь трое. Нет, не помогу я им это сделать. Мне нужно выйти от-

сюда, только в таком случае мой ответ сможет когда-нибудь прозвучать веско». И Леопольд промолчал так, будто и не раздались только что эти оскорбительные слова. Но Беккер понял его молчание по-своему и, снова двусмысленно улыбнувшись, задал новый вопрос:

— А с кем еще, кроме вас, она развлекалась?

При этих словах Беккера Шлегель, удовлетворенно усмехнувшись, переменил позу и уставился на Леопольда.

«Ты бы лучше поинтересовался, с кем твоя жена развлекается, пока ты тут целые ночи мучаешь людей!» — подумал в ответ Леопольд, которого уже мало задевали новые издевательские вопросы. «Везде по-своему. У нас в Штатах шлюхами были жены музыкантов кабаре. А здесь — жены гестаповцев. Это даже Отто говорил. Оно и не удивительно — мужья ночью на работе, вот жены и развлекаются». Леопольда позабавила эта неожиданная параллель, и он тоже усмехнулся. Его усмешка смущила Шлегеля. Ведь все, что сейчас говорилось, было направлено — и Беккер очень искусно вел эту линию — на психологическое подавление подследственного, и вдруг эта усмешка, причем без вызова — просто в ответ на какие-то свои мысли.

Он решил ёмешаться.

— Ну, что же ты не отвечаешь?

Леопольд презрительно пожал плечами.

— Дай бог, чтобы все женщины были верны своим мужьям или возлюбленным, как мне была верна Гильда! — произнося эти слова, Леопольд переводил взгляд со Шлегеля на Беккера и обратно.

Шлегеля передернуло. В словах Халлера ему почудился намек.

«Неужели он знает что-нибудь про Марту? А, может быть, он сам был с ней? Ведь черт ее знает, где она болтается, пока я здесь работаю. А спросишь, всегда назовет Эльзу, потому что у Эльзы нет телефона. Дешевый трюк!» Шлегель бросил косой взгляд на Беккера: как он воспринял эту реплику? Но лицо Беккера не выражало ничего. Его явно не задели последние слова Халлера. Шлегель перевел взгляд на Ульриха. Тот сидел на диване в своей обычной напряженной позе, выражавшей готовность и почтительность, и вряд ли даже

слушал, что говорится. Когда надо будет — его привлекут. Что прикажут, то он и сделает.

Успокоившись в отношении сотрудников, Шлегель впился взглядом в подследственного. «Что он знает? Известно ли ему что-нибудь конкретно или он ляпнул наобум? Да и есть ли что знать? Может быть, зря я подозреваю Марту во всех смертных грехах?.. Да не во всех, а в одном! Вот в чем беда. Ведь недаром говорится, что мужья всегда узнают последними...»

Он внимательно смотрел на Халлера. Но на этом лице, распухшем от трудных и неожиданных мужских слез, совсем некрасивом, желто-сером, с недельной щетиной, сквозь выражение растерянности и трагической тоски все же проступало в чем-то высокомерие аристократа, сознание собственного превосходства и удовлетворение человека, интересно и насыщенно прожившего свою молодость и до сих пор не утратившего окончательно ни надежды на спасение, ни вкуса к жизни.

И Шлегелю так неудержимо захотелось сейчас же ударить изо всех сил кулаком по этой надменной физиономии, что он сделал бессознательное движение, чтобы встать. Но Беккер продолжал допрос, и надо было по крайней мере выждать, чем кончится серия его очередных вопросов.

Шлегель прислушался. Беккер все ходил вокруг да около, и было непонятно, куда он клонит. Но Шлегель решил не мешать, полагаясь на большой опыт Беккера, да к тому же ему самому новые вопросы в голову не приходили. У Шлегеля сложилось твердое убеждение, что пора приступить к допросам третьей степени, а все эти разговоры — я здесь, он в углу — чистая потеря времени.

— Но ведь изменила же она своему мужу с вами? — допытывался Беккер со странным выражением лица. Голос его звучал вкрадчиво, и еще в нем слышались какие-то нотки, вызывавшие в Леопольде дополнительное презрительное чувство, помимо той ставшей уже привычной презрительности, которую возбуждали в нем все они. — Значит, могла изменять и вам с другими?

«Надо замолчать и не говорить больше ни слова, — думал в эти минуты Леопольд. — Но ведь они поймут

молчание по-своему, — как признание справедливости своего предположения. Ну и пусть так понимают! Они все понимают по-своему, все стараются оболгать. Они во всем видят грязь, потому что сами они — грязь. Грязь и ложь, замешанные на крови. Они представить себе не могут, что можно быть правдивым, что есть вещи, есть чувства, которые не из грязи состоят. И Гильду, твою Гильду они в твоем присутствии смеются с грязью, а ты будешь молчать? Но ведь спорить с ними бессмысленно, просто глупо, наконец! Пусть глупо, но я не могу молчать, я должен ее защищать!»

Прежде чем заговорить, Леопольд внимательно посмотрел на майора с перебитым носом, стараясь понять, какую цель тот преследует, задавая все эти вопросы. Но майор смотрел на Леопольда с тем же выражением отчужденного любопытства, но без враждебности, которая никогда не сходила с лица Шлегеля, и без холодной, мрачной подозрительности Ламсдорфа.

«Что это за существо? — думал Леопольд. — Что им движет? Какие у него чувства и ощущения, какие мысли проносятся в этой тяжелой голове с нависающим лбом и плоским голым теменем? Вспоминает ли он когда-нибудь свою мать?»

Потом Леопольд перевел взгляд на Шлегеля. Но тут все было ясно. Невозможно себе представить, что он кому-то говорил «мама», что он когда-нибудь улыбнулся ребенку. Это была сама квинтэссенция зла, принявшая человеческое подобие, но даже не слишком маскирующаяся.

Будь здесь только Шлегель, пожалуй, отвечать бы не стоило. Но этому, другому, стоит ответить. Его еще можно представить с матерью.

С трудом заставляя себя произносить слова, Леопольд заговорил:

— Да, она изменила своему мужу со мной, потому что полюбила меня. Ей нелегко далась эта единственная измена...

«Зачем я говорю это им? — проносились в голове Леопольда. — Разве они в состоянии понять?»

— Какая же единственная измена? — недоумевающе

возразил Беккер. — Она жила с вами три года. Значит, все это время изменяла мужу.

— Нет, она изменила мужу только один раз...

— Как же один раз? Ведь вы регулярно встречались. Не скажете же вы, что все ваши последующие встречи носили платонический характер?

— Не скажу.

— Так как же..?

«Что сказать ему? Как объяснить, что, став моей, Гильда перестала принадлежать мужу и что муж молча страдал и терпел такое положение ради ребенка?»

— Все эти три года она была моей, только моей, вот и все.

Беккер с сомнением покачал головой:

— Вы что-то несуразное плетете, Халлер... Ну хорошо, оставим это,— махнул он рукой.

Беккер действительно утратил интерес к разработке в амой теме. Классического треугольника не получалось, никаких пикантных подробностей не предвидится. Ну и черт с ними! Беккер решил вернуться к той теме, которая уже вывела подследственного из равновесия один раз.

По существу Беккер стремился к тому, чего уже добился Ламсдорф — то есть к ограниченному результату. Но Беккер не был знаком с делом в том виде, в каком оно перешло от Ламсдорфа к Шлегелю. Этот последний привлек его лишь для участия в перекрестном допросе, потому что он участвовал в обыске на квартире у Халлера в день ареста и вынес кое-какие личные впечатления.

Шлегель дал возможность Беккеру лишь ознакомиться с агентурными данными, о следствии же, проведенном Ламсдорфом, отзывался так кратко и неодобрительно, что у Беккера создалось впечатление о полном провале Ламсдорфа.

— Я все-таки вот что хочу знать, — Беккер говорил очень спокойно, без недружелюбия. — Вы сами говорите, Халлер, что Гильда Стивенс — очень богатая женщина. А вы были человеком среднего достатка... Так ведь?

— Так... — подтвердил Леопольд.

Увидев, в какую сторону сворачивает Беккер, он по-

чувствовал облегчение. Этим он уже переболел, второй раз им не удастся вывести его из равновесия.

— Вы с ней всюду бывали, проводили время в ее кругу. А ведь ее круг — это общество богатых людей. И расходы, которые вы несли, были вам не по средствам. Откуда же вы брали деньги?

Шлегель оживился. Наконец-то он понял, куда клонит Беккер. Ловко, тонко, ничего не скажешь. Внешне ничем не проявляя своей заинтересованности, он подготовился.

Леопольд тем временем, как всегда при серьезном и деловом вопросе, с правомерностью которого он внутренне был согласен, старался дать серьезный же, искренний ответ.

— Дело в том, — начал он медленно, — что вращались мы не только в ее, но и в моем кругу... В моем, пожалуй, больше. Но я не отрицаю, мне случалось бывать и в дорогихочных клубах, кабаре. Мне было нелегко нести эти расходы.

— Где же вы доставали деньги? — быстро и неожиданно спросил Шлегель.

Леопольд не то что забывший о нем, но как-то переставший учитывать его присутствие, вздрогнул от неожиданности.

— Да, да, где вы доставали деньги? — теперь уже резко и нетерпеливо подтвердил вопрос Беккер.

— Позвольте мне объяснить...

— Не объяснять, а отвечать! Где брал деньги?

— Кто их давал? Как фамилия?

— Чья фамилия? — изумился Леопольд.

— Его, его! Того, кто деньги давал!

— Того, с кем ты имел дело! — Беккер тоже перешел на «ты», и теперь лицо его было почти так же сурово и враждебно, как лицо Шлегеля.

— Никто мне не давал денег! — воскликнул Леопольд. — Кто даст даром деньги? Их надо заработать.

— Вот именно — заработать! Кто давал тебе заработать помимо газеты?

— Ну! Быстро! Отвечай! Нам все известно! Какие услуги ты ему оказывал?

Как только Шлегель произнес последние слова, Леопольд было растерявшийся воспрянул духом. Он сразу

вспомнил те же слова, сказанные на первом допросе, «Нам все известно!», слова, по существу означавшие только одно: против него нет никаких данных. И тогда, почти совсем спокойно, он сказал нарочито медленно и уверенно, зная, что этим выведет из себя по крайней мере Шлегеля:

— Никаких источников заработка помимо газеты у меня не было. Но работать приходилось много, и не только писать. Последнее время я еще собирал объявления, рекламу. Это очень выгодное дело, ведь десять процентов идет сборщику. Конечно, найти рекламодателя, уговорить его — трудно. Но тут мне помогала Гильда Стивенс, у нее хорошие связи в деловых кругах.

Услышав объяснения Халлера, Беккер сразу им поверил и понял, что продолжение допроса в этом направлении ничего не принесет, а к другим темам он готов не был, потому что Шлегель не дал ему как следует ознакомиться с материалами дела. Сам Шлегель почему-то отмалчивался. По инерции Беккер задал еще несколько контрольных вопросов, на которые подследственный отвечал исчерпывающе.

Тогда, чтоб не дать Халлеру почувствовать, будто он удовлетворен и верит ему, — что было бы грубейшей ошибкой и категорически запрещалось инструкцией, — Беккер опять вернулся к прежней теме.

— Все-таки для всех ваших забав, Халлер, своих дешег вам хватать не могло, — это говорил уже прежний Беккер — улыбающийся, совсем не враждебный, не торопящийся, словно не допрос вел, а беседовал. — Были у вас побочные источники. Хотя бы та же Гильда Стивенс...

«Не могут, не могут они мне простить, что я жил лучше их. Вот и вся моя вина. И что бы я ни говорил, как бы ни доказывал — они будут непримиры», — печально думал в это время Леопольд. Его уже не оскорбляли навязчивые вопросы, двусмысленные намеки и улыбочки Беккера. Он перегорел, устал и физически, — от долгого и неудобного сидения на узкой табуретке и невозможности облокотиться, — и морально — от необходимости каждую секунду соблюдать максимальную бдительность, напрягать внимание и память, как при разыгрывании сложной партии в шахматы. По-

следний вопрос Беккера показывал, однако, что противник тоже устал, утерял нить и начинает повторять ходы.

Леопольд вяло, через силу ответил:

— Я уже говорил вам и повторяю: я не брал денег у Гильды Стивенс, я тратил только то, что зарабатывал, а зарабатывал только честным путем. И вообще я не понимаю этого повышенного интереса к Гильде Стивенс. Она не немка, она американка, никакой политической деятельностью не занималась. Какое отношение она имеет к безопасности германского рейха?

Помимо своей воли, Беккер все больше и больше склонялся к мнению, что Халлер дает правдивые показания и для того, чтобы его отправить в лагерь, нужно менять и направление следствия и его методы. Но это — уже забота Шлегеля.

Беккер еще раз восстановил в памяти узловые моменты сегодняшнего допроса. Картина, в общем, складывалась ясная и для подследственного вполне благоприятная. Впрочем... какая-то слишком уж благополучная картина. Вот это-то и странно.

— Не знаю, Халлер, — покачивая в недоумении головой и смотря куда-то вниз и вбок, проговорил Беккер, не следовательским, а вполне человеческим тоном, — какие-то небылицы вы здесь рассказываете. Вас окружала обстановка враждебная Германии, а вы в ущерб себе сохранили ей верность; денег не хватало, рядом с вами любовница, богатая женщина, а вы это обстоятельство не используете; ее муж — влиятельный человек, знает о ваших отношениях с его женой и вместо того, чтобстереть вас в порошок, — почему-то терпит всё. Какая-то фантастика. Я этого понять не могу.

Леопольд поднял глаза и внимательно посмотрел на говорящего. Словно повинуясь смыслу произносимых слов, лицо Беккера изменилось. С него сошло столь характерное для них выражение отчужденности, холодного недоверия и возведенной в принцип враждебности ко всему человеческому. Лицо Беккера, с его массивной нижней челюстью, тяжело нависающим лбом и расплющенным носом в этот момент было еще более некрасиво, но отпечаток усталости и растерянности, которую он не сумел или не позаботился скрыть, возвращал ему давно утраченную человечность.

Сердце Леопольда дрогнуло жалостью к Беккеру. Где, в какой момент, под влиянием каких обстоятельств сорвалась эта жизнь в ту бездну, из которой самые простые, естественные человеческие чувства: верность родине, любовь к женщине, самоотречение ради ребенка — кажутся невероятными и возбуждают неуважение, не сочувствие, а лишь подозрение?

Леопольд все смотрел на Беккера, и когда тот поднял глаза, взгляды их встретились. Но этот мост остался неиспользованным: один не решался на негоступить, не без основания не доверяя его прочности, другой не догадывался, что он существует.

И, вздохнув, Леопольд ответил с искренней горечью:
— Я и не ожидал, что вы поймете!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ЧЕТЫРЕ ТЕЛЕФОНА

Как-то около полудня открылась дверь, и Леопольда вызвали.

По тюрьме его провели обычным путем, но когда перешли в здание Управления, конвойный указал ему новое направление, по которому ходить еще не приходилось. Коридор здесь выглядел более нарядным, на полу лежала темно-красная ковровая дорожка, дверей было мало, и все дубовые, с массивными медными ручками. Навстречу попалась молодая особа в светлой, полупрозрачной блузке и темной юбке до колен. Туфли на высоких каблуках и тонкие шелковые чулки дымчатого цвета делали ее ноги еще более стройными, аккуратно уложенные волосы отливали золотом, на круглых полных руках с ямочками у розовых локтей молочно голубели жилки, пышный бюст слегка вздрагивал в такт шагам. Женщина проплыла мимо Леопольда, как видение из прошлой жизни, протянув за собой слабеющий с каждым шагом аромат духов, и хотя он не успел как следует рассмотреть черты ее лица, она показалась ему невыразимо привлекательной.

Не считая убогих и злых тюремных фельдшериц, в которых и пола-то не ощущалось, это была первая женщина, которую Леопольд увидел с момента ареста,

и, представив себя со стороны, таким, каким он был сейчас: немытым, не бритым несколько дней, в истрепавшейся одежде, с остриженными наголо и отросшими на сантиметр волосами, Леопольд молил бога, чтоб женщина не заметила его. Но когда они поравнялись, она бросила на него беглый взгляд, в котором, за обычной для всех лиц в этом доме маской равнодушия и холодной отчужденности, мелькнуло любопытство.

Несколько секунд Леопольд шел под впечатлением этой встречи, испытывая смущение за свой внешний вид и тот мгновенный подъем, обострение дремлющих эмоций, которое всегда вызывает в здоровом мужчине неожиданная встреча с красивой женщиной.

«Надеюсь, она не узнает меня, если мы когда-нибудь встретимся с ней в обществе! — успокаивал себя Леопольд. — Кто она? Наверное, секретарша какого-нибудь высокопоставленного лица, может быть, самого Рунге». Тут Леопольду вспомнился внимательный взгляд, которым обвел его конвойный еще в камере, и то, как он жестом приказал ему застегнуть верхнюю пуговицу на сорочке, что было достаточно нелепо, поскольку галстук у него давно отобрали. Леопольд понял, что его ведут к большому начальству, вернее всего, к Рунге, о чем он просил еще тогда, когда находился в ведении Ламсдорфа. В то время такая аудиенция, как ему казалось, имела смысл, так как он еще верил, что у них есть какие-то основания подозревать его. Руководитель крупного отделения Управления имперской безопасности в чине генерала должен обладать более широким кругозором, чем заурядный следователь, и легче будет объяснить ему специфику жизни в условиях демократического общества. Но за недели, истекшие после подачи заявления, особенно теперь, когда его передали Шлегелю, Леопольд понял, что никого здесь не интересует выяснить правду и дать справедливую оценку его жизни и деятельности за границей, а интересует лишь возможность погубить его, отправить в концлагерь, на рабский труд, на мучения, может быть, на смерть. Для того, чтоб добиться этого, они ни перед чем не останавливаются, нарушая даже свои собственные жестокие, несправедливые и нелепые, с точки зрения общепринятых правовых норм, законы.

И потому Леопольд не ждал теперь почти ничего от встречи с группенфюрером. Но уж коль скоро встреча эта предстояла, он решил, что надо воспользоваться такой единственной возможностью.

У одной из дверей конвойный остановился, обернулся и еще раз оценивающе оглядел Леопольда с ног до головы, после чего открыл дверь и жестом велел войти. Они оказались в большой и очень светлой комнате с до блеска отполированным паркетом, в которой за двумя столиками сидели нарядные молодые секретарши, а в глубине, за большим письменным столом, — офицер СД в форме гауптштурмфюрера. К нему и подошел конвойный. Они обменялись вполголоса короткими фразами, после чего офицер встал, одернул китель, провел рукой по и без того безупречно прилизанным волосам и направился к двери, сбоку от которой висела табличка. Леопольду с того места, где он стоял, не было видно, что на ней написано, и он сделал шаг вперед. Это движение заметил конвойный и грубо, хотя и негромко, изуважения к находившимся в помещении начальствующим лицам, окликнул:

— Ну? Куда?

Он подошел к Леопольду и, взяв его за плечо, стал поворачивать лицом к стене:

— Сюда, сюда. Вот так стоять!

Это новое унижение, которому его подвергали, да еще в присутствии молодых женщин, внезапно вызвало в Леопольде такой взрыв ярости, что он среагировал прежде, чем успел подумать. Резким движением он сбросил с плеча тяжелую руку гестаповца.

— Руку! — сказал Леопольд тихо, но с такой силой ненависти, что гестаповец опешил и сделал шаг назад, но по инерции все же повторил:

— К стене, лицом к стене!

Но выражение его лица, пораженное и испуганное, никак не соответствовало суровому смыслу произносимых слов.

Ярость, которая очень редко охватывала Леопольда, обычно не лишала его способности рассуждать. Даже наоборот — именно в такие мгновения мозг его работал особенно четко.

И сейчас он ясно сознавал, что конвойный-гестапо-

вец здесь, в приемной группенфюрера, ровно ничего не значит и ничего сделать не может. Да и потом, — если только он не круглый идиот, — не станет доводить до сведения своего начальства, что у него на пороге кабинета Рунге возник скандал с заключенным. И потому, со всей возможной грубостью, на какую был способен, стараясь вложить в свои слова все презрение, скопившееся в нем к этим существам за бесконечные месяцы заключения Леопольд произнес тягуче.

— Чего?.. Я тебе что, мальчишка?

Конвойный, словно ища поддержки, растерянно оглянулся на девушек. Но одна, старшая по возрасту, погрузившись в чтение бумаги, никак не реагировала на происходящее, другая же смотрела с неодобрением на самого конвойного. Она недавно работала в СД, попала в эту приемную только благодаря безупречной анкете родителей, их связям и арийской родословной и не успела еще проникнуться ведомственной солидарностью. Поэтому ей куда симпатичнее был молодой, интеллигентного вида арестант, чем грубый, пожилой конвойный, от сапогов которого невыносимо несло дегтем.

Неизвестно, чем бы кончился этот эпизод, если бы дверь из кабинета не открылась и появившийся из нее гауптштурмфюрер не сказал Леопольду сухо, но корректно:

— Пройдите!

Словно кто-то переключил рычажок на распределительной доске: Леопольд мгновенно забыл о конвойном. Сейчас все его существо было охвачено напряжением момента.

«Вот твой последний шанс, — шептал ему внутренний голос, — не пропусти его! Скажи все. Ведь у тебя так много есть что сказать!»

Почти не чувствуя своего веса, видя окружающее как бы сквозь легкую пелену тумана, Леопольд переступил порог, незаметно крестясь одним большим пальцем. Он оказался в огромном продолговатом кабинете, стены которого были отделаны мореным дубом. Высокие венецианские окна были закрыты тюлевыми занавесками, за которыми все же проглядывали решетки. Пол устипал толстый блекло-зеленый ковер. Слева на стене висел написанный маслом в сусально-подхал

лимском стиле современной германской живописи портрет Гитлера во весь рост, в натуральную величину. Фюрер на этом портрете выглядел моложе и стройнее, чем был на самом деле, но в общем был очень похож на оригинал. В мастерстве художнику нельзя было отказать. Даром национал-социалисты денег не платили.

В глубине кабинета за письменным столом, тоже дубовым и очень большим, сидел немолодой, грузный генерал с массивной головой и редкими темными волосами, аккуратно расчесанными на боковой пробор. Лицо генерала, с большим ртом и как бы от собственной тяжести отвисающей нижней челюстью, было недобродушное, раздраженное и невыспавшееся, глаза за толстыми очками смотрели на Леопольда неприязненно.

— Садитесь, — коротко приказал он, кивнув на стул, поставленный посредине комнаты. — Вы писали группенфюреру, он поручил мне принять вас. Вам предоставлено пять минут.

Генерал говорил вяло и как бы даже утомленно. Чувствовалось, что он не ждет проку от этой встречи.

«Так это не Рунге, — подумал Леопольд. — Кто же тогда?» И словно в ответ на его вопрос зазвонил один из телефонов, и генерал, подняв трубку, произнес:

— Бригадефюрер Нibelль слушает!

Фамилия не говорила Леопольду ничего, но чин свидетельствовал о том, что это должен быть заместитель Рунге. Бросив несколько односложных реплик, Нibelль положил трубку и уставился в бумаги, лежавшие перед ним. Потом, как бы вспомнив, поднял недружелюбно-вопросительный взгляд на заключенного.

Как ни долго готовился к подобной встрече Леопольд, она застала его врасплох. Кроме того, его смущал этот взгляд, в котором нельзя было прочесть ни малейшего сочувствия, ни желания или способности понять... Но говорить все-таки надо было, и Леопольд начал, сбивчиво и растерянно:

— Господин бригадефюрер! Я хотел бы, чтоб меня выслушали...

Генерал сделал докучливый жест, как бы спрашивая: «А я что делаю?»

— Я — в ужасном положении, — продолжал Лео-

польд. — Уже более полгода, как арестован, сам толком не знаю, за что... Сижу в одиночке, ничего не знаю о матери, о жене и ребенке...

В этот момент зазвонил телефон, и генерал уже не в зеленый, а в синий аппарат повторил прежнюю фразу:

— Бригадефюрер Нибель слушает!

И этот разговор был коротким. Генерал, дав отбой, снова воззрился на Леопольда.

— Я уже полгода сижу, даже больше, — повторил тот, опасаясь, что Нибель не рассышал этих важных слов. Леопольду тогда казалось, что полгода для предварительного заключения — срок огромный. — Следователи не верят ни одному моему слову... Я прошу вас не рассматривать это как жалобу. Я просто констатирую факт. Но и меня надо понять... Всю свою сознательную жизнь я посвятил Германии, служению отечеству... Я был совершенно искренен, моя совесть перед родиной чиста. Если у меня и были ошибки, то...

Зазвонил третий телефон — черный — и на этот раз Нибель не был столь лаконичен.

Но Леопольд не слышал ни одного слова из его разговора, потому что лихорадочно перебирал в памяти то, что сказал и что еще предстояло сказать. Он очень досадовал на этот третий телефонный звонок, прервавший его в тот момент, когда он справился с косноязычием первых минут и начал как будто говорить то, что нужно.

Наконец Нибель положил трубку, посмотрел перед собой и, попав взглядом в Леопольда, несколько мгновений соображал, кто это такой.

Последние двое суток были тяжелыми для бригадефюрера Нибеля. В местном католическом соборе раскрыли группу, которая занималась тем, что помогала скрываться лицам, разыскивавшимся органами безопасности, в том числе и евреям, и даже кое-кого переправила за границу. Нибель сам был по рождению католиком. Хотя с момента вступления в партию он перестал посещать церковь, именно на него, как сохранившего кое-какие связи в католических кругах, возложил группенфюрер Рунге общее руководство этим делом. Несколько дней тому назад были произведены аресты, и вот уже третьи сутки шли активные допросы. К неко-

торым арестованным, в том числе к настоятелю собора, применяли третью степень. Две ночи подряд бригадефюрер почти не спал — на допросах настоятеля и двух членов приходского совета необходимо было присутствовать лично, потому что эти трое, люди старые и некрепкого здоровья, могли не выдержать и отдать Богу душу, а этого допустить раньше времени было нельзя: они слишком много знали. Правда, при допросах третьей степени по инструкции присутствовал тюремный врач, но он, если и знал что-нибудь в прошлом, — теперь уже давно все забыл.

Только что бригадефюреру по черному телефону доложили, что один из членов приходского совета начал давать показания. Ход допроса позволял надеяться, что все дело может быть полностью раскрыто уже в ближайшие дни. Это было бы здорово — благодарность из Берлина обеспечена. Надо спешить вниз. Там сейчас Шлегель, а он слишком негибок и крут. Теперь надо дать старику передышку — все равно он уже сломлен.

Тут Нибелль поднял глаза и увидел ссугулившуюся на стуле фигуру. «Это кто? Ах да, этот... как его... американец... Все к Рунге просился. Что там за ним?» Нибелль напряг память, но усталый мозг отказывался служить. Заключенный почему-то молчал.

— Ну а какие задания вы получили от иностранных разведок? — спросил Нибелль, только чтоб нарушить молчание.

Леопольд изумленно взглянул на генерала. Вопрос, им заданный, так не соответствовал тому, что все время говорил в этом кабинете Лепольд. Он ушам своим не верил. Но поймав отсутствующий взгляд бригадефюрера, Леопольд вдруг понял, что тот или не слышал вовсе его слов, или не придал им никакого значения, или после телефонного звонка забыл о них. И ему стало ясно: никакого толку от этого разговора не будет и быть не могло, ибо и этому генералу совершенно безразлично, что вот сейчас рушится последняя надежда Леопольда фон Халлера на спасение и нет бригадефюреру никакого дела до того, что где-то за стенами этого безжалостного дома остались две терзаемые отчаянием женщины, из которых одна теряет сына, а друг-

гая отца своего, может быть, еще не рожденного ребенка. Ведь не за сострадание же к чужому горю получил Нибель свой высокий чин и руководящую должность в Управлении имперской безопасности!

И поняв это, Леопольд потерял охоту продолжать свои бесполезные попытки прорваться словами если не к совести, то хотя бы к сознанию генерала. Но он все же заставил себя выдавить еще несколько слов, хотя никогда не был способен говорить в пустоту.

— Я не получал никаких заданий ни от кого. Я никогда не был связан ни с какими разведками... Я...

— Так чего же вы приехали?

В голосе генерала слышалось искреннее удивление.

— Я повторяю, я приехал с самыми чистыми, самыми святыми целями. Сколько себя помню, я всегда считал себя немцем, Германию — своим отечеством...

Леопольд было зажегся от слов, к которым никогда не относился равнодушно, но, подняв глаза, он увидел, что Нибель снова ушел в себя и не слышит его. Леопольду захотелось разбежаться и размозжить себе голову о стену. «Послушай, ну, ведь ты же человек! Был когда-то человеком... Ведь я же гибну, понимаешь? Гибну, потому что никто не хочет выслушать меня и понять, что я говорю. Ну возьми же себя в руки! Ведь от тебя сейчас зависит судьба четырех человек! Представь себе своего сына в таком положении!» Но хотя это были единственные слова, которые бы имели смысл в подобной ситуации, произнести их вслух было невозможно. И Леопольд, утратив интерес, без всякой надежды, превозмогая себя, продолжал бубнить мертвым, серым голосом:

— Мне ставится в вину любое знакомство, любые мои действия вызывают подозрения. У моих следователей нет широкого кругозора, они не понимают специфики жизни в стране с многопартийной системой... Я прошу...

Нибель был по-прежнему занят своими мыслями, и хотя слух его различал слова подследственного, смысл их не доходил до его сознания. Он взглянул на часы: прошло не пять минут, а целых восемь. Ну и задержался! Нибель нажал электрический звонок и вызвал адъютанта.

— Вот вы все это и расскажите вашему следователю, — проговорил Нибель скороговоркой. — У него широкий кругозор.

Нибель из всего, что говорил Халлер, лучше всего рассыпал это выражение, оно ему запомнилось, поэтому он не без удовольствия и вставил его в собственную речь.

— Ничего не скрывайте, — добавил Нибель, — расскажите все как было. Он поймет.

Голос Нибеля, довольно тем, что отделался от докучливой обязанности, звучал примирительно.

Вошел гауптштурмфюрер и, выведя Леопольда в приемную, сдал его под расписку конвойному.

В то время, как Леопольд переступал порог кабинета бригадефюрера Нибеля, у того на столе зазвучал четвертый телефон. Бригадефюрер снял трубку и навсегда забыл о Леопольде фон Халлере.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

|

В отделе, возглавляемом Шлегелем, произошла большая неприятность. Член антигосударственной группы, объединившейся вокруг местного католического собора, повесился в камере.

Самоубийство подследственного само по себе событие чрезвычайное, влекущее за собой целую цепь осложнений. Здесь же положение усугублялось тем, что это был как раз тот член группы, который, не выдержав допроса третьей степени, начал давать показания. Но успел он оговорить только себя. Старик обманул. Его согласие «рассказать все» оказалось просто уловкой, способом выиграть несколько часов для осуществления своего преступного замысла. Да, вот лишнее доказательство, что ни одному из них нельзя верить ни на йоту. И пощады не давать!

И тотчас перед Шлегелем возник образ Халлера.

Шлегель и сам удивлялся, почему он столько внимания уделяет этому мизерному делу. Но каждый раз, когда это приходило ему в голову, Шлегель тут же

одергивал себя. В системе Управления безопасности мелких дел нет. Самое ничтожное с виду дело о какой-нибудь глупой антигосударственной болтовне, о каком-нибудь анекдотике, рассказанном по пьяной лавочке, может привести к выявлению опасной группы врагов государства. А Халлер не прост, очень не прост. Он, безусловно, обладает большой силой убеждения. Убедил же он Беккера в своей невиновности за какие-нибудь три часа, и даже Ламсдорфа настроил в свою пользу. Нет, миндальничая, от него ничего не добьешься, он наглеет от допроса к допросу, он чувствует себя все уверенней.

Какая-то фраза Халлера на последнем перекрестном допросе была особенно возмутительна. Шлегель напряг память, но ему не удавалось ее вспомнить. Слишком много событий произошло в последнее время, неприятность следовала за неприятностью. Разве упомнишь? Говорилось так много...

Он снова задумался и вспомнил другую фразу Халлера, тоже очень неприятную: «Пусть бы все женщины были так верны своим мужьям, как мне была верна Гильда Стивенс!» Что он хотел сказать? Намекал?

Лицо Марты, всегда немного насмешливое, встало перед ним.

Да, конечно, Марта скучает. У него совсем не остается времени для нее. И сил для нее тоже не остается... Интересно, как другие? Ну, всякие там партийные функционеры, коммерсанты, интеллигентики — другое дело. У них — что за работа? Им легко, каждый вечер дома. Есть время и для отдыха, и для развлечений, и для интимной жизни с женой. Но товарищи по органам безопасности, как у них?..

Шлегель стал перебирать. Куцен — холост. Ламсдорф когда-то был женат, но давно развелся. У Беккера жена потаскуха, это все знают, только он ничего не подозревает...

А может быть, и про меня все знают и за спиной смеются? Шлегель почувствовал, как кровь приливает к голове. Лицо горело, глаза словно туман застлал. Неужели возможно? Конечно! Марте тридцать лет — расцвет, зрелость организма. Ей необходима полноценная физиологическая жизнь. Неужели без этого не обойтись?

Неужели это самое главное? Для кого-нибудь, может быть, и не самое главное, но для Марты... Если бы она пришла к нему девушки, ей не с чем было бы сравнивать. А у Марты опыт, она никогда этого обстоятельства и не скрывала. Будь она терпеливее, нежней, может быть, что-нибудь и получилось бы. Ведь прежде... Но она ничего не понимает и не знает специфики нашей работы. Разве она способна представить себе, как выматывает допрос третьей степени? Что же делать? Уйти из органов? Перейти на партийную работу? Не так-то просто. Из органов легко не отпускают, особенно того, кто окончил академию. Государство тратило на тебя средства, — их надо отработать. Да и вообще Шлегель не представлял себя вне органов безопасности. Что еще он умеет делать? После СД любая работа покажется пресной, нудной, вялой. Только власть, власть над людьми, трепет, который ты им внушаешь, дает ощущение полноты жизни. А любовь женщин? Оставим это халлерам. Но все же, неужели он потеряет Марту? Надо лечиться, надо избавиться от этой унизительной слабости, лишающей уверенности в себе, доверия к себе, отвлекающей от главного — борьбы с врагами...

Да, если бы у него с Мартой было все в порядке, он бы и с работой лучшеправлялся. А то в самые неподходящие моменты вдруг вспоминается насмешливый взгляд этих светлых, бесстыжих глаз, словно ждущих чего-то. А вдруг она была знакома с Халлером? Может быть, даже... Он ведь имел такой успех у женщин. Эта длинноногая Гильда — какие письма она ему писала! И Марта — тоже длинноногая. Любит он таких...

Шлегель представил Марту с Халлером. Не тем, который сидел на последнем допросе, — желтым, с мешками под глазами и сединой на висках, а тем, прежним, знакомым по фотографиям — лощеным, самоуверенным. Вот откуда у него самоуверенность — женщины! Он знает, как с ними обращаться. Понравился бы он Марте? Наверное, понравился бы, ей много не надо. Женщины — розовые обезьяны. Кто это сказал? Вейнингер. Кажется, еврей, но мысль правильная. И Марта — обезьянка. Что ей до наших идеалов, до нашей борьбы?

Да, конечно, вот откуда у Халлера этот апломб, который даже месяцы заключения не стерли. Как высоко-

мерно он сказал Беккеру: «Я и не ожидал, что вы поймете!» Вот она, эта фраза, которую никак не удавалось вспомнить. Подумаешь: не ожидал, что поймете! Понимаем, все понимаем! А вот ты не понимаешь. Ты настолько самоуверен, что не понимаешь главного и очевидного: тебе следовало прятать свою ненависть к нам, свое презрение, а ты этого не делал. Не сумел. Ты только с Гильдами, с Мартами знаешь, как держать себя. Но теперь ты имеешь дело с нами. И ты увидишь, что это значит. Уже на следующем допросе...

Но следующий допрос состоялся нескоро — дело католической организации отнимало все время и внимание.

Конечно, больше всех пострадала администрация внутренней тюрьмы, на которую возложили ответственность за самоубийство заключенного. Но были большие неприятности и у Шлегеля за то, что он приказал прекратить допрос и отправить в камеру заключенного, начавшего давать показания. Шлегель не без основания считал, что Куцен подложил ему большую свинью, заставив писать объяснительную. На бумаге не напишешь всего, но ведь и Куцен и Нибель прекрасно знали, в каком состоянии находился старик после применения некоторых спецметодов активного допроса. Пауза была необходима, иначе старик мог умереть на месте. Во время перерыва его надо было привести в относительный порядок, подлечить. А эти тюремные растяпы проворонили, и старик повесился. И как сумел разорвать простыню, ведь на ногах не держался! Все-таки — обманул, ушел от правосудия... Зато не ушел священник, не ушли остальные. Дело пришлось заканчивать форсированными темпами. Двое казнены, другие в лагере, одном из тех, откуда не выходят. Туда им и дорога!

В глубине души Шлегель сознавал, что многое осталось невыясненным — все-таки очень важные сведения унес с собой повесившийся старик. Но добиваться полной ясности, выявления всей картины преступной, антинародной деятельности группы церковников уже времени не было. За делом следили в Берлине, и тут уж и Шлегель, и Куцен, и даже Рунге, не говоря о Нибеле, осуществляющем общее руководство расследованием,

были заинтересованы в одном: представить все возможное гляже и благополучнее.

Так что в отношении центра обошлось, и даже была получена благодарность, хотя и без премий. Этим высокое начальство показало, что самоубийство не забыто. Когда-нибудь, если споткнешься на чем-нибудь важном, — припомнит и это... Да, нелегка работа в органах имперской безопасности. Нелегка, но почетна.

А с Куценом общаться стало еще труднее. На первом же совещании после завершения дела церковников Куцен повернулся к Шлегелю и язвительно спросил:

— Ну как у вас там этот марафонский бег на месте?

Шлегель прекрасно понял, что имеет в виду начальник, но показать это значило признать правомерность насмешки, да еще при посторонних, при Ламсдорфе. Поэтому он отозвался вопросом:

— Что вы имеете в виду?

Он был уверен, что Куцен не станет уточнять, когда у него сидит столько народу. Но Куцен пошел на это. Взглянув Шлегелю прямо в глаза и обнажив в привычной своей улыбочке мелкие, ослепительно-белые и ровные зубы, он сказал коротко:

— Дело Халлера!

Шлегель немного помялся и ответил:

— Все в порядке. Разрешите доложить?

Докладывать в такой обстановке не полагалось, и своим вопросом Шлегель показывал Куцену неуместность и несвоевременность затеянного разговора.

— Останетесь и доложите! — сухо бросил Куцен, и в его янтарных глазах обозначилось загустение, которого так боялись все, хорошо знавшие начальника следственного отдела. Шлегель опустил глаза — встречаться взглядом с Куценом было не слишком приятно.

Хотя Шлегель и был готов к тяжелому разговору, но все же никак не ожидал, что начальник воспротивится применению третьей степени к Халлеру. А Куцен был против, и притом категорически.

Доводы его ничего нового не представляли.

— Вы прекрасно знаете, Шлегель, что санкция на допрос третьей степенидается только в случаях, когда имеются веские данные для подозрения или подследственный, уже уличенный, отказывается назвать соучаст-

ников или пытается запутать следственные органы, и тем тормозит раскрытие преступления в полном объеме. У вас с Халлером такая ситуация? Где ваши веские данные?

«Подумаешь, какой законник! А когда каблуком пальцы раздробил еврею-валютчику — где твои законы были?» — подумал Шлегель, но вслух произнес только:

— Веские данные появятся, как только мы применим спецдопрос.

— Вы это говорили и раньше. Сколько времени, как вы забрали Халлера у Ламсдорфа?

— Четыре месяца...

— Четыре месяца и восемнадцать дней, — поправил Куцен строго, и Шлегель в очередной раз поразился памяти начальника. — Почти пять месяцев вы мусолите дело, и куда вы пришли?

— Если б он поступил сразу ко мне, я бы давно добился нужных результатов.

— А я не уверен, что вы бы добились и того, что выжал из него Ламсдорф.

Это был открытый упрек. Так еще Куцен с ним никогда не разговаривал. Шлегель побледнел. Что это? Просто результат плохого настроения или предвестие еще больших неприятностей? Но времени раздумывать не было. Подавив обиду, чувствуя холодок от ощущения неопределенной опасности, возникшей столь неожиданно, Шлегель спросил официальным тоном:

— Значит, вы запрещаете применять допрос третьей степени к фон Халлеру?

— Ни запрещать, ни разрешать я неполномочен, — столь же официальным тоном ответил Куцен. — Я могу войти с ходатайством от вашего имени, Шлегель. Но не думаю, что группенфюрер санкционирует. В особенностях сейчас...

Куцен сделал выразительную паузу, но поняв, что разговор складывается слишком уж круто, перешел на более доверительный тон:

— Время выбрано неудачно. А, впрочем, если хотите, можете обратиться лично. Я не возражаю.

— Было бы лучше, чтоб шло по инстанции, — заметил Шлегель, и Куцен понял, что тот все-таки хочет вовлечь и его.

— Это исключается! — бросил он категорично.

— Но если я войду с личным ходатайством, все равно спросят ваше мнение. Вы поддержите?

Шлегель сыграл в открытую, потому что ничего больше не оставалось.

Куцен на минуту задумался и ответил:

— Нет!

Шлегель понял, что ничего, по крайней мере в ближайшее время, не добьется. Нужно кончать этот неприятный разговор.

Он встал и обратился по всей форме:

— У меня все. Разрешите идти?

Куцен молча кивнул головой. Когда Шлегель был уже в дверях, он, словно только сейчас вспомнив, позвал его своим высоким, молодым голосом:

— Да, Шлегель!..

Тот остановился и повернулся выжидательно.

— Сколько вам еще понадобится времени?

Этот вопрос застал Шлегеля врасплох. Все же он не думал, что его буквально за горло возьмут. Чтобы получить хоть несколько секунд на размышление, он спросил:

— На Халлера?

— Ну а на кого же?

Шлегель совсем растерялся.

— Не знаю... — сказал он в замешательстве. Все свои расчеты он строил, исходя из того, что сегодня же ночью начнет допрашивать Халлера по-настоящему и тогда недели за две, ну, максимум за три, дело будет кончено. А теперь... — Не знаю. Месяца два понадобится, наверное.

Куцен внутренне усмехнулся: «Продешевил». Он собирался дать три месяца, но раз тот сам назвал два, пусть будет так.

— Два месяца? — Куцен сделал вид, что взвешивает слова Шлегеля, подняв при этом свои короткие, но густые рыжие брови на самый лоб. Они вообще были у него необычайно подвижны. Он выждал некоторое время и потом, неожиданно для Шлегеля, согласился: — Даю два месяца. Но ни дня больше! Ясно?

Шлегель наклонил голову, не забыл щелкнуть каблуками и вышел.

Куцен некоторое время сидел, раздумывая. Правильно ли он сделал? Может быть, стоило разрешить? Нет. Не время. Шлегель меры не знает, ему только развязки руки, уж он пойдет. Еще опять искалечит. А вернее всего, Халлер быстро заговорит, а так как говорить ему, собственно, нечего, то он сочинит такой роман, что потом в год с этим делом не разделешься. Все сроки пройдут, а это — выговор. Нет, пусть так кончает. Лет на десять, пожалуй, материалу там есть. Ну и хватит с Халлера. Останется жив — его счастье. Все равно война неизбежна, переводчики понадобятся, тогда выпустим. А пока пусть сидит, не он первый, не он последний.

Шлегель не умел думать на ходу. Пока он шел по коридору, все было нормально — внешние впечатления отвлекали. Но когда он вошел в кабинет и уселся за свое рабочее место, им овладели невеселые мысли.

Он не был суеверным и втайне удивлялся, как фюрер может верить гороскопам, тратить время на гадалок, на астрологию. Но сейчас и он задумался. Как-то уж очень неудачно все складывалось в последнее время. Сперва сломанная рука учителя-коммуниста, а теперь этот повесившийся католик.

«Нам не нужны в лагерях инвалиды-нахлебники. Каждый заключенный должен вдвое, втрое отрабатывать те расходы, которые несет государство по его содержанию». Эти слова были сказаны самим Рунге на совещании коллегии Управления и обращены непосредственно к Шлегелю. «Я ценю вашу бескомпромиссность, оберштурмфюрер Шлегель, и только потому нахожу возможным оставить разбираемый случай без последствий. Но пусть он послужит вам предостережением. Сотрудник органов безопасности должен уметь работать чисто и четко!»

Многое в этой внешне доброжелательной тираде уже внушало тревогу. Во-первых, тот факт, что всегда очень точно подбирающий выражения Рунге упомянул не общевоинское звание Шлегеля — обер-лейтенант, а то, которое ему соответствовало в СД и СС — оберштурмфюрер. Это надо было понимать как явное напоминание: ты на службе в органах безопасности, и эта служба не терпит ни малейшей оплошности. Нет ничего лег-

че, как из положения следователя перейти в положение подследственного... Во-вторых, упоминая его звание, в то время как всех подчиненных, даже генералов Рунге просто называл по фамилиям, он как бы напоминал, что должность одного из заместителей начальника следственного отдела при столь незначительном чине — большая честь и доверие, которые еще надо оправдать... В-третьих, фактически сделанное предупреждение, да еще в присутствии членов коллегии, следует расценивать как первый звонок и, конечно же, это не может не подорвать в какой-то мере его авторитет среди товарищей.

В общем, впервые за три года работы в этой должности Шлегель почувствовал, что под ногами скользко. Нужно устоять во что бы то ни стало, надо удержаться, остаться в этом кабинете, а то плохо будет. У него много врагов, много завистников. Ничего не стоит состряпать дело.

Та же сломанная рука учителя. Шлегель задумался. Что он сам бы инкриминировал следователю, которого решено было бы убрать?

Ну, прежде всего, превышение власти. С этого можно было бы начать. Для ареста — достаточно. А там, смотря по обстоятельствам... Можно, например, пришить «причинение экономического ущерба государству». Это уже статья политическая.

«Какой же экономический ущерб я причинил?

— Как — какой? Твой бывший подследственный — коммунист, преступник, но он все же немец? Не на свободе, так в лагере его заставили бы работать, приносить пользу рейху. А ты его превратил в калеку. Это ли не экономический ущерб?

— Но я же не хотел этого! Я хотел добиться от него...

— А нам какое дело, чего ты хотел, чего не хотел. Ведь искалечил же? Так отвечай!

— Но ведь я стремился добиться от него признания!

— Что ты там стремился, нам неизвестно. А что ты сделал, мы знаем: совершил преступление.

— Но ведь у меня заслуги перед рейхом. Вы же знаете мое безупречное прошлое!

— За прошлое — спасибо, а за новое — отвечай!»

Шлегель усмехнулся, но невесело. Да, вот так бы он сам повел допрос подобного следователя, и никуда бы тот не делся. Какая же гарантия, что Рунге после совещания не приказал кому-нибудь задержаться и не поручил заняться разработкой дела Шлегеля именно в таком аспекте?

При этой мысли неприятный озноб прошел по телу Шлегеля.

А с самоубийством церковника и того хуже. Тут уж так и напрашивается статья о саботаже («саботаж следствия»), о «попустительстве врагам государства», откуда недалеко и до «соучастия». А это верный расстрел, может быть даже повешение, потому что участие сотрудника СД в антигосударственной группе вполне может быть квалифицировано как измена родине. Он и сам бы так квалифицировал. Только так. Неужели по зорная смерть угрожает ему самому? Всем, всем она угрожает. И хорошо бы, если б только казнь, сразу казнь, а ведь что будет до нее...

Неужели все это реально? Он пытался взять себя в руки и трезво взвесить все обстоятельства.

Нет, конечно, реальной опасности пока нет, он слишком уж дал волю воображению. Нервы, нервы... Блезнь века! Такое случиться не может. Не с ним, во всяком случае. Даже и думать об этом не стоит. Но надо держать ухо востро. Сорваться так легко. И все этого ждут, все. Никому верить нельзя. Эх, хорошо бы оказаться где-нибудь подальше. В Аргентине, что ли? Или в Австралии? Там, говорят, все по-другому: говори — что хочешь, пиши — что хочешь, думай — что хочешь. Впрочем, ерунда. Разве это годится, чтоб каждый говорил что хочет? Такого наговорят! Да и там не все так гладко, как издали кажется. Тоже должен быть аппарат принуждения. Без террора власть не удержиш. Людей надо держать в страхе, не то потянут кто в лес, кто по дрова. Не будет единства.

И стоило Шлегелю подумать о заморских странах, как опять вылез Халлер. И не такой, как сейчас, — обломанный, обтрепанный, сгорбившийся на своем табурете, а тот, прежний, лощеный и беззаботный, и опять

рядом со своей длинноногой любовницей. Халлер потянул за собой Марту с ее насмешливой улыбкой и увиливающим взглядом, будто что-то знающим и скрывающим. Но почему, черт возьми, Халлер и Марта в последнее время связываются в его сознании? Был все-таки Халлер любовником Марты? Вряд ли... За ним много месяцев велось наблюдение, все его знакомства как среди мужчин, так и среди женщин зафиксированы. Нет, конечно, вздор. Где им было познакомиться? И все же хорошо бы показать ей нынешнего Халлера!

Но что с ним делать, с Халлером? Как вынуть эту занозу?

Если даже Ламсдорф ничего серьезного не добился... Неужели он выскочит? Куцен считает, что в его деле на десять лет хватает, но Куцен поверхностно знает его дело. Нет там на десять лет, нет там и на пять. Ничего там нет. Неужели в своей Америке он преданно служил рейху? Зачем ему это надо было? Какую выгоду давало?

И куда клонит Куцен? Почему защищает Халлера?

Спустить бы его в подвал, вызвать спецкоманду да обработать как следует, через четверть часа бы заговорил.

А что бы сказал? Есть ли ему что говорить?..

Ну, там есть или нет, а говорить бы пришлось. Надо еще раз внимательно пройтись по всему делу, на это уйдет дня два. А потом начать серию беспрерывных допросов: днем и ночью, днем и ночью. И пусть все время стоит, по десять-двенадцать часов стоит. Небось, не обрадуется. Стояние больше шести часов подряд уже считается третьей степенью, но тут можно обойтись без санкций. А допросы вести днем и ночью. Главное — не давать спать.

Но в глубине души Шлегель сознавал, что бессонницей Халлера не возьмешь. Спать ему и Ламсдорф не давал целый месяц, сам измотался вконец, а результат добился мизерных. Нет, лучше заставить стоять. Это более эффективно. Ну, и потом еще кое-что...

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Как-то в воскресенье утром, вскоре после оправки, бесшумно открылась дверь — или это только показалось, что бесшумно, потому что он в ожидании завтрака задремал, — и пожилой конвойный, осведомившись о фамилии, отдал лаконичный приказ:

— С вещами на выход!

И после небольшой паузы добавил ставшее привычным:

— Быстро!

Такие понукания давно не оказывали на Леопольда никакого действия — спешить ему было некуда, и он это показывал дежурным конвойным всем своим видом.

Но сегодняшний приказ прозвучал по-новому. «С вещами!» Что это могло значить? Но мысли о том, что его освобождают, не было. После всех переживаний последних недель он больше не надеялся ни на что хорошее. И все же было интересно, что значит новое распоряжение.

Конвойный повел Леопольда привычным путем — вдоль одного коридора, потом другого, но затем сделал неожиданный поворот влево, в малозаметный боковой отсек и тут же остановился у запертой двери. Сверившись по бумажке с номером — это была цифра 35, — он отпер большим ключом замок, отодвинул засов и жестом показал Леопольду, чтоб входил.

Леопольд переступил порог и оказался лицом к лицу с пожилым, интеллигентного вида человеком с темными, опущенными книзу усами и внимательными глазами, которыми тот с любопытством смотрел на вошедшего.

— Здравствуйте! — сказал Леопольд. — Меня зовут Леопольд фон Халлер.

Он сделал учтивый полупоклон — только головой, как и уместно было при случайном знакомстве, в случайном месте, даром, что место это — тюрьма.

— Шульц, — коротко отрекомендовался человек и с приветственным движением руки добавил так, будто

дело происходило где-нибудь в кафе, в купе вагона или даже у него дома. — Располагайтесь! Эта — свободна.

Леопольд положил узел с вещами на левую от входа койку и, не садясь, огляделся. Первое, что он ощущал, еще не разглядев ничего, — это свежий воздух, и, предавшись зрительным впечатлениям, сразу же обнаружил его причину: окно! За месяцы, проведенные в одиночке специального режима, он уже отвык от вида окна и теперь воспринимал его как нечто невыразимо прекрасное, какую-то незаслуженную награду, которую неизвестно чем заслужил и теперь боишься, чтоб не отняли. Окно было небольшое, квадратное, забранное толстыми решетками и отгороженное от внешнего мира неким подобием ширмы из жести, начинающейся с наружной стороны подоконника и немного отходящей кверху. Из загороженного таким образом окна ничего не было видно ни вниз, ни прямо, но зато видно было небо. И сегодня оно показалось Леопольду особенно ясно-синим, глубоким и спокойным, без единого облачка, и, прильнув к окну, вцепившись обеими руками в решетки, начинавшиеся выше уровня его плеч, Леопольд подумал, что таким он неба еще не видел и что смотрел-то он до сих пор на него, только когда пытался определить, будет ли дождь и не помешает ли он предстоящему пикнику или спортивному состязанию.

Чистый воздух свежими струями овевал его голову, приятно холодил лоб и шею, сладко вливался в грудь и наполнял все существо давно утраченным ощущением полноты и цельности жизни, переходившим почти в физическое блаженство. И ощущения эти порождали сознание, что вопреки всему жизнь его продолжается и, даст бог, все может еще поправиться.

— Сегодня прохладно. Вы лучше не стойте долго у окна. Так простудиться можно, — проговорил сзади голос, звучавший мягко, но нестерпимо прозаично. Смысл слов, однако, был настолько убедителен и благожелателен, что спорить не приходилось.

Поэтому Леопольд обернулся и сказал со всей возможной приветливостью:

— Я так долго не видел неба, что не прочь рискнуть!

Человек с темными усами улыбнулся:

— Еще успеете наглядеться. Делать-то больше нечего.

— Вы правы! — рассмеялся Леопольд и вдруг, резко заборвав смех, задумался. Ему пришло в голову, что ведь сейчас он смеется впервые за все эти месяцы. Как странно! Разве можно было себе представить в прежней жизни, что будешь жить без смеха, что забудешь о нем? А вот жил же!

Леопольд чувствовал себя в эти минуты очень хорошо: новая, чистая и опрятная камера, свежий воздух и, судя по первому впечатлению, симпатичный компаньон, с которым можно будет поговорить. Только в одиночке Леопольд понял, какое благо — общение с людьми. Да к тому же до завтрашнего дня — целые сутки! — можно не ожидать допроса. Леопольд научился ценить каждый благополучный час и не поддаваться томлению ожидания раньше времени.

— Вы из какой камеры? — спросил Шульц.

— Из семьдесят восьмой.

Шульц понимающе и сочувственно кивнул головой.

— Знаете?

Шульц грустно усмехнулся.

— Я здесь все знаю. Второй год сижу.

Леопольд ужаснулся: значит, не обманывал Ламсдорф, когда пригрозил: «Вы год просидите, два просидите, все равно все скажете!» Он тогда представить себе не мог, что можно держать человека под следствием, не предъявляя ему конкретного обвинения, даже три месяца. Через сколько времени после ареста представляется в суд человек в правовых государствах? Кажется, через сорок восемь часов. Ну, обычно, суд удовлетворяет просьбу следственных органов и слушание откладывает, но в целом срок следствия после ареста не должен превышать двух-трех месяцев. А здесь... Вот этот сидит второй год — почти вдвое больше, чем я. Неужели мне предстоят еще долгие месяцы следствия, ночные вызовы, издевательства, всю душу наизнанку выворачивающие вопросы следователей, насмешки, многочасовые стояния, после которых пятки жжет словно огнем и ни согнуться, ни разогнуться? А главное, — унизительный, иссушающий страх, что будет еще хуже.

— Неужели так долго могут держать? — вырвалось

у Леопольда. От испытанного только что подъема и следа не осталось.

— Могут и дольше, — снова невесело усмехнулся Шульц. — А вы, что, недавно здесь?

Леопольд сообщил дату ареста.

— Ну, это срок детский. Хотя все зависит от того, в какой стадии ваше дело. У вас какая статья?

Леопольд назвал статью и тут же, испугавшись, как бы Шульц не подумал, что он считает обвинение правомерным, добавил:

— Но я не виновен! Я не совершил никакого преступления.

Шульц в третий раз невесело усмехнулся:

— Все так считают...

Леопольд вопросительно посмотрел на него, и тот пояснил:

— Все, кто здесь сидит... А кто сидит там, — он глазами показал наверх, — те, наоборот, считают, что все виновны.

Леопольд пожал плечами: мол, мало ли что они считают, но Шульц, уловив это движение и правильно его поняв, добавил:

— Решают-то ведь они!

— Но есть же суд! — запальчиво возразил Леопольд.

— Ну и что? Вы думаете, что суд это не они? Не их суд?

— Нет, суд — дело другое. Там будет защитник, публика, наконец. Там можно говорить, и тебя будут слышать многие, а не один только следователь. Люди, десятки людей...

— Спецсуды идут при закрытых дверях. Посторонних не допускают. И потом... — Шульц сделал паузу и пристально посмотрел прямо в глаза Леопольду. — Надо ведь еще попасть в суд.

— То есть как? Я вас не понимаю...

— Чего ж тут не понимать? Дело известное: кого в суд, кого на комиссию.

— Куда, куда?

— На комиссию.

— Это еще что такое? Что за комиссия?

Тут уж удивился Шульц.

— Вы что, с луны свалились? Про комиссию никогда не слышали?

— Какая комиссия? Объясните же!

— Ну, специальная юридическая комиссия Имперского управления безопасности. Ей пересыпают ваше дело, все материалы. Она и решает...

— Позвольте, а как же я?

— То есть как — вы? Как все. Будете здесь сидеть и ждать решения. Придет приговор, вас вызовут и объявит.

Леопольд ушам своим не верил. Такого и в средневековье не бывало! Никакой Чингисхан не додумался до того, чтобы судить человека за глаза, даже не выслушав его. Этого быть не может! Этот человек — провокатор. Меня нарочно к нему подсадили. Даже фамилию себе не потрудился придумать — взял самую распространенную. Как из учебника арифметики: «Шульц продал Шмидту шесть кусков шелку. В первом было на шестнадцать метров меньше, чем во втором. В третьем...»

Леопольд собрался с мыслями и решил, что надо взять себя в руки. Спокойствие, выдержка, немногословие...

— Вы меня извините, — начал он медленно, стараясь говорить конкретно и вместе с тем категорично. — То, что вы говорите, — немыслимо. Я, наверное, неправильно вас понял.

Шульц смотрел на Леопольда с плохо скрытой насмешкой.

— Нет, действительно, вы если не с луны свалились, то, вероятно, приезжий. Кто же в Германии не знает про специальные комиссии?

Так, значит, это — правда? Последние слова и, главным образом их тон, сразу убедили Леопольда.

— Вы угадали. Я действительно приезжий. Расскажите, пожалуйста, что это за комиссии?

Леопольд полностью капитулировал, не забывая все же о необходимости соблюдать осторожность.

— Так, собственно, рассказывать больше и нечего. Некоторые политические дела направляются в специальные суды. Это чаще всего дела групповые, где есть свидетели, вещественные доказательства, ну там и про-

че. В общем, где вина установлена безоговорочно. Другие дела, где свидетелей нет или их показания мало что дают, где обвинение опирается в основном на признание самого подследственного, от которого он на суде мог бы отказаться... — Шульц помялся, подбирая выражение, не нашел и продолжал:

— Ну, в общем, вы понимаете меня?

Леопольд в эту минуту еще не понимал, но, чтоб не отвлекать собеседника, кивнул утвердительно.

— Ну вот... на показаниях самого обвиняемого, данных на следствии... или... или... на интуиции следователя... Такие вот дела чаще всего передаются на рассмотрение специальной комиссии.

— А если нет признания? — не утерпел Леопольд.

Шульц с сомнением покачал головой

— Это маловероятно...

«Небось — признаешься!» — говорил тон его последних слов, и вот сейчас Леопольд понял, что имел в виду Шульц, когда говорил о возможном отказе подследственного от своих показаний.

— Но ведь может же быть такой случай? — задал вопрос Леопольд в надежде получить какой-нибудь ответ, который укрепил бы его.

Шульц развел руками:

— Теоретически допустить можно... Но на практике... — и, неожиданно улыбнувшись, добавил, отчеканивая слова, явно подражая кому-то: — Органы имперской безопасности ошибок не совершают!

«Нет, он не провокатор,— подумал Леопольд.— Тот бы вытягивал из меня, а этот говорит сам, и притом достаточно осторожно. Надо рассказать ему мою историю, интересно, что он скажет. Человек он опытный».

Словно идя навстречу желанию Леопольда, Шульц спросил:

— А в чем именно вас обвиняют?

— Да в том-то и дело, что ничего определенного. Я ведь — вы это правильно подметили — нездешний. Я — немец, но родился за границей. Впервые приехал на родину три года назад. Недавно начал работать, женился, жена ждет ребенка. И вот... все рухнуло. Подозрительность, недоброжелательность — вот что хуже всего. Любой мой шаг за границей вызывает подозре-

ние, истолковывается превратно. Если бы вы знали, как это тяжело, как это обидно! Я ехал с чистым сердцем. Все так ехали... Вот иногда думаю, перебираю в уме тех, кто приехал, так же как я, и ни одного человека не могу заподозрить в нехороших намерениях. Конечно, теоретически надо допустить, что кто-то был заслан как шпион — ведь многие приехали. Но, даю вам честное слово, я не знаю ни одного, на кого с малейшей долей основания мог бы подумать... — Леопольд на несколько мгновений замолчал, вновь перебирая в уме знакомых.— Нет, никого такого я не знал. Не могу себе представить. Да ведь, кроме всего, это значит идти на верную гибель. Кому это нужно?

Шульц не перебивал, но, казалось, и не проявлял особого интереса к рассказу. Он откинулся к стене, положил ногу на ногу и смотрел мимо Леопольда, лишь время от времени бросая на него быстрый, внимательный взгляд.

А Леопольд, впервые за несколько месяцев получив собеседника, впервые за это время чувствуя себя в равном положении с тем, с кем общается, несмотря даже на тяжелое впечатление от известия, что под следствием можно просидеть и два года, — испытывал большой душевный подъем. Имея в лице Шульца интеллигентного и, по всей видимости, доброжелательного слушателя, Леопольд говорил и говорил. Он рассказывал всю свою жизнь с самого детства, описывал милый тихий город, где родился и провел первые годы жизни, патриархальный, истинно-германский быт своей семьи, перечислял своих школьных товарищей. Лишь один раз он споткнулся — когда назвал среди самых близких Эйба Голдберга. Но Шульц не обратил внимания на еврейское имя. Потом Леопольд рассказывал о студенческих годах, о работе в газете, и власть недавнего прошлого оказалась столь сильна, что в эти минуты он снова чувствовал себя тем преданным новой Германии зарубежным немцем, который был готов на любые лишения, любую жертву, лишь бы чем-то быть полезным своему далекому отечеству, которое он любил тем сильнее, чем меньше знал.

Шульц теперь не сидел равнодушно, глядя куда-то мимо. Он склонился в сторону говорящего, сцепил ру-

ки вокруг колена и пристально смотрел в лицо Леопольду. Его заинтересовал рассказ и трогала горячая, негладкая, порою сбивчивая, но яркая и — это он чувствовал безошибочно — искренняя речь молодого человека. Не все в этой исповеди было ясно до конца, но он решил, что сейчас перебивать не стоит. Сидеть им вместе не день, не два, обо всем можно будет расспросить попозже.

II

Постепенно рассказ Леопольда иссяк, хотя и вспыхивал еще время от времени, подобно затухающему костру, дополнительными подробностями, колоритными эпизодами, отрывочными воспоминаниями.

Наконец установилось полное молчание. Леопольд вопросительно смотрел на Шульца, но тот, казалось, не собирался ничего говорить.

— Ну, что вы скажете? — не выдержал в конце концов Леопольд.

Ему было крайне важно узнать мнение этого человека — ведь он первый, кто оказался посвященным в то, что произошло с Леопольдом после ареста.

Шульц в раздумье покачал головой.

— Не знаю, — он развел руками, — если за вами только то, что вы рассказали, опасаться вам нечего. Состава преступления в ваших действиях нет. Я немножко знаю законы. Сажать вас не за что. Разве что сошлют...

— А то, что я признал себя виновным?

— Да, это осложняет положение, но не очень... Суд такого дела не примет. Комиссия — да. Там могут и срок дать, но небольшой.

— Сколько?

— Ну, лет пять...

Леопольд уже привык к мысли, что на волю отсюда выхода нет, и эта цифра не испугала его. Предварительное заключение, вероятно, зачтут, могут и сбазить за хорошую работу в лагере, за дисциплинированное поведение. Да, если б пять лет, если б только!.. Надо надеяться, для надежды есть основания.

— Скажите, а что с вами случилось? За что вас... —

спросил Леопольд, оторвавшись, наконец, от мыслей о собственной судьбе.

Шульц огорченно махнул рукой.

— Эх! Я сам виноват... По глупости влип...

Он замолчал и некоторое время смотрел в пол. Леопольд с интересом ждал, не решаясь, однако, прерывать молчания. Кто знает, может быть, покажется подозрительным, если будешь проявлять излишнее любопытство. Но так как Шульц продолжал молчать, то Леопольд решил, что вежливость требует все же выказать интерес. Ведь слушал же Шульц часа два, если не больше.

— Какая-нибудь неприятная история?

Леопольд составил фразу так, чтобы показать, что он и мысли не допускает о чем-нибудь серьезном.

— Если бы только история,— печально и как-то беспомощно улыбнулся Шульц.—Втянули меня в организацию...

Леопольд удивленно вскинул голову: так, значит, бывают все-таки организации, бывает что-то настоящее? Это даже обрадовало его. Раз бывают серьезные дела, значит у них нет времени, во всяком случае не должно оставаться ни времени, ни желания заниматься вздором, таким, как его собственное «дело». «Вы ищете врагов государства? Вот вам настоящие враги, с ними и боритесь!» — мысленно обратился Леопольд почему-то к Нibelю, но тут же одернул себя, как будто не в мыслях, а на самом деле толкал их в сторону Шульца. Леопольд старался подавить в себе это настроение, но оно все время возвращалось. «Да что я, в конце концов, себя мучаю? Не я же вовлек его в эту организацию! А сейчас — какой ему вред от моих мыслей?» И все же у него оставалось неприятное ощущение, что он как бы пытается получить облегчение за счет несчастья другого.

Шульц заметив впечатление, которое его слова произвели на собеседника, но неправильно истолковав природу замешательства Леопольда, поспешил уточнить:

— Собственно не организация, конечно, в точном смысле... Так, группа... Антигосударственная...

— Чем же вы занимались?

— Да ничем, в общем-то... — неохотно процелил

Шульц. — Собирались, болтали лишнее. Глупо, конечно...

Странное впечатление начинало складываться у Леопольда от этого разговора. С одной стороны, Шульц мялся, выдавливая из себя какие-то невразумительные полуфразы. С другой, по лицу его видно было, да и по тону чувствовалось, что ему тоже хочется рассказать все подробно и что он ищет такой возможности.

Леопольд не знал, как себя держать. Теперь, когда Шульц чуть приподнял занавесу, не попытаться даже заглянуть за него, было никак нельзя. Это показалось бы подозрительным. Но не будет ли еще более подозрительным, даже опасным, проявить повышенный интерес? Все же надо быть осторожным. Кто его знает, этого Шульца, что он за птица! Да, может быть, и разговор-то подслушивается.

Наконец он решился.

— Но какие же цели ставила ваша группа? — спросил Леопольд, придавая своим словам возможно более нейтральный тон. «Надо так с ним разговаривать, чтобы сам Рунге, слыша нас, не нашел бы мои слова предосудительными».

— Ничего определенного...

— Вы меня извините, — потерял Леопольд терпение, — я ничего не понимаю! Что же это за группа?

(Эх, лишнее! Этот последний вопрос — лишний! Получается, будто я недоволен тем, что их группа не проявляла активности. Ламсдорф бы обязательно так сформулировал).

— А вы думаете, я понимаю? — со смущенной улыбкой ответил Шульц, и Леопольд удовлетворенно отметил, что его неосторожные слова не привлекли внимания собеседника. — Ведь как все получилось-то?

Шульц снова сделал паузу, но теперь уже видно было, что он сейчас начнет рассказывать, и Леопольд в предвкушении интересной истории, даже позу переменил, чтобы удобнее было слушать.

— Последние годы я работал на юге...

— А какая у вас специальность?

— Я бухгалтером работал. У меня есть еще специальность, но были неприятности, ту работу я бросил. А бухгалтерия — дело спокойное. Я уехал туда... — он

назвал маленький городок в предгорьях баварских Альп, — семья здесь оставалась. Ну, вы знаете, захолустье. Интеллигентных людей раз-два и обчелся. Составился у нас кружок. Играли в карты по маленькой, в шахматы. Пиво пили. Там пиво крестьяне сами варят: крепкое, душистое. Баварцы — сами знаете — народ основательный, неторопливый. Пили мы, признаться, здорово. Да и то сказать, работу кончаешь, впереди длинный вечер, развлечений — никаких. Даже кино нет. Пивная всего одна, и там вечно полно народа, не пропадаешься. Мы по домам собирались. То у меня, то у директора местной школы, то у врача. Ну и разговоры, конечно, бывали. Я-то больше помалкивал. Береженого, знаете, бог бережет... Да вот не уберегся. Один раз — я уже больше года там жил, скоро семья должна была приехать — они мне предлагают вступить в их организацию... то есть группу...

Шульц замолчал и снова уставился в пол. Лицо его выражало огорчение. И еще что-то было в этом немолодом, одутловатом лице с набрякшими веками и обвисшими усами. И несмотря на то, что второе выражение, как бы только пропустившее из-под первого, вызывало смутное ощущение неуверенности и даже подспудной тревоги, Леопольда охватила жалость к пожилому, подавленному и растерянному человеку, попавшему в непоправимую беду. Надо было что-то сказать, тем более что Шульц молчал, как бы призывая Леопольда выявить свое отношение к услышанному. А тема была скользкая, и напряженное молчание становилось двусмысленным.

— Но разве не могли вы отказатьсь? — придумал, наконец, безопасную реплику Леопольд. Слова эти показались, однако, ему самому жестокими. Жалко все-таки человека. Шульц развел руками:

— Не сумел! То есть я сперва было отказался, но они мне пригрозили. Директор школы, тот прямо сказал, что раз они открыли карты — у меня выбора нет. Если откажусь — они меня устроят. Пришлось подчиниться. А что бы вы сделали на моем месте?

Вопрос был неожиданный и крайне неприятный, потому что предполагал один-единственный лояльный ответ: «Сообщил бы, куда следует». А Леопольд даже

предположительно не мог себя представить в роли доносчика и не чувствовал себя в силах, даже, покривив душой, сказать, что пошел бы и донес. Поэтому, сделав вид, что задумался и на последние слова внимания не обратил, он заговорил о другом:

— Да, но все-таки... Ведь вы же все взрослые люди. Группа существовала, значит, она что-то делала или собиралась делать?

Леопольд понимал, что ставит собеседника в нелегкое положение, но он был сердит на Шульца за его вопрос и как бы мстил ему сейчас своим вопросом. Вот теперь пусть выкручивается.

Шульц сказал:

— Он дал понять, — я говорю о директоре,— что связан с англичанами...

— С англичанами? — удивился Леопольд.— Что им надо в таком захолустье? Там что, были какие-нибудь объекты поблизости, которые могли бы их интересовать?

— Нет, как будто ничего не было.

— Так что же все-таки вы делали? — допытывался Леопольд, и тут ему пришло в голову, что теперь уже Шульц имеет основания подумать о нем нехорошо. Он чуть не засмеялся при этой мысли. А, впрочем, пусть боится меня. Не будет затевать таких разговоров.

— Он сказал, что мы должны быть наготове...

— К чему?

— Ну, к войне...

— Да какая там война? Они сидят на своих островах и нос высунуть в Европу боятся!

Леопольд всегда недолюбливал Англию и последние слова произнес совершенно искренне.

Шульц улыбнулся и хотел что-то сказать, но в это мгновение открылась форточка и голос из коридора кратко возвестил:

— Обед!

Оба заключенных, прихватив глиняные миски, заспешили к форточке, через которую им налили по черпаку похлебки.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Так же неожиданно и внешне необъяснимо, как все, что здесь с ним происходило, в положении Леопольда обозначилось какое-то облегчение.

Его по-прежнему вызывали довольно часто, но не всегда к Шлегелю, а к каким-то другим чинам, имен которых он не знал. Вызывали только днем, и уже это было величайшим благом! В таких случаях его обычно спрашивали о ком-нибудь из числа таких же, как он сам вернувшихся из Америки немцев, предъявляли фотокарточки для опознания. Леопольд понимал, что против всех приезжих идет настоящая кампания.

Кое-кого он действительно знал, с некоторыми был даже хорошо знаком. Все это были люди честные и работоспособные, вне всякого сомнения приехавшие с искренним намерением помочь возрождению отечества и так же как Леопольд обманувшиеся в том, что на самом деле тут происходит. Они могли бы принести пользу, работая каждый по своей специальности, но им была уготована иная участь.

Леопольд, хотя и видел, что это не нравится гестаповцам, не колеблясь давал всем, кого узнавал на фотографиях, положительную характеристику. Это вызывало раздражение следователей — они начинали надсмеяться, угрожали. Но были и такие, которые бесстрастно фиксировали показания Леопольда, и он догадался, что это — новые сотрудники, не успевшие приобрести соответствующего опыта и навыков. Чувствовалось, что деятельность органов безопасности приобретает все больший размах и начинает ощущаться недостаток в испытанных кадрах.

Но бывали и вовсе странные вызовы. Формального допроса не вели, а задавали случайные, казалось, бессистемные вопросы, отдававшие больше любопытством, чем стремлением выяснить что-либо серьезное. А любопытства было много, особенно у Беккера, который почти всегда оказывался в кабинете Шлегеля и замечал его, когда тот выходил, и довольно надолго. Этого, кстати, тоже прежде не случалось. Все праздные воп-

росы выявляли такую степень неосведомленности о том, как на самом деле живут люди в ином мире, что порой становилось страшно. Они делили все человечество на две категории: своих и врагов—и не хотели, а, может быть, и не в состоянии были понять, что мир живет своей жизнью, что у всех свои заботы, горести и радости и дела нет людям до «Великой» Германии, до создания нового порядка в ней, построения тысячелетнего рейха национал-социалистов с их фальшивыми, неумными и крикливыми лозунгами, выявляющими только невежественность, фанатизм, жестокость и ненависть к остальному миру, ненависть не за то, что он несправедлив, ибо несправедливо было и то общество, которое они создали, а потому, что они убеждались в тщетности своих усилий уже не обогнать, а только приблизить условия своего существования к нормам жизни того мира, который они отвергали и разрушения которого добивались.

И вся их беспросветная маэта только потому и привлекала порой внимание живущего своей жизнью человечества, что туда, сквозь плотный полог, опущенный над великой нацией, все-таки доносились крики ужаса и отчаяния жертв, угрозы и проклятия палачей и властителей.

А Леопольду все чаще приходило в голову и то, что ведь не могут же они не задумываться над тем, что для них и германский народ тоже не свой, он тоже объект для наблюдения, подозрения, выявления, искоренения и что, дай им волю, они и немцев всех загонят в концлагерь (собственно, их Германия и была сплошным концлагерем), и тогда кто же останется, чтобы пользоваться плодами этой их мирной и счастливой жизни, этого нового порядка, организованного по теории, в бесспорности которой они как будто не сомневаются?

Или они вообще ни о чем не задумываются? Живут той жизнью, которой их за что-то наказало провидение, по принципу: день да ночь — сутки прочь. И какие это дни, какие ночи! Неужели их самих может удовлетворять такое существование? Ведь ни у одного из них нет, да и не может быть, личной жизни. Есть ли у них жены? Способны ли они иметь детей? В состоянии ли оценить красоту природы, прелесть женского тела?

Способны ли вкусить от этих радостей жизни? А, может быть, потому они так жестоки, так люто ненавидят людей, что сами себя лишили всех радостей естественного человеческого существования?

С компаньоном по камере у Леопольда отношения установились ровные и взаимно-доброжелательные — наиболее удобные для обоих при столь тесном, вынужденном общении.

У Шульца был легкий характер, ужиться с ним не представляло труда, а Леопольд, со своей стороны, с удовольствием принял привычный в общении между людьми тон внимания и учтивости, тем более, что Шульц был намного старше его.

В Шульце чувствовался большой жизненный опыт, к тому же он основательно знал уголовный кодекс и терпеливо обсуждал все детали дела Леопольда, разбирая возможные пути, по которым могло пойти следствие.

Однажды, желая польстить Шульцу, Леопольд заметил:

— Вы прекрасно разбираетесь в законах. Мне кажется, не всякий юрист так знает уголовное право, как вы.

Шульц улыбнулся:

— Так я и есть юрист.

— Да? Но ведь вы работали бухгалтером?

— Последние годы. А прежде я был следователем.

На лице Леопольда выразилось крайнее удивление, смешанное с другими чувствами, которые совсем не хотелось выказывать Шульцу, а тот поспешил пояснить:

— По уголовным делам.

У Леопольда отлегло от сердца, но неприятный осадок сохранился еще долго.

«Почему же он мне сразу этого не сказал? Не наболтал ли я чего-нибудь лишнего? Ведь если он скрыл такой важный факт, может быть, он скрывает еще что-нибудь поважнее?» Под грудью возникло тревожное посасывание, но Леопольд старался успокоить себя: он все время соблюдал осторожность, и все, им сказанное, свободно может быть передано для сведения им. Да и вообще, что мог бы он, Леопольд, сказать такого,

что пошло бы ему самому во вред? Только одно: если б он высказал Шульцу все, что он теперь думает о них. Но этого он не делал не то что в этих стенах, а даже на свободе.

Нет, Шульц неплохой человек, — решил в конце концов Леопольд. — Он не задает никаких вопросов, которые можно было бы счесть инспирированными или провокационными. Леопольд задумался, припоминая. Кажется, все-таки было два или три таких вопроса с его стороны, но, в конце концов, при столь тесном и беспрерывном общении это неудивительно. К тому же здесь, в тюрьме, из-за полного отсутствия связей с внешним миром необычайно разрастается любопытство. Вероятно, и я у него спрашивал что-либо, что на вполне могло бы показаться нескромным или даже бес tactным. Не думаю, что он из-за таких мелочей меня считает провокатором. И вообще, как это ужасно, что тебя вынуждают подозревать любого человека, во всем видеть подвох, предательство. А у самого Шульца участь трагичнее моей. Впрочем, Шульц не выглядел отчаявшимся человеком, видимо, тоже на что-то надеялся. Да, без надежды человек жить не может.

— Сколько вам могут дать? — спросил Леопольд.

Шульц пожал плечами.

— Лет семь. Ведь моя роль совершенно незначительна.

Жалость словно жгутом стянула сердце Леопольда. Семь лет! И он так спокойно об этом говорит! Доживет ли он? Ведь ему, пожалуй, за шестьдесят. Неужели он никогда больше не увидит своих близких?

Леопольд посмотрел на Шульца. Их взгляды встретились, но Леопольд поспешил опустить глаза, чтобы его компаньон не прочел в них того, что он сейчас думал. Да и по выражению лица он может догадаться.

Действительно, они сидели точно друг против друга, каждый на своей койке, но проход был так узок, что колени их соприкасались. Куда спрячешь свое лицо?

Леопольд нашел выход. Он встал и сделал шаг к окну. По скошенному внутрь подоконнику свежий воздух стекал, словно струя прохладной воды. Каждый раз

у окна Леопольд испытывал это благостное ощущение.

Ему стало радостно от сознания, что воздух-то, свежий воздух, чистое, ясное небо, солнце, каждый день встающее для всех, даже в лагере никто у него не отнимет.

Леопольду захотелось поделиться этой спасительной мыслью. Он резко обернулся. К нему было обращено лицо, имевшее очень мало общего с тем, которое он видел до сих пор: напряженный взгляд черных, недобрых глаз; обвисшие щеки; мешки под заплывшими глазами; резко опущенные углы рта, придававшие лицу выражение неприязненное и как бы презрительное.

Леопольд содрогнулся. «Неужели!?» — мелькнула у него мысль, и он в смятении опустил взгляд, будто случайно подсмотрел нечто, не предназначавшееся для его взора. Но через мгновение, вновь подняв глаза, он увидел опять привычного Шульца. «Это мне показалось», — поспешил уверить себя Леопольд. Но он знал, что такое лицо Шульца ему не померещилось. Он его видел и, если можно о чем-то спорить, то лишь о значении такого лица, о собственном субъективном впечатлении от него.

«Я просто напуган здесь до предела. Мне во всем чудится опасность. Это нервы, это они меня довели до такого состояния. Старик здесь ни при чем. Его лицо просто выражало усталость или его неприязнь и презрение к ним. Почему надо считать, что это выражение относилось именно ко мне? Какие для этого могут быть основания?»

II

Леопольда вызвали вскоре после обеденного перерыва и повели по какому-то новому коридору. Те же обитые черным дерматином двери, те же скрипучие полы с плохо уложенным паркетом и тот же специфический запах: сухой и резкий, природу которого никак не мог определить Леопольд.

Его ввели в кабинет средней величины, который, в отличие от кабинетов Шлегеля и Ламсдорфа, был настолько густо заставлен шкафами и секретерами, что в

нем не нашлось места для традиционного дивана... Но табурет и столик стояли на своем месте — в дальнем от окна углу, справа от двери. А за письменным столом, заваленным папками и бумагами, холеный и красивый, но слишком полный для тех тридцати лет, на которые выглядел, сидел некто в элегантном штатском костюме цвета морской волны, к которому очень шли вишневый галстук и кремовая сорочка.

Хозяин кабинета с привычным для Леопольда любопытством взглянул на него и как будто даже чуть улыбнулся в ответ на сдержанный полупоклон вошедшего. Небрежно расписавшись в сопроводительной бумажке и кивком отпустив конвойного, он вновь поднял глаза и любезно, совершенно светским тоном, произнес:

— Садитесь, Леопольд.— И, протянув сигареты в золотом портсигаре, спросил:— Курите?

«Освобождают!» — ослепительно вспыхнуло в голове у Леопольда, и кровь так забилась в висках, что он вынужден был приложить к ним пальцы.

«Господи, спасибо тебе! Дождался!..»

Хозяин кабинета продолжал смотреть на него с интересом и без малейшей враждебности, и это отсутствие привычного для них выражения усиливало убеждение Леопольда, что сейчас произойдет то радостное событие, которого — теперь ему было совершенно ясно — он не переставал ждать все эти томительные месяцы. От радостного волнения его охватила сильная нервная дрожь, и он почувствовал озноб. Вот сейчас он услышит слова, ожидание которых помогло ему выдержать все.

И он услышал слова...

— Что, трудно в камере, Леопольд? — голос говорившего звучал сочувственно.— В лагере лучше будет?

Все стало на место. Как волосы и ногти растут на теле только что умершего человека, так радостная дрожь еще продолжала усиливаться, а разум уже понимал всю безосновательность этой нелепой вспышки, всю наивность надежды услышать что-нибудь хорошее от них. «Не может дерево худое дать плодов добрых...»

И стараясь совладать с трясущейся нижней челюстью, чтоб этот новый, не дай бог, не заметил и не принял его состояние за страх, Леопольд ответил резко:

— В лагере — не знаю. Дома будет лучше!

— А вы домой рассчитываете вернуться? — спросил хозяин кабинета, не подозревая, какую боль причиняет Леопольду искренней интонацией своего вопроса.

— Конечно! — энергично подтвердил Леопольд, однако в тоне его было больше вызова, чем уверенности.

Хозяин кабинета сделал легкое движение головой, как бы говоря: «Спорить не буду, но очень в этом сомневаюсь!»

— Вернетесь вы домой, Леопольд, или отправитесь в лагерь, зависит в значительной степени от вас, — хозяин кабинета продолжал говорить вежливо, мягко, почти задушевно. — Я готов согласиться, что тяжких проступков за вами нет...

Он не сказал «преступлений», и это снова обнадежило Леопольда: может быть, все-таки?.. А хозяин кабинета продолжал:

— Но все же вы — не наш... — он произнес эти слова как бы с сожалением, что вот-де человеку протягивают дружескую руку, а он ее отвергает. — У вас здесь, — он похлопал себя по груди с левой стороны, — нечестно. Не хотите нам помочь... Для чего-то других вы выраживаете...

«Ах, вот куда он клонит! — на этот раз сразу понял Леопольд. — Он мне доносчиком стать предлагает!» Уже ко многому привык Леопольд за эти месяцы, ко многому притерпелся и научился реагировать если не всегда спокойно, то не так остро, но тут почувствовал, что кровь прилила ему к голове и даже дышать стало трудно. Сперва Ламсдорф, теперь этот. Но тогда это было вначале и он, Леопольд, был другой. У него еще оставались какие-то иллюзии, да и той закалки не было. Видимо, надо было тогда ответить более резко, чтобы раз и навсегда отрубить эти липкие, грязные щупальца, тянувшиеся к единственному, что еще у него осталось, — к его совести, к его человеческому достоинству. Ну что ж, тогда не ответил, как следовало, теперь отвечу.

Ярость клокотала в нем, и он, чтоб дать ей уняться, решил сперва ответить на первое из того, что сказал зеленоглазый.

— Что у меня здесь нечисто,— Леопольд тоже похлопал себя рукой по сердцу и говорил очень тихо, чтоб не сорваться на крик, так и рвавшийся наружу,— это неправда. Здесь у меня чисто, так чисто, как мало у кого. Но если допустить, что вы неточно выразились, то да, здесь у меня кое-что есть,— он снова приложил руку к сердцу. — Есть обида. Жесточайшая обида на чудовищную несправедливость. Я не заслужил того, что получаю...

Зеленоглазый слушал внимательно, удобно развалившись в кресле и насмешливо глядя на Леопольда. «Кто ж тебе виноват, что ты таким дураком оказался?» — как бы говорил его взгляд.

— Вам еще не поздно улучшить свое положение,— произнес он почти благодушно и вполне искренне.

Леопольд закрыл глаза и плотно скжал губы: молчать, удержаться хотя бы несколько мгновений, чтоб не высказать этому раскормленному, самодовольному существу, уверенному, что все такие же подлецы, как он сам, что он думает о них, об их породе. Обуздать свою ярость. Иначе можно тут же погубить себя и все, что он пережил, что вытерпел за эти месяцы, пойдет прахом. Посчитай до десяти, прежде чем начнешь говорить! Нет, до двадцати пяти... Ну, считай же!..

Зеленоглазый, заинтригованный длинной паузой, с интересом смотрел на подследственного: клюет, что ли?

Сердце, словно плененная птица, билось в груди Леопольда, но уже он чувствовал, что самые опасные мгновения, когда не было уверенности, что удастся сдержаться, — прошли.

Леопольд открыл глаза и встретил взгляд сытого крокодила. Ему даже смешно стало от этого неожиданного сравнения, и это дополнительно сняло напряжение, которое он испытывал от того, что приходилось с такими усилиями сдерживать себя. Сейчас он уже почти успокоился и заговорил отчетливо, уверенно, стараясь в интонации своего голоса вложить все презрение, которое испытывал к собеседнику:

— А что касается вашего предложения, то не по

адресу обращаетесь. Ничем полезным вам быть не могу. В роду фон Халлеров доносчиков не бывало!

Что-то вроде растерянности, пожалуй даже смущения, промелькнуло на лице хозяина кабинета. И еще какое-то чувство выразилось в его глазах, которыми он, опустив их перед этим на мгновение, снова пристально уставился на Леопольда. Но все это уложилось в несколько секунд, и тут же, овладев собой, зеленоглазый, слегка переменив позу с очень непринужденной на более официальную, совсем другим, деловым, сухим, хотя все еще корректным тоном, спросил:

— У вас мать и жена?

— Да. И должен быть ребенок, а мне до сих пор ничего о нем не говорят. В апреле должен был родиться. Вы не знаете?

— Нет! — коротко ответил хозяин кабинета, и лицо его стало замкнутым и холодным.

— Но ведь надо же понять меня! Мне нужно знать, сын у меня или дочь. Жив ли ребенок...

— Жив, наверное, что с ним сделается?

Это сказано было так просто и равнодушно, будто речь шла о каком-нибудь неодушевленном предмете. Но Леопольду сейчас было не до нюансов.

— Все бывает. Неужели нельзя мне сказать? Что это — помешает следствию?

Хозяин кабинета слегка пожал плечами. Уклоняясь от прямого ответа, он спросил:

— А о жене вы не беспокоитесь?

— Жена жива, это я знаю.

— Откуда? — заинтересовался собеседник. Взгляд его стал остр и внимателен.

Леопольд сперва решил не отвечать, но ему пришло в голову, что он может навлечь ненужные подозрения на Луизу и ее начнут таскать туда и сюда, поэтому он объяснил:

— Подпись ее вижу на квитанциях денежной передачи.

«Надо бы изменить эту систему, — подумал хозяин кабинета. — Сведения снаружи можно передавать. Сегодня подпишется так, следующий раз — этак». И он решил подать докладную группенфюреру. Но вслух он сказал, снова принимая светский тон:

— Ну, вот видите, все в порядке,— он сделал паузу, внимательно взглянул на Леопольда и добавил:— А почему вы дрожите?

«Заметил-таки!» И это когда дрожь уже стала осла-бевать! Чтоб показать, что причина отнюдь не страх, Леопольд улыбнулся как можно более непринужденно и сказал небрежно:

— Это от озноба. У вас здесь ветерок, а в камере очень душно.

— Можно закрыть окно...

— Нет, нет, не надо. Это пройдет. Так приятно — свежий ветерок...

В это время зазвонил телефон, и хозяин кабинета взял трубку. Звонок был явно не деловой, и на том конце провода находился кто-то очень приятный хозяину кабинета. Он переменил позу, уселся в кресле поудобнее и затянул долгую, неторопливую беседу, из слышимой половины которой Леопольд понимал, что вчера хозяин кабинета где-то хорошо провел время, лег поздно, не выспался, но на судьбу не жалуется. Один раз было упомянуто женское имя, не то Клара, не то Лара, и Леопольд, глядываясь в черты этого полного, холеного лица с миндалевидными зелеными глазами — в тон костюму, — думал, что их обладатель, должно быть, пользуется немальным успехом у женщин.

Теперь уже Леопольд с интересом разглядывал его, так спокойно смакующего перипетии воскресного вече-ра в присутствии заключенного. Ему наверняка не полагается вести при врагах народа такие фривольные разговоры, а он сидит, говорит, как будто, кроме него самого, в кабинете никого живого нет. И Леопольду сно-ва пришло в голову, что его здесь считают уже мертвее-цом и потому не находят нужным ограничивать себя в чем-либо.

Но теперь эта мысль не вызвала такого гнетущего чувства, как прежде, хотя и была очень неприятна. По-смотрим, посмотрим еще, как и что будет. Всяко в жиз-ни случается!

И, потеряв интерес к продолжающему беззаботно беседовать хозяину кабинета, Леопольд стал смотреть в окно, которое не было закрыто ширмой из жести и по-тому давало более широкий обзор. И главное — в него

было видно небо, уже по-осеннему васильково-синее, несмотря на то, что день был жаркий, совсем не сентябрьский, а еще августовский или даже июльский.

Окно открывалось внутрь, и на фоне стены кабинета стекло отражало четко и светло — почти как в зеркале, часть двора. Леопольд взгляделся и узнал — это был тот самый двор, в который его привезли в то утро. Вот тут, правее и ближе — они в кадр не попадают, — должны быть ворота, сквозь которые въехал черный автомобиль. А туда, левее и дальше, тоже вне поля зрения — крыльцо и дверь, через которые он прошел в это здание несколько месяцев тому назад. Вот по двору идет человек... «Как странно, однако, что я с четвертого этажа, сидя в глубине комнаты, вижу человека, идущего по двору!» Леопольд следил за этим неторопливо шагающим человеком и вдруг узнал его! Это был сосед по дому, с которым у него в последнее время установились приятельские отношения. Его несложно было узнать по характерной, чуть припадающей на правую ногу походке, плотной спортивной фигуре и сильно загорелым лицу и шее, которые были намного темнее льняных, слегка развевающихся на ветру волос.

Леопольд сидел, пораженный. Кто мог подумать, что с его места можно разглядеть и узнать идущего по двору человека! Уж как совершенна, казалось бы, их машина, как все продумано, а вот такой непредусмотренный оптический курьез — и вся система их паутины рвется. Даже обидно стало, что нет никакой тайны, связанной с этим человеком. Интересно, что он здесь делает? Доносчиком он быть не может, он порядочный человек, его все соседи уважают. Наверное, его вызвали в связи со мной. О чем мы с ним разговаривали? Все больше о спорте. Он интересовался профессиональным боксом... О Голливуде тоже расспрашивал, о кинозвездах. Нет, ничего нужного и м не было в наших разговорах, а если бы было, Фредди Мильх бы не выдал. Бояться его нечего. Вот разве что для самого Фредди нехорошо, что он проявлял такой интерес к зарубежному кино. «Вам что, нравятся заграничные картины?» — так и слышался холодный голос Ламсдорфа, и виделась его недобрая усмешка. Шлегеля, допрашивавшего вольного человека,

Леопольд как-то не представлял. Вольного ведь нельзя ругать, оскорблять, а без ругани, без угроз Шлегель не может, не умеет... Да, как бы не подвести Фредди Мильха. Если меня спросят о нем, надо будет сказать, что ему не нравились американские фильмы.

Человек во дворе давно исчез, но зрительный образ отчетливо запечатлся в памяти и личность его не вызывала сомнения: это действительно сосед, Фредди Мильх. Леопольд дополнительно вспомнил ярко-голубую спортивную рубашку, которая была сегодня на Фредди. Ее он купил прошлым летом.

Леопольд все не мог прийти в себя: надо же! Какой невероятный случай! Ведь если б что-то зависело от того, буду я знать или нет, что Фредди вызван в гестапо по моему делу,— у них бы все рухнуло.

У Леопольда даже на душе легче стало. Нет, не так уж они всемогущи, если случайность может им все испортить. А мало ли других случайностей, мало ли деталей, которые они все же не устранили, обстоятельств, которые они оказались не в состоянии предусмотреть? Взять того же Шульца. Сколько полезных советов он мне дал, как успокоил!

III

А Шульц в это самое время сидел в углу в кабинете Шлегеля и переживал неприятные минуты. Это был уже четвертый вызов в следственный отдел с тех пор, как ему было поручено внутреннее наблюдение за подследственным фон Халлером, и ровно ничего ценного он сообщить Шлегелю не сумел.

Шульца, конечно, не посвятили в подробности дела фон Халлера. Ему только велели прощупать почву в отношении возможных связей с местными оппозиционными элементами и хорошенько пройтись по биографии подследственного до приезда в рейх. И то и другое Шульц выполнил с присущей ему десбровестностью и ничего не добился.

Фон Халлер или знал свою легенду настолько твердо, что и во сне лишнего не болтал, или действительно был совершенно чист. Ведь нельзя же принимать всерьез это их землячество или частные знакомства с евреями,

с журналистами из газет разных направлений. Как же ему было работать в газете, если не общаться с другими газетчиками? Так думал Шульц, тщательно скрывая свои мысли от непреклонного Шлегеля и не зная, что и тот начал склоняться к подобному же мнению. И если он не высказывал их открыто, то лишь потому, что это означало признать свою полную неудачу. Все получилось именно так, как предсказывал Куцен: ни на йоту больше Ламсдорфа из Халлера выжать не удалось. Пожалуй, действительно надо заканчивать дело и передавать на комиссию, — куда ни пошлешь запрос, отовсюду идут благоприятные характеристики. Особено неприятна характеристика посла в Вашингтоне. Здесь допущена явная ошибка. Надо было запрашивать не этого вольнодумствующего дипломата, а негласного резидента СД при посольстве. Тот бы такой положительной характеристики не дал. Из Берлина тоже пришел запрос: туда написала мать подследственного. Конечно, все документы, свидетельствующие в пользу Халлера, были еще Ламсдорфом аккуратно из дела изъяты, но ведь их не уничтожиши! Теперь, когда уже было поздно, Шлегель досадовал на то, что пренебрег возможностью создать дело об антигосударственной пропаганде. Поначалу не хотелось мельчить. Была уверенность, что выяснится что-нибудь гораздо более важное, чем просто зловредная болтовня. Из-за этого опрашивать людей, составляющих общество Халлера, начали только в последние недели, и никто ничего компрометирующего не показал. А надо было охватить более широкий круг, припугнуть, кто-нибудь мог и струсить. Но думать об этом поздно. Только что по телефону доложили, что вызванный на три часа дня Фредерик Мильх дал показания, благоприятные для Халлера, так что опять ни о какой очной ставке и думать не приходится.

Шлегель с раздражением смотрел на Шульца. Как это такой опытный старый агент ничего интересного от Халлера получить не смог, не сумел вызвать его на откровенность? Неужели он даже не ругает нас?

— Он говорит, что вышла трагическая ошибка. Надеется, что все в конце концов выяснится.

— Но ругать-то нас он ругал?

— Нет.

«Дурак! — подумал Шлегель. — Ну и будешь сидеть. Шиш мы тебе сбavим срок!»

— Я убежден, что он со мной вполне откровенен, — Шульц обращался и к расхаживавшему по кабинету своей спотыкающейся на каждом шаге походкой Шлегелю, и к развалившемуся на диване Куцену. — Я проделал огромную работу. Он ничего не подозревает.

— Это мы уже слышали! — резко оборвал Шлегель. — Новое что-нибудь скажи.

Шульц беспомощно развел руками и постарался придать своему лицу огорченное выражение. Но на самом деле никакого огорчения он не испытывал. Хочет получить материал на Халлера — хоть бы намекнул, что именно ему надо. Но, конечно, при Куцене Шлегель на такое не пойдет, слишком рискованно. Куцен-то сам и не такие вещи выделявал, но подчиненному не спустит. А стараться для них не стоит. Вот уже год, как они воят Шульца за нос. Когда его вызывали из лагеря, где он — бывший следователь уголовной полиции — сидел за взяточничество, ему обещали, что год работы агентом-осведомителем во внутренней тюрьме зачтут за два и, кроме того, будут ходатайствовать о досрочном освобождении. Год прошел, он слал запросы, но ответа все нет как нет. И сегодня, когда он спросил у Шлегеля об этом же, тот лишь выругался. Ну, положим, Шлегель может не знать, не стоило его спрашивать, но все же мог бы повежливее быть. Все-таки — коллеги.

Шульц, опытный работник, прекрасно видел, что дело Халлера проваливается по всем статьям, и радовался неудаче Шлегеля. Конечно, на волю они людей не выпускают, но больше ссылки Халлеру ничего пришить не удастся. И очень хорошо! Шульц, просидев несколько недель в одной камере с Халлером, с удивлением обнаружил, что тот ему симпатичен.

Шульц, конечно, оставался тем Шульцем, которым был, когда согласился работать по камерам внутренней тюрьмы, и даже намного лет раньше. Он рассуждал так: конечно, было бы неплохо, если б Халлер оказался крупной птицей и он, Шульц, сыграл бы решающую роль в его разоблачении. Тогда можно было бы рассчиты-

вать на немедленное освобождение. Может быть даже, его взяли бы на штатную работу в гестапо. Но Халлер был явно не тот, на ком можно было сделать карьеру, и Шульц давно на него рукой махнул.

IV

— Уверен, что ваше дело кончится благополучно...

Леопольд с сомнением покачал головою. Полчаса тому назад он вернулся в камеру и, конечно, застал Шульца на месте. Он рассказал своему компаньону о новом, элегантном сотруднике СД, у которого в кабинете он просидел неведомо зачем битых два часа, но о том, что ему удалось в оконном стекле увидеть своего соседа, умолчал. Он не подозревал, что его долгое и, как ему казалось, бессмысленное сиденье наверху и сегодня, и вообще в последнее время, происходит как раз в то время, когда Шульца вызывают для очередного доклада Шлегелю или когда рядом допрашивают кого-нибудь из его друзей или знакомых, а он должен быть под рукой на случай очной ставки.

— Вот увидите, — продолжал Шульц. — Я, конечно, не могу вам гарантировать, что прямо отсюда вы вернетесь домой, но сурового приговора вам ждать не приходится.

Шульц говорил вполне искренне и без опаски. Последнее обстоятельство объяснялось тем, что сегодня в кабинете Шлегеля, по ряду косвенных признаков, он окончательно убедился, что в их камере подслушивающего устройства нет. Такие приборы стоят недешево. «Все экономят! На спичках экономят!» — думал Шульц с раздражением.

Его самого продолжали водить за нос, и ничего конкретного Шлегель опять не обещал, а Куцен вообще пропустил его вопрос мимо ушей.

Шульц уже потерял надежду на снижение срока. Его обманули. Использовали и обманули. Конечно, если б удалось дать материал на Халлера... Может быть, попробовать еще раз? Да нет, ничего не выйдет. Все, что можно было от него услышать, — уже услышано и передано в следственный отдел. Продолжать вопросы — еще навлечешь подозрение. А потом, вдруг попадешь в один

лагерь с Халлером. Тогда дело плохо. Придушат ночью, и все. Конечно, не он сам. Он рук пачкать не станет. Да и срок у него небольшой будет. Но он обязательно предостережет других, и найдется кто-нибудь... Шульцу стало не по себе. Нет, к черту! К черту Шлегеля, к черту Куцена, к черту самого Рунге! Сидеть осталось меньше четырех лет — как-нибудь выдержать надо. Выйду, и подальше от них всех. Заберусь в какое-нибудь захолустье, вроде того выдуманного, о котором рассказывал Халлеру, и где меня никто не знает. Куда-нибудь, где их нет. Но где такое место? Разве от них спрячешься? Везде найдут и заставят на себя работать, будь они прокляты! Пусть хоть этот выберется. Нашли преступника! Девятый месяц держат человека, как будто заниматься больше нечем. Тоже контрразведка! Надо объяснить Халлеру, что он должен делать, когда будут заканчивать следствие, что подписывать, чего — не подписывать. Последний допрос будет с прокурором, тут подследственный — король! При прокуроре рук не распустишь. Министерство юстиции, другое ведомство. Они всегда рады насолить. Надо хорошенько растолковать Халлеру, как ему держаться. Вот, получите, герр Шлегель!

И Шульц, испытывая злорадное чувство от уверенности, что те, кому не надо, его не слышат, принялся объяснять Леопольду особенности процедуры последнего допроса, когда по закону подследственному показывают все документы и материалы, на основании которых ему предъявляется обвинение.

У Леопольда и самого за последнее время создалось впечатление, что в его деле наступил благоприятный перелом. Следствие явно выдохнуло. Никаких новых вопросов Шлегель не задавал, а те незнакомые гестаповцы, которые время от времени стали его вызывать, даже не вели допроса, а просто разговаривали, расспрашивали о прежней жизни и, главным образом, конечно, о всяких злачных местах. Особенный интерес вызывал у них бурлеск. Беккер все допытывался, правда ли, что во время стриптиза актриса раздевается догола, и никак не мог поверить, что Сэлли Ранд и Мэри Мартин снимают абсолютно все. У Леопольда эти назойливые вопросы, эти масляные улыбочки на жестоких лицах, эти мокрые взгляды в обычное время беспощадных глаз вызы-

вали брезгливое чувство. Хотелось спросить: «И этот вопрос тоже относится к следствию?» Но он удерживался, потому что все же было неизмеримо лучше сидеть у Беккера или у кого-нибудь из новых и отвечать на вопросы о звездах стриптиза, чем видеть перед собой Шлегеля. А отношение этого последнего, несмотря на благоприятный оборот следствия, отнюдь не становилось менее враждебным. Наоборот, ненависть Шлегеля даже усилилась, и это порой очень угнетало Леопольда. «Он все-таки считает меня преступником, раз так ненавидит. И, вероятно, мне только кажется, что следствие складывается в мою пользу. Шульц просто меня успокаивает. Если бы они убедились, что я невиновен, Шлегель стал бы вежливее, ему не за что было бы относиться ко мне так злобно. Скорее, он бы старался загладить прошлое отношение, оскорблений, издевательства». Так казалось в эти минуты Леопольду.

V

Но Леопольд ошибался, и ошибка его заключалась в том, что он пытался понять Шлегеля, исходя из тех нравственных норм, которыми жил сам и которыми руководствовался на месте Шлегеля, если только возможно представить Леопольда в роли следователя гестапо. А эти моральные мерки никак не подходили ни к Шлегелю, ни к любому другому сотруднику Главного управления имперской безопасности, так как, руководствуясь общепринятой человеческой моралью, работать там было невозможно.

В этом учреждении действовали свои нормы поведения, существовали свои понятия об отношении к людям и друг к другу, и, согласно этим понятиям, Леопольд, всеми доступными ему средствами боровшийся за свою честь и жизнь и, в конце концов, отстоявший и то и другое, был достоин ненависти и потому действительно возбуждал ненависть Шлегеля, ненависть тем большую, чем острее Шлегель чувствовал свою неудачу. В его понимании Халлер был виновен уже в том, что его арестовали, и трижды виновен в том, что не дал себя загубить. Теперь не могло быть сомнения, что Халлер, если и не был раньше врагом, то стал им, и, как враг, он был до-

стоин худшего. Его надо было уничтожить, и Шлегель в большом волнении расхаживал из угла в угол по своему длинному кабинету, перебирая в уме упущеные возможности и все возвращаясь мыслями к так и не осуществленному допросу третьей степени.

Последние дни он опять заставлял Халлера стоять, но уже не чувствовалось в подследственном того предельного напряжения духовных сил, которым Халлер прежде подавлял свой ужас перед окружающей его обстановкой. Он сейчас выстаивал свободно, даже как бы непринужденно, забыв, где и перед кем находится, и Шлегель видел, что он почти спокоен и погружен в собственные думы.

Шульц доносил, что каждое утро Халлер усиленно занимается гимнастикой, и эта повышенная забота о своем здоровье тоже бесила Шлегеля.

Ему почти неодолимо хотелось подойти и ударить изо всех сил кулаком в эту вновь обретшую самоуверенность физиономию, но он не решался. Они были одни. А что, если Халлер даст сдачи? Конечно, тогда мы его подвесим вверх ногами и отобьем все внутренности, — в подобных случаях так поступают в гестапо, — но скандал получится большой и может погубить карьеру.

Шлегель подошел вплотную к Халлеру и впился в него долгим и острым взглядом. Но и взгляд этот не оказывал прежнего действия. Халлер стоял, очень усталый и бледный, не меняя положения, и спокойно, хотя не без настороженности, отвечал на взгляд следователя.

— Ты думаешь, ты от меня уходишь? — сдавленным голосом выговорил Шлегель, дрожа от сдерживаемой ярости. Халлер молчал, но глаз не опускал. — Рано радуешься! Ты будешь сидеть, а я буду копать... Это я тебе обещаю!

«Ну, и я тебе обещаю...» — сказал про себя Халлер и только тут опустил глаза, чтобы Шлегель не прочел ответа в его взгляде.

Леопольд тоже дрожал и тоже от ненависти, которая у него не получала никакого выхода и даже лишила способности сразу обратить должное внимание на очень важные слова, вырвавшиеся у Шлегеля ненароком. Но,

взял себя в руки, Леопольд постепенно начал успокаиваться, и тогда в сознании его тотчас всплыло: «Ты думаешь, ты от меня уходишь?» Это явно означало, что следствие заканчивается. Правда, последующие слова: «Ты будешь сидеть, а я буду копать» — свидетельствовали об уверенности Шлегеля, что Леопольд на свободу не выйдет. Тут были возможны два варианта: или Шлегель знает, что Леопольд отделается легко, и будет стараться найти какие-нибудь новые данные с тем, чтобы добиться нового следствия и нового приговора. Или он, не доводя дело до суда, заморозит следствие, временно прекратит допросы и опять же будет искать какие-нибудь новые улики, новые компрометирующие материалы.

«Что ж, ищи, ищи. Много ты найдешь!» В эти минуты Леопольд уже почти избавился от унизительного страха, который внушал ему когда-то Шлегель. И чтобы окончательно освободиться от этого чувства, он заставил себя сказать то, что давно хотелось, но он все не решался.

— Видите ли, обер-лейтенант, — Леопольд прилагал усилия, чтобы голос его звучал спокойно и независимо. — Ваша беда заключается в том, что вы никак не хотите примириться с очевидной истиной: специфика моей жизни такова, что чем глубже вы будете копать, тем лучше для меня будет. Ошибки мои пустячны, их совсем мало, и все они вам известны. А заслуги мои перед отечеством — значительны.

Шлегель не пытался прервать эту тираду. Он выслушал ее, остановившись посреди комнаты и глядя на Леопольда на этот раз скорее заинтересованно, чем враждебно. Когда тот замолк, он возобновил свое спотыкающееся хождение, обдумывая ответ. Но ничего веского в голову не шло.

— Ну, знаешь, Халлер, — заговорил он в конце концов, — ты совсем обнагел. Может быть, еще наградить тебя следует?

— А что ж, и не мешало бы! Во всяком случае было бы справедливее, чем держать в тюрьме.

— Ты думаешь, наша разведка плохо работает?

Леопольд посмотрел на него и покачал головой:

— Очень плохо! Если б хорошо работала — я бы здесь не находился.

Шлегель крякнул от возмущения и махнул рукой: ну и ну! Подойдя к письменному столу, он взял пачку бумаг и положил на столик перед Леопольдом.

— Садись! — скомандовал он.

Леопольд подчеркнуто выждал долгую паузу и потом не торопясь сел с видом, как бы говорившим, что он не прочь и постоять еще, но уж так и быть...

— Вот. Протоколы допросов, — пояснил Шлегель.— Прочти и подпиши.

Леопольду было ясно, что Шлегель спешит. Последние дни он вызывал и утром и ночью и беспрерывно писал, время от времени задавая вопросы для уточнения разных деталей. И то, что сегодня он стерпел, выслушав открытую насмешку, лишь подтверждало, что противник попал в цейтнот. Но Леопольд недостатка во времени не испытывал. Впереди у него были долгие годы заключения или ссылки. И потому он решил читать протоколы нарочито медленно. Он без особой надобности перечитывал отдельные фразы и целые куски, внимательно и демонстративно проверял нумерацию страниц. Шлегель искоса наблюдал за ним и кипел от негодования и нетерпения. Срок истекал, и на следующий день он предполагал провести закрытие следствия в присутствии прокурора. Приглашение тому уже послано, а этот проклятый возится и возится.

Между тем, перечитывая протоколы, Леопольд с удивлением обнаружил, что у Шлегеля они составлены куда правильнее и объективнее, чем у Ламсдорфа. Это его сперва озадачило, но спустя некоторое время он понял, что дело тут не в большей добросовестности. Просто Шлегель не владел искусством из ничего создавать дело, плести паутину из очень ловких, еле заметных передержек, подтасовок и двусмысленностей. Как следователь СД Шлегель во всех отношениях стоял ниже Ламсдорфа, и все же начальником был он, а тот ему подчинялся.

Каким же негодяем надо быть, думал Леопольд, чтоб в учреждении, где мерилом ценности сотрудника является его подлость и жестокость, будучи всего обер-лейтенантом, начальствовать над майорами и даже полковниками!

«Продержу его сегодня до утра! — решил Лео-

польд. — Сколько ночей я не спал из-за него! Пусть сегодня и он не поспит, а мне не привыкать».

— Здесь, после семнадцатой страницы, сразу девятнадцатая, — сказал Леопольд, делая вид, будто не замечает, что страницы просто слиплись.

— Что, что? — озабоченно переспросил Шлегель.

Поскольку Леопольд покидать своего угла не имел права, пришлось тому встать и подойти. Он перелистал страницы и отделил их.

— Вот! Все есть.

Шлегель вернулся на свое место, а Леопольд продолжал читать. Через некоторое время Шлегелю снова пришлось подойти, так как Леопольд заявил, что не может разобрать какое-то слово.

— Разве шестое июля приходилось на среду? — спросил он еще через некоторое время.

— А какая разница? — недоуменно пожал плечами Шлегель.

— Вот тут протокол номер семь датирован: «среда, шестое июля»...

Шлегель молча стал перебирать листки перекидного календаря. Его до крайности раздражала дотошность Халлера, но он сознавал, что тот имеет право на такое уточнение. Понимал он и то, что для Халлера вопрос, была ли шестого июля среда или пятница, никакого практического значения не имеет и что затеял он эту возню, только чтоб досадить ему. Но приходилось терпеть.

Найдя нужную страницу, он, не глядя на Халлера, подтвердил:

— Шестого июля была среда.

Леопольд ничего не ответил, но спустя некоторое время Шлегель, посмотрев в его сторону, заметил, что тот сидит, устремив глаза в потолок, шепчет вполголоса цифры и загибает пальцы, отсчитывая дни в обратную сторону.

— Ты что, мне не веришь? Мне?! — в бешенстве закричал Шлегель.

Леопольд не спеша досчитал, спокойно перевел глаза на следователя и сказал просто и убежденно, даже как бы удивляясь вопросу:

— Конечно!

— Ах ты, сукин сын, сукин сын! — только и смог

выговорить Шлегель, а Леопольд, словно не слыша этих слов, продолжал:

— Вы же понимаете: все, что делают со мной здесь, я считаю не только виновницей несправедливостью, но и виновным беззаконием. И как только получу возможность, я подам жалобу на ваши действия в самые высокие инстанции государства.

— Ты нам угрожаешь, сволочь?!

Вне себя Шлегель вскочил и бросился в сторону Леопольда.

Но встал и Леопольд. В эти секунды ненависть — холодная и яростная — всецело овладела им. Неудержимо влекла незащищенная нижняя челюсть Шлегеля...

«Я сейчас ударю его. Я ударю этого ублюдка за себя, за маму, за Луизу, за Гильду. Я ударю его за всех нас, за всех любящих, которых он уже погубил и которых еще собирается погубить. У него при себе пистолет, но я вышибу из него дух — он и мигнуть не успеет. Отберу оружие, застрелю его, застрелю еще двух-трех негодяев и последнюю пулюпущу в себя!»

«И оставишь на них маму и Луизу, и никогда не увидишь сына, своего сына? И вся твоя мука, все, что ты вытерпел за эти месяцы, теперь, накануне твоей победы, — пойдет насмарку? Окажется ненужным? Нет! Слишком велика цена, слишком незначительно удовлетворение. Удержись. Не время...»

Эти мысли сразу привели Леопольда в чувство.

Шлегель же, сделав два шага в сторону Халлера, вдруг поймал тот его взгляд, которым Леопольд примеривался к его челюсти. И Шлегель понял, что, сделай он еще шаг-два, и может произойти непоправимое. Ведь Халлер — спортсмен, боксер, выступал на любительском ринге. «Нельзя допустить, чтобы он погубил мою карьеру!» — мелькнуло у Шлегеля, и он остановился: цена слишком высока, а удовлетворение слишком незначительно.

Но момент был напряженный, и рука Шлегеля неизвестно потянулась к пистолету.

— Он у вас сзади, — услышал Шлегель голос Халлера, звучавший откровенной насмешкой.

«Действительно, как мог я забыть, что сегодня я в штатском?» — подумал сильно смущившийся Шлегель и,

не найдя, что ответить, сделал вид, что не слышал этих слов. Он вернулся к письменному столу и уселся в свое кресло.

— Если хочешь, чтобы следствие закончилось скорее, не валяй дурака. Читай и подписывай, — сказал он, стараясь, чтобы слова его звучали повелительно и авторитетно.

— А мне спешить некуда, — ответил Леопольд, слегка улыбаясь, и вдруг его осенило... — И вообще, обер-лейтенант, заявляю вам, что я отказываюсь читать дальше протоколы, отказываюсь учинять подпись, отказываюсь отвечать на вопросы, пока мне не сообщат официально, кто у меня родился: сын или дочь.

Шлегель почувствовал, что у него больше нет сил препираться. Да в конце концов теперь уже неважно. Завтра эта пытка кончается...

— Сын, — произнес он, не поднимая глаз.

— Он здоров? — спросил Леопольд, не смея сформулировать вопрос так, как он звучал у него в мозгу, и почему-то испытывая большую тревогу.

— Здоров.

У Леопольда отлегло от сердца. Сын! Он жив! Я так и знал, что у меня будет мальчик!

Эти последние слова чуть не вырвались у него вслух, но он вовремя опомнился. Не с этим же делиться радостью. Но даже к Шлегелю в эти секунды Леопольд не питал злобы, разве что обычную брезгливость.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

|

Леопольд уже был как-то в этом помещении — он узнал приемную перед кабинетом начальника тюрьмы. Но тогда его привели сюда по собственному заявлению: он просил о свидании с семьей, и ему отказали.

В довольно просторной комнате сидели две секретарши, погруженные в перепечатывание бумаг. Они были ни столь нарядны, ни столь красивы, как секретарши Нибеля, но все же показались Леопольду очень привле-

кательными, — существа с воли, где живут люди, где есть мужчины и женщины, а не только жертвы и палачи.

Интересно, что надо начальнику тюрьмы от меня? Может быть, дают, наконец, свидание? Вряд ли. Шульц говорил, что перед свиданием заключенного приводят в порядок: бреют, велят надеть чистую сорочку.

Конвойный, просунувший голову в кабинет, вынырнул и показал рукой — входить.

В кабинете штурмбанфюрера Клиге, кроме него самого, сидел благообразного вида седой подполковник в форме незнакомого Леопольду ведомства.

— Садитесь, фон Халлер, — сказал начальник тюрьмы вполне человеческим тоном. Впрочем, он и прежде всегда говорил так и потому вызывал в Леопольде что-то вроде симпатии, не потому, что действительно заслуживал ее, а потому, что человеку в большей мере, чем чувство ненависти, свойственно чувство добра и доброжелательности, а более подходящего объекта здесь не было.

Леопольд сел в углу, но уже не на табурет, а на обыкновенный стул и с обостренным вниманием ждал, что скажет ему начальник тюрьмы.

Клиге, с еле заметной улыбкой, — не куценовской, а обыкновенной, — посмотрел на Леопольда, потом перевел глаза на седого подполковника и, снова обернувшись к Леопольду, заговорил своим тихим, надтреснутым голосом, вызывавшим представление о старости и дряхлости, хотя ни старым, ни, тем более, дряхлым Клиге еще не был.

— Пришло решение по вашему делу. Вам сейчас объявят постановление специальной комиссии.

Сердце Леопольда сильно стукнуло два раза и вдруг словно остановилось. Леопольд так напрягся, что у него зазвенело в ушах. Несколько мгновений длилась тишина, такая напряженная, что она, казалось, завершится взрывом. Но вместо этого послышался шелест бумаги, которую подполковник вынимал из нагрудного кармана кителя. Потом, из другого кармана, он, не торопясь, достал футляр, раскрыл его, вынул старомодное пенсне и укрепил его на переносице. Ослепительным тире блеснула золотая дужка и тут же погасла. Седой заговорил:

— Назовите свое полное имя, возраст и подданство.

— Граф Леопольд Юлиус фон Халлер, двадцать восемь лет, гражданин германского рейха, — первый раз в жизни упоминая свой титул, отчеканил Леопольд. В эту решающую минуту ему захотелось напомнить — себе ли, им ли — о заслугах предков перед родиной.

Подполковник заглянул в лежавшую перед ним бумагу, чтобы еще раз убедиться, что речь в ней идет именно об этом человеке, потом отчетливо, вполне интеллигентным голосом объявил:

— Леопольд Юлиус фон Халлер. Решением специальной комиссии вы будете высланы в сельскую местность юго-востока страны сроком на пять лет.

Леопольд молчал, стараясь понять, что ему сказали. Явственно он расслышал только последние два слова. Они его не испугали, но и не обрадовали. Подполковник, очевидно, ждал какой-то реакции со стороны заключенного и, не видя ее, спросил, уже менее официально:

— Вы поняли? Ссылка. Пять лет.

— Объясните мне, пожалуйста, что это значит, — попросил Леопольд.

— Ну хорошо это, хорошо! — успокоительно заговорил Клиге. — Вы сколько здесь просидели?

— Почти год.

— Это зачтут, — закивал головой Клиге.

— Это не заключение?

— Да нет же! Будете жить в деревне, работать.

— А семья сможет приехать ко мне? — допытывался Леопольд, все еще не успокоившийся.

— Да.

— И мы сможем вместе жить?

И начальник тюрьмы, и подполковник заулыбались, закивали:

— Конечно.

— А переписываться с друзьями мне можно?

— Хоть с Рузвельтом!

Эта шутка, больше чем все официальные формулировки и последующие заверения, убедила Леопольда, что он почти свободен. Первый раз за этот год с ним говорили по-человечески, даже шутили. Первый раз, не считая Шульца. Победа! Почти победа...

— Подойдите сюда! — сказал подполковник, и когда

Леопольд оказался около него, перевернул бумагу тыльной стороной и, ткнув пальцем, сказал: — Подпишите!

Леопольд по инерции взял было ручку, но вдруг насторожился:

- Что это?
- Решение по вашему делу.
- Я хочу прочесть.
- Зачем? Я же сказал вам: пять лет ссылки. Вы что?

Недовольны?

Подполковник сказал это таким тоном, словно объявлял о награждении Леопольда орденом и не услышал от него возгласов восторга и благодарности.

— А вы считаете, что я должен быть доволен тем, что меня, совершенно ни в чем не повинного человека, без суда ссылают на пять лет в какую-то глушь?

Подполковник ничего не ответил и, только недоуменно пожав плечами, переглянулся с Клиге.

- Ну, в общем, подписывайте...

— Так я не подпишу. Я должен знать, что подписываю.

- Вы что, мне не доверяете?

Леопольд посмотрел ему прямо в глаза и после паузы сказал:

— Вас лично я не знаю. Но, присидев здесь год, родному брату перестанешь доверять.

Клиге снова заулыбался, словно внимал капризам расходившегося, но милого ребенка. А подполковник, нахмурившись, неохотно и все еще колеблясь, протянул бумагу со словами:

— Читайте уж, да поскорее. У меня нет времени ждать вас.

С бумагой в руках, уже уверенный, что раз все-таки ему дали ее прочитать, значит подвоха нет, Леопольд, направляясь к своему месту в углу, обернулся через плечо и почти весело бросил:

— Уж подождите немного, подполковник! Я этой минуты ждал целый год!

Группу арестованных, отправляемых в концлагеря и места ссылок, привезли на вокзал заблаговременно. Закрытый наглухо специальный автофургон подъехал к багажному складу, задом подал вплотную к платформе, конвойные эсэсовцы с овчарками образовали сплошной коридор, и узников быстро загнали в длинное, пустое помещение, после чего за ними закрыли тяжелую, двустворчатую дверь — скорее ворота — и снаружи задвинули на засов. В помещении, лишенном окон, сразу стало совершенно темно. Все молчали, и только слышалось напряженное дыхание соседей, да кто-то натужно кашлял — вероятно, тот, который в фургоне рассказывал, что во время следствия ему отбили легкие.

— У меня теперь процесс, — говорил он тогда и повторял: «процесс», как будто это слово доставляло ему удовольствие.

В темноте пустого помещения арестанты пробыли недолго. Послышался шум отодвигаемого засова с противоположной стороны, резко прянул свет — хотя на улице были уже сумерки, потоком хлынула волна свежего воздуха, тут же пронзенная острым запахом горячей угольной пыли, несмотря на свою резкость приятным для всякого, кто любит железную дорогу.

Снаружи молодой, звонкий голос прокричал:

— На выход по одному, только по фамилиям!

И, конечно, нашелся кто-то, сунувшийся не в очередь, и его затолкали обратно взашей.

Леопольда вызвали девятым. Это была его любимая цифра, и он усмотрел добroе предзнаменование в таком совпадении.

У вагона, который стоял сам по себе и потому выглядел странно, белобрысый лейтенант в форме СС отмечал по списку прошедших.

Вагон снаружи напоминал багажный, а внутри выглядел как пассажирский третьего класса, с тем отличием, что здесь купе отделялись от прохода решеткой и в них не было окон — задняя стена у вагона была совершенно глухая.

Непонятно было, по какому принципу размещали арестованных, но какая-то закономерность чувствовалась.

Леопольд попал в третью от входа купе (отсек, как он сразу стал про себя называть), где уже находился хмурый верзила — скорее всего, уголовник, и тихий, очень приличного вида старишок, сидевший в уголке с отсутствующим видом. Невозможно было представить, что такой мог совершить какое-нибудь преступление.

Загрузка вагона продолжалась около часа и, в конце концов, его заполнили настолько, что новоприбывшие и шагу не могли ступить внутрь отсека, а вынуждены были сразу лезть на верхние полки и там размещаться, как придется. Видимо, подходили еще фургоны с заключенными.

Наконец суета улеглась. Все начали устраиваться поудобнее, насколько это было возможно в такой тесноте. Вагон стоял на запасных путях. В окно, через проход виднелась неопрятная платформа багажного склада. Время от времени по рельсам то в одну, то в другую сторону проходили равнодушные, усталые рабочие в засаленных спецовках, которые даже глаз не поднимали на вагон с заключенными. Такие вагоны они видели по несколько раз в день и давно перестали обращать на них внимание.

В проходе появился белобрысый лейтенант и, видимо, неудовлетворенный тем, как распределены подопечные, стал деятельно хозяйничать, производя дополнительные перемещения.

Леопольд, по усвоенной в тюрьме привычке избегать перемен (сейчас — сносно, а как будет на новом месте — неизвестно!), старался не попадаться на глаза деятельности лейтенанту и отодвинулся от решетки, у которой было расположился.

— Вы это место освобождаете? — вежливо обратился к нему худощавый, длиннолицый человек, говоривший с сильным австрийским акцентом, — явно политический.

— Да.

— Тогда я, пожалуй, здесь устрюсь... — и хотя никто его не спрашивал о причине, пояснил: — Все-таки здесь воздуху больше, а у меня астма.

Действительно, в глубине купе было темно и душно.

Австриец вытащил из темного угла свой узел и с ви-

димым удовольствием начал располагаться. Да не в доб-
рый час. Его возня привлекла внимание проходившего
как раз мимо одолеваемого жаждой деятельности лей-
тенанта.

Крутой подбородок, короткий, тупой нос, белые гла-
за из-под лакированного козырька глубоко надвинутой
фурражки... Он несколько мгновений следил за мани-
пуляциями австрийца и решил, что необходимо вме-
шаться.

— Ты! — ткнул он толстым пальцем через решетку.

— Я, — подтвердил австриец.

— Полное имя, фамилия? — заговорив готовыми
формулами, лейтенант почувствовал себя увереннее.

Австриец назвал себя.

— По какой статье?

Австриец все так же бесстрастно назвал цифру.

Удовольствие выразилось на дотоле озабоченном ли-
це лейтенанта.

— А что это за статья? — спросил он почти весело, с
улыбкой, которая ему самому, вероятно, казалась хит-
рой и многозначительной.

Австриец молчал. Менее опытные арестанты от не-
чего делать начали прислушиваться к разговору, бывав-
шие же продолжали кто тихо беседовать с соседом, кто
дремать.

— Ну, что значит? Статья-то? А? — повторил вопрос
лейтенант. — Скажи громко! Знаешь?

Австриец посмотрел на лейтенанта с выражением ус-
сталой покорности.

— Знаю, — ответил он.

— Ну, так скажи! — настаивал лейтенант.

Австриец молча смотрел мимо лейтенанта в окно.
Лейтенант же победоносно оглядывал арестантов, среди
которых он проводил сейчас воспитательную ра-
боту, и потом опять уставился на своего подневольно-
го собеседника. Так прошла томительная минута.

— Измена родине! Вот что значит твоя статья! — про-
изнес лейтенант таким тоном, словно сообщал нечто
значительное и радостное.

Австриец продолжал тоскливо молчать и все смот-
рел мимо лейтенанта в окно.

— Измена родине! — повторил лейтенант громо-

гласно и снова оглядел всех, желая проверить, какое впечатление произвели его слова. Но все угрюмо молчали.

Лейтенант немного смущился и, чтобы скрыть это, заговорил быстро и жестко, распаляя сам себя:

— Изменник ты — вот кто! Понял? Как же ты это? А? Изменил...

Австриец наконец не выдержал. Он поднял голову и, пристально глядя в пустые, белые глаза лейтенанта, словно рассчитывая прочесть в них то, чего в них не было и быть не могло, сказал тихо, но твердо, с огромной силой убежденности:

— Своей родине я не изменил!

Лейтенант понял только, что этот длиннолицый отрицает свою вину, и разразился бранью, но тут из темной глубины отсека вдруг послышался густой бас верзилы-уголовника:

— Ну ладно, кончай, начальник! Делать тебе, что ли, нечего? Одни разговоры, а паек до сих пор не раздали. Порядка не знаешь!

Как ни странно, лейтенант не только не рассердился на эту грубую реплику, но она его сразу успокоила. Он понимал, что она справедлива. И вообще лейтенанту всегда были ближе и понятнее уголовники, чем политические. Ну — украл, ну — убил. Плохо, конечно, — вот ведь поймали, осудили. Но здесь все ясно. А эти интеллигентики с их непонятными, дурацкими рассуждениями вызывали в лейтенанте органическую неприязнь. И чего хотят, спрашивается? Чего им недостает? Порядок в стране есть, не голодают, обуты-одеты... Нет, таких жалеть нечего.

И потому, бросив успокоительно верзиле: «Сейчас паек раздадим!» — лейтенант приказал австрийцу:

— С вещами на выход!

Австриец уже ждал этого. Он покорно встал, двойным узлом связал свои более чем скучные пожитки и, грустно улыбнувшись Леопольду, ступил в проход.

Хотя время тянулось медленно, все-таки оно двигалось. Уже давно наступил ранний зимний вечер. В арестантских отсеках освещения не полагалось, но проход, в котором беспрерывно расхаживали дежурив-

шие эсэсовцы, из соображений безопасности, освещался хорошо.

Казалось, что уже поздно, но опытные уголовники умели безошибочно определять время по второстепенным признакам: погасли огни в конторе грузового склада — шесть часов вечера; прозвучал гнусавый заводской гудок — половина восьмого; прогрохотал, лихо свистнув особым сигналом паровоза, международный экспресс — девять пятнадцать.

К этому моменту уголовники уже точно определили, к какому поезду подцепят вагон и в какое время отправят.

— Ну все — ночь спим! — объявил один из них. — Первая выгрузка в шесть десять. Порядок!

Кто-то пробозал спорить, но ему деловито и убедительно доказали, обнаружив превосходное знание железнодорожного расписания, что, поскольку в юго-восточном направлении, кроме полуночного скорого и более раннего почтово-пассажирского, больше поездов нет, то отправят именно с этим последним в десять сорок семь. К скорым — снисходительно объяснили непосвященным — арестантские вагоны подцепляют редко, да и стоит здесь скорый слишком мало.

Действительно, вскоре после прохода международного экспресса почувствовался мягкий толчок, потом возник еле слышный, но явственный тянувший звук, с полу начало подталкивать в ноги, и Леопольд, заглянув через проход и решетку в окно, убедился, что вагон движется.

Через некоторое время, проведя вагон мимо освещенной будки стрелочника, мимо тоже почему-то ярко освещенных штабелей шпал («Чтоб не воровали, что ли?» — мелькнула у Леопольда догадка), вагон окунули в сплошную тьму запасных путей, куда, однако, стали доноситься многообразные звуки, присущие городскому вокзалу. Слышались даже автомобильные сигналы.

— Сзади поедем, — безошибочно определил все тот же уголовник.

— Вы уверены? — неожиданно прервал свое молчание интеллигентный старичок.

— Ну да! Это — западный тупик. Вон там, — он ткнул

большим пальцем через плечо, — второй поворотный круг.

Спорить не имело смысла — уголовник говорил дело.

Все эти часы Леопольд сидел почти безучастный к окружающему, погруженный в собственные мысли.

Теперь, когда радость первых дней, вызванная легким приговором, прошла и он пытался разобраться в своем новом положении, Леопольд отдавал себе отчет в том, что полным успехом финал его дела считать нельзя.

Да, ему удалось избежать худшего — длительного заключения в концлагере; да, он очень скоро теперь увидит Луизу и сына, обнимет мать. Все это так, и, конечно, он счастлив. Это главное, что нужно человеку. Это и сознание того, что он прошел тягчайшие испытания достойно, никого не оговорил, не раскис, не просил у них снисхождения, отстаивал свою, — а значит, и общую, — правду до конца.

Все это так... Но все же вот он, честный человек, ни в чем не повинный даже перед ними, — сидит сейчас в отсеке арестантского вагона вместе с уголовниками и ждет отправки в какую-то глушь, в безвестную деревню, где совершенно не нужны его знания и силы и которая ему тоже совершенно не нужна... И предстоит ему там провести целых четыре года — как раз то, что осталось от его молодости.

Нет, это, конечно, не победа. В этой необычной партии, в которой первый ход сделали черные и в которой его позиция все время была хуже, ему удалось ценой невероятных усилий избежать мата.

Что же — значит, ничья? Нет, и не ничья. Ничья — это когда обе стороны признают, что партия выиграна быть не может. А у нас...

Шлегель же обещал, что будет копать... Значит, он считает нашу партию неоконченной.

Я тоже не считаю, что партия доиграна до конца, что все возможности исчерпаны.

Значит, ты хотел бы возобновить ее? Что ж, можно и возобновить, даже нужно возобновить... Когда-нибудь... Но только в других условиях...

Вагон опять двигался и вскоре оказался на первом пути. В окно, через плечо эсэсовца, теперь виден был хорошо освещенный конец перрона, по которому сносили люди, озабоченные, торопящиеся, некоторые опечаленные расставанием, другие радостно-возбужденные предстоящей поездкой, но все свободные, едущие туда, куда сами хотят, и все — ну решительно все — не обращали ни малейшего внимания на вагон, из темной глубины которого смотрели на них жадные глаза людей, увозимых в неволю. Может быть, кто-нибудь мимоходом подивился, что багажный вагон идет в хвосте поезда, — и только.

Суета на перроне усилилась. Мимо быстро прошел дородный человек в форме железнодорожника, размахивая красным фонарем. Потом сдвинулся с места и поплыл вправо ярко освещенный газетный киоск. Рослый вокзальный полицейский молодцевато козырнул комуто в проходящем вагоне — вероятно деятельностиному лейтенанту. Опять возник исчезнувший было железнодорожник с фонарем. Он теперь, хотя и продолжал шагать в ту же сторону, быстро уплыл вправо.

Поезд набирал скорость, еще даже не миновав перрона.

«Уважите в арестантском? — мысленно проговорил Леопольд.—Вернусь в международном. Мне предстоит проделать полный круг. Путь нелегкий и неблизкий, но не вы ли научили меня преодолевать неодолимые трудности?

Через пять лет, раньше ли, позже ли, но я вернусь.

Это не ваша страна. И она не умерла.

Она лишь спит... Но проснется...»

1972—1974 гг.

ТРАВА ДЛЯ ТИГРА

«Уничтожать несогласного — какой простой выход из затруднения!»

Г е т е. «Фауст»

Он был единственным японцем в нашем дворе.
Как-то, отворив мне дверь, мама сказала многозначительным тоном:

- А у нас новый сосед...
- Да? Кто же?
- Японец...
- Японец?
- Да!
- Н-да...

Я молча снял шляпу, пальто и прошел в комнаты. Мама последовала за мною. Она любит поговорить, когда я возвращаюсь с работы, спросить о новостях, обменяться мнениями.

На этот раз у меня никаких новостей не было, а у нее оказалась, и не слишком приятная.

Японец в нашем дворе? Какая нелегкая занесла его сюда? Здесь район не японский, а ведь они любят селиться кучно.

— Кто же он такой? — спросил я после длительной паузы.

— Бог его знает! Приехал на рикше, с двумя чемоданами, поднялся в четырнадцатый номер к Гонзалвесам.

- У них разве есть свободная комната?

- Вероятно, сдали комнату бабушки...

Старуха Гонзалвес умерла три месяца назад, люди они небогатые. Понятно, что они не прочь сдать освободившуюся комнату. Но зачем же было пускать японца?

Мама словно прочла мои мысли. Она сказала:

— Наверно, сорвали с него порядочный куш. У кого еще сейчас могут быть деньги?

Шел второй год Тихоокеанской войны, и, кроме спекулянтов, всем приходилось подтягивать пояса потуже. Ну, а японцы, конечно, дело другое. У них военная иена. Сколько надо — столько напечатают, какой захотят — такой установят курс. Обеспечение — экспедиционная армия, три миллиона штыков. Моральный фактор — императорская жандармерия, «кемпетай» — учреждение солидное, с ним спорить не приходится...

Придет в магазин жандарм в ярко-желтых сапогах.

— Вы что, отказываетесь принимать иену? Вы, может быть, против создания сферы сопроцветания Великой Восточной Азии?

У коммерсанта начинают дрожать коленки.

— Нет, что вы! Я — за...

Он принимает желтую бумажку с изображением седобородого старика и дает товар, за который, правда нелегально, но плачено настоящей валютой.

Итак, у нас во дворе появился японец!

Теперь не послушаешь короткую волну при открытом окне, не сообщишь живущим напротив филиппинским музыкантам, не выходя из дома, а так, из окна в окно, о потоплении очередного японского броненосца. Да, надо держать ухо востро!

Вскоре я его увидел. Он прошел мимо наших окон — невероятно худой, длинноногий, нескладный. Тощая шея с резко выдающимся кадыком казалась еще длиннее от того, что он всегда ходил без галстука, с расстегнутым воротом.

Странный японец. Странно в нем многое: небрежность в одежде, — японцы педантично аккуратны и подтянуты; отсутствие характерной японской собранности, настороженности, что проявляется у них даже в походке; бедность.

Мы знаем, конечно, что в Японии есть бедные японцы, так же как есть хорошие японцы. Но здесь, в Китае, мы таких не видели. Ни тех, ни других.

Еще одна его странность — рост. Я — выше среднего роста, а он выше меня. Для японца это почти невероятно. Может быть, он с Хоккайдо? Или он кореец?

Нет, японец. Дворник Дун, умный старик, говорит, что японец, а уж что говорит Дун, всегда так и есть.

Фамилия его — Кубота, это я узнал из визитной карточки, прикрепленной к наружной двери. Там, вероятно, указано и место работы, во всяком случае официальное, но останавливаться и разглядывать карточку я не стал. Фамилию же прочел на ходу — она напечатана жирным шрифтом.

И то, для чего, спрашивается, мне его фамилия? Так, пустое любопытство, маленькая человеческая слабость. Кубота так Кубота, мало их, что ли! Фамилия распространенная.

Дома я бываю редко. С утра в редакции, потом носущусь по городу: пресс-конференции, интервью, театральные постановки, спортивные соревнования.

Нас в редакции, включая редактора и ответственно-го секретаря, — семь человек. Я совмещаю обязанности политического корреспондента, театрального рецензента и спортивного обозревателя. Да еще о городской хронике надо не забывать. Она поручена нескольким сотрудникам одновременно, и, конечно, «у семи нянек — дитя без глазу» — отдел этот хромает у нас на обе ноги.

Кубота я вижу редко. Иногда, вернувшись домой раньше обычного и усевшись у окна подышать свежим воздухом, я слышу тихие, как бы неуверенные и очень нежные звуки японской флейты.

Это сосед тоже сидит у раскрытоого окна и, глядя на чужие, китайские звезды, тихо-тихо наигрывает грустные мелодии своей родины.

Я знаю, что многие считают японскую музыку примитивной. Возможно, они правы. Но все-таки есть в ней что-то такое, что не может оставить человека равнодушным, не может не затронуть какие-то сокровенные и чистые глубины его существа.

На меня японская музыка действует двояко. Она умиротворяет душу, проникая в нее теплой волной очищающей грусти, и будоражит разум. Я всегда начинаю думать, что не может быть плохим народ, умеющий так поэтично, так проникновенно грустить. И все-таки...

Я родился в Китае, это моя вторая родина, мой доб-рый отчим. Я с детства вижу, что японцы делают с ним,

я был свидетелем того, как они завоевали Маньчжурию. Я не могу не ненавидеть их.

Но мое мировоззрение, недавно обретенный смысл и цель жизни запрещают мне ненавидеть какой-нибудь народ. Я знаю это и мучаюсь. Я борюсь с собой, и сильнейшим моим союзником в этой борьбе оказываются не доводы разума и теоретические положения, а музыка, японская музыка.

Мама говорит, что Кубота играет каждый вечер, но мне редко удается послушать его игру — я почти всегда возвращаюсь домой после полуночи.

Мы познакомились случайно.

Неподалеку от дома меня застал свирепый тропический ливень, один из тех, что раза два-три за лето случаются в Шанхае. Я стоял в подворотне, в каком-нибудь полуквартале от дома, и проклинал злосчастную встречу с приятелем, отнявшую у меня три минуты — как раз те, которых не хватило, чтобы спокойно дойти до дому.

Вот теперь стой и жди, когда кончится это извержение, а оно может продлиться и час и больше. И хоть бы еще одна душа была в этой подворотне! Скука и досада, переходящая в злость, овладевали мною, причем злость самого неприятного свойства: на самого себя.

Вдруг в просвете подъезда возник раскрытый зонтик, и в следующую секунду рядом со мной оказался тощий, долговязый человек, в темно-синем костюме, серой кепке и брюках, подвернутых почти до колен.

Он стряхнул воду с зонта, осторожно поставил его в сторону — обсыхать — и, достав из кармана носовой платок, начал вытирать лоб. В темноте я не разглядел его лица.

— Ну и дождь, — обратился он ко мне по-английски, но с таким сильным и таким характерным акцентом, что я сразу признал в нем японца. Кубота! Да, это мой сосед.

— Вы, кажется, изрядно промокли, — отозвался я.

— Да, я надеялся добежать до дому, но только зря промочил ноги...

«Небось не растаешь», — подумал я и невольно перевел взгляд на его ноги. Его обнаженные икры белели

в темноте. Мускулистые, не слишком кривые ноги. Ноги легкоатлета.

— Вы — спортсмен? — спросил я.

— Немножко, — ответил он и улыбнулся, поняв причину моего вопроса. — Бейсбол.

Ну, конечно, бейсбол. Это у них национальная игра, причину популярности которой в Японии и в Америке я никогда понять не мог.

— А вы? — спросил он в свою очередь, больше из вежливости, чем из интереса.

Мы разговорились, как всегда бывает при случайном знакомстве: о том о сем и ни о чем в особенности.

Потом мы вместе добирались до дому, что было нелегкой задачей, так как вода залила мостовую и приходилось перебираться по шатким мосткам, положенным заботливыми дворниками.

Знакомство наше развивалось очень медленно. Мы виделись редко — в разное время бывали дома. При встречах ограничивались обычным приветствием илиничего не значащими замечаниями по поводу пресловутой шанхайской жары.

В одну из ужасных августовских ночей, когда невозможно заснуть, так как самая мысль о мягкой постели невыносима, я, отчаявшись дождаться хотя бы легчайшего сквозняка в квартире, вынес стул во двор и в каком-то томительном полу забытьи усился на нем.

Двор тонул в темноте. После десяти часов японцы выключали свет по всему городу. Мера эта была вынужденной, так как, несмотря на все строгости, население саботировало указания противовоздушной обороны.

Кромешная тьма всегда неприятна, а в такую жару она действует особенно удручающе. Она окутывает своим непроницаемым пологом, в котором, кажется, задохнешься, как от прижатой к лицу подушки. Свет, возможность видеть раздвигает эту завесу и, давая зрительное ощущение простора, устраниет это невыносимое чувство удушья.

Я сидел в изнуряющем и бессмысленном бодрствовании, и у меня даже не хватало энергии перенести свой стул поближе к кому-нибудь из соседей, чтобы скоротать время беседой.

Хотя людей не было видно, я знал, что никто не спит. То здесь, то там, как огоньки в степи, возникали красные точки зажженных сигарет, слышался невнятный, как шелест травы, звук приглушенных голосов (почему в темноте люди всегда говорят шепотом?), скрип ботинок: кто-то, очевидно, прохаживался по двору.

И вдруг совсем близко от меня послышался звук японской флейты. Признаться, в этот раз я не обрадовался даже ему. Но песенка оказалась хорошей. Она пользовалась популярностью в Харбине в мои школьные годы, а человеку всегда приятно то, что напоминает ему детство.

Кубота сыграл ее с большим чувством — видно было, что она ему тоже нравится. Но играл он так тихо, что, кроме меня, вряд ли кто-нибудь слышал ее. Воспоминания о безвозвратно минувших днях нахлынули на меня. Когда он кончил, я не выдержал и, повернувшись, сказал в темноту:

— Вы играли «Такева Номидоко», не правда ли? Чудесная вещь.

— Да, да, «Такева», «Такева», — оживленно отозвался Кубота, и чувствовалось, что, говоря это, он кивает головой. — А вы эту песню знаете?

— Конечно. Я ведь из Харбина.

— А со-деска!¹ — забывшись, произнес он по-японски и сейчас же, переходя на английский, спросил: — Вам нравится японская музыка?

Вернее и проще всего было сказать: да. Но мне не хотелось быть слишком любезным с японцем — хватит с них подхалимов, клянущихся им в вечной дружбе и признательности за их благодеяния. Поэтому я ответил сдержанно:

— Я слишком мало се знаю.

Но, сказав это, почувствовал, что получается слишком уж неприязненно, и потому добавил:

— Но то, что знаю, мне нравится.

— А вот эту знаете? — спросил он и вновь заиграл.

Простая до наивности мелодия зазвучала в темноте. Кубота сыграл один пассаж и выжидающе замолчал.

— Знаю, — сказал я. — Это «Катюша Кавай».

¹ Ах, вот как! (Японск.)

— Да, это ваша Катюша. («Катюса» — выговаривал он.) Катюша Маслова. Вы знаете?

Я знал.

«Воскресение» — любимый роман японцев, и о его героине они сложили эту сентиментальную песенку.

— А вы читали «Воскресение»? — спросил я довольно бестактно.

— Конечно, конечно, — ответил Кубота и вслед за тем быстро и увлеченно заговорил об этой книге.

В первый момент я был убежден, что восторг его относится к чисто любовной линии романа. Но уже через несколько фраз я понял, что ошибся. По-видимому, ничего из глубины этой книги не ускользнуло от Кубота.

С каким-то юношеским пылом он говорил о ней, отмечая — очень метко — особенно сильно волнующие его места, и чуть ли не наизусть пересказал (здесь ему мешало посредственное владение английским языком) поразительную характеристику сановника из пятнадцатой главы второй части.

— Вы знаете, — говорил он, — эти страницы, может быть, самые лучшие во всей книге. Нигде Толстой не поднимается до такого смелого выявления бессмысленности всего существующего порядка вещей.

С тем, что именно эти страницы — самые лучшие в романе, я, пожалуй, согласен не был, но спорить не хотелось, так как меня слишком удивили последние его слова.

«Бессмысленность всего существующего порядка вещей», — так он сказал. Здорово! Очень здорово, даже если он относил эти слова только к старой России. Впрочем — проверим.

— Да, в царской России порядок вещей был бессмысленный и несправедливый, — ответил я и тут же, как истый журналист, порадовался удачно получившейся фразе: с одной стороны, ничего против их порядка вообще, с другой — термин «царская» в таком контексте — явный вызов его монархическим чувствам. Все-таки научили чему-то бесконечные словесные перепалки на пресс-конференциях.

— Не только в России, — услышал я вдруг слова, поразившие меня своей неожиданностью, — были бессмысленности и жестокости везде достаточно...

Неужели я его правильно понимаю? Неужели я на-
конец-то встретил японца, критикующего свой строй?
Сейчас посмотрим.

— Даже у вас?

— Конечно. Вы бывали в Японии?

— Нет, не доводилось, — отвечал я, — но я жил
в Маньчжурии... «И прекрасно знаю ваши замечатель-
ные порядки», — говорит моя пауза. Но поймет ли он
ее? Он, кажется, понял. Он говорит:

— Не судите о японцах по тем, которых видите
здесь или в Маньчжоу-го. Но о порядках наших судить
вы можете.

— Они такие же, как... в метрополии?

Это умышленная обмоловка. «Вы говорите, что вы
«освобождаете», «устанавливаете новый порядок», «бла-
годетельствуете», а мы считаем вас колонизаторами.

Но Кубота или не замечает вызова, или намеренно
пропускает мою колкость мимо ушей.

— Да, в общих чертах. Конечно, там у нас все уже
устоялось, а здесь им еще предстоит много сделать.

— Кому это «им»?

— Тем, кто руководит нами...

— А вы разве не причисляете себя к ним?

— Я — человек маленький. Недоучившийся студент.

Демобилизованный по болезни офицер.

— А чем вы больны?

— Я был тяжело ранен в Хубее. У меня прострелено
легкое. Пулю вынули, но начался процесс, служить
в армии я уже не мог. Меня демобилизовали. Мне бы
надо пожить в Ляошане, но там опасно — партизаны.

— А домой? Ведь у вас в Японии великолепные ку-
рорты!

— Да, надо возвращаться домой, но меня здесь за-
держивают некоторые обстоятельства...

Спрашивать, что это за обстоятельства, я не счел
уместным. В Азии не полагается задавать много вопросов. Но вскоре эти обстоятельства наглядно представили
предо мной в образе очаровательной молодой японки.

Я не являюсь поклонником столь усердно воспевае-
мой некоторыми западными писателями красоты япон-
ских женщин. Это неживая, кукольная красота.

Но Таюки была действительно хороша. Не знаю, где

он нашел такую: высокую, статную, пышнотелую, с точеным лицом и большими, почти совсем не раскосыми черными глазами. Даже нос — очень широкий у японок — у Таюки был почти безупречной формы. И при всем том это была типичная японка,— всегда носила «тари», обута была в «гета»¹, причесывалась по-японски. Та же походка на полусогнутых ногах, та же манера втягивать воздух сквозь зубы и улыбаться, улыбаться.

Какой резкий контраст с ее ослепительной внешностью составлял мой сосед со своей вытянутой, заостренной, как яйцо, головой, на которой короткие волосы торчат, как на щетке для мытья кастрюль,—во все стороны.

Таюки была гейшей.

Гейша в общем довольно широкое понятие, и здесь нет смысла о нем подробно толковать. Таюки работала в кафе, но не в обычном, где пьют кофе и едят пирожные, а в специфическом (впрочем, этот тип кафе как раз и обычен в Японии), где надо не только подать и убрать со стола, но уметь развлечь клиента беседой, пением, не отказаться потанцевать с ним и вообще поменьше отказываться. Это, собственно, и значит быть гейшей.

Роман у Кубота с Таюки был бурный и длительный.

Она часто приходила к нему днем или приезжала после работы ночью и оставалась до утра. Иногда (вероятно, когда бывал при деньгах) Кубота шел в ее кафе, и потом они вместе возвращались. В таких случаях они часто бывали нетрезвы (японцу достаточно для этого бутылки пива), громко смеялись, пели.

Порой они ссорились.

Кубота ревновал ее и, по-видимому, не без основания, так как, судя по всему, верность не была в числе ее добродетелей.

И все-таки она любила его своеобразной любовью Манон Леско.

Она дарила ему приятные мелочи: то шелковый шарф, то сорочку, то еще что-нибудь незаметное, но нужное, до чего может додуматься только женщина. Был ли он в состоянии отдавать? Не знаю. Жил он очень скромно, в средствах был стеснен. Забрать ее из

¹ Принадлежности японской женской одежды.

кафе он не мог, и в то же время не находил в себе сил порвать эти мучительные отношения.

Я долгое время не мог понять, чем он занимается, на что живет. Как-то — к слухаю — я спросил его о работе. Он улыбнулся и сказал:

— Я — ваш коллега, журналист.

— Ах, вот как? Очень приятно. Где же вы работаете?

— В «Тайрику Симбун».

Вероятно, на моем лице выразилось удивление — ведь по всем признакам и наблюдениям он не был связан никакими определенными обязанностями и свободно располагал своим временем.

— Я — внештатный сотрудник, получаю от них работу на дом.

Из дальнейшего разговора выяснилось, что он редактирует и стилистически правит некоторые материалы, поступающие в газету, — главным образом, присылаемые фронтовиками описания боевых эпизодов. Оказывается он еще пишет стихи. Это интересная новость.

— Где же вы печатаете ваши стихи, Кубота-сан? Насколько я знаю, «Тайрику Симбун» стихи печатает редко.

— Редко и только плохие. Я не хочу сказать, — уточнил он, — что я пишу хорошие. Но во всяком случае я пишу искренне и честно, пишу то, о чем поет моя душа.

— Вы разве считаете, что в «Тайрику Симбун» пишут неправду?

Кубота искоса посмотрел на меня и усмехнулся. Право же мне на мгновение показалось, что теперь он начинает меня осторегаться.

— А у вас в газете пишут правду? — спросил он вместо ответа.

— Да, мы пишем правду, — ответил я.

— Вы в этом уверены?

— Вполне!

— Субъективно вы пишете правду, потому что, по-видимому, верите в то, что пишете, ну, а объективно...

— И субъективно, и объективно...

— Из чего вы черпаете вашу уверенность?

— Из той идеи, которой я служу.

— Что такая идея? Фикция! Важна не идея — в хо-

роших идеях человечество никогда недостатка не испытывало, — важно ее практическое осуществление.

— Мы и осуществляем. Нам помешали, но как только мы закончим войну, мы возобновим свою работу.

Кубота промолчал, явно не желая продолжать разговор.

В тысяча девятьсот сорок третьем году в Тихоокеанской войне наступил перелом. Американцы успешно осуществляли свою стратегию прыжков с острова на остров, с постепенным приближением к японской метрополии.

Сообщения японских газет становились все менее разумительными и не могли удовлетворить того, кто хотел знать истинное положение дел на фронтах.

Кубота часто вечером поджидал моего возвращения из редакции, чтобы справиться с новостях. Он знал, что нам известно больше, чем им разрешается знать.

Обычно, завидев меня, он высовывался из окна и говорил:

— Добрый вечер, мистер... какие новости?

— Сегодня ничего нового, Кубота-сан, — отвечал я.

— О, ничего нового? Хорошая новость! Прекрасная новость! — отзывался он и, вполне удовлетворенный, закрывал окно.

Вообще у него было чувство юмора. Однажды, когда я спросил его о причинах известной недоверчивости и подозрительности японцев, он рассказал мне следующее:

— У меня был один знакомый, который всегда повторял: все иностранцы лгут, им верить нельзя! Как-то я высказал сомнение в этом, и тогда он привел мне такой пример. Суди сам, сказал он, вот что со мной произошло. Один иностранец мне что-то сообщил. Я ему, конечно, не поверил. Но потом выяснилось, что он сказал правду. Значит, он все-таки ввел меня в заблуждение? Как же после этого можно верить иностранцам?

Как-то во время беседы (мы изредка заходили друг к другу) я не выдержал и спросил его о родных, о доме и сразу понял, что задел самую чувствительную струну его души.

— О, дом... — он откинулся на спинку стула и за-

крыл глаза. Такая светлая улыбка затеплилась на его лице, что оно на мгновение показалось мне красивым.

Он глубоко и шумно вдохнул, как будто ощутил в эту минуту запах родного очага. Так сидел он молча, с закрытыми глазами, словно видел прекрасный сон. Потом он открыл глаза, словно проснулся, посмотрел на меня немного смущенным, извиняющимся за кратковременную слабость взглядом и заговорил.

Скоро и лаконично он рассказал мне, что у него живы отец и мать, есть две сестренки, которых он оставил еще девочками, школьницами. Отцу принадлежит небольшой магазин аптекарских товаров. Кубота назвал город, — я не запомнил названия — где-то в юго-западной части Хонсю. Город их замечателен тем, рассказывал Кубота, что там растет сакура¹ особой породы, цветущая розовато-желтым цветом, подобной которой, по его мнению, нет нигде.

— Если бы вы видели Японию в апреле, когда цветет сакура! — воскликнул он. — Это лучшее время года. Дни стоят теплые, как сердце матери, тихие и ясные. Воздух особенно прозрачен и нежен, в природе и душе разливается какое-то необычайное, ни с чем не сравнимое чувство покоя, созерцания и самоуглубленности. И повсюду сакура белая и бледно-розовая, как пена, и страна наша тогда похожа на невесту, убранную к венцу и со сладостным трепетом ждущую своего суженого.

— Почему вы не женитесь, Кубота-сан? — вырвался у меня неожиданный и довольно бесцеремонный вопрос. Но моего собеседника он не удивил. Он разоткровенничался.

— Я вообще не приспособлен для семейной жизни. Наши женщины меня раздражают, они не развиты и слишком покорны. Но Таюки-сан я люблю. Она необыкновенная женщина. Она не очень образованна, но от природы умна. С ней не скучно.

— Вы не думаете жениться на ней?

— О, это сложный вопрос. Он имеет две стороны. С одной стороны, отец не разрешает жениться на ней — мы ведь самураи, и мне с детства предназначена невеста из одной близкой нам семьи. Она до сих пор ждет

¹ Японская вишня.

меня. Отец два раза писал, чтоб я возвращался, и, рассердившись за неповинование, перестал высыпать деньги, а сам я зарабатывал мало.

— А вторая сторона?

— Вот это и есть вторая сторона. На что мы будем жить? Я уже давно требую, чтобы Таюки бросила свою работу, но она мне говорит: а ты меня сможешь прокормить?

Он помолчал, словно взвешивая, сказать ли то, что является самым главным, и затем, видимо, решив этот вопрос положительно, заговорил:

— И потом она меня обманывает. Я это знаю, хотя она клянется мне в верности. У нее много поклонников, и я ничего не могу с этим поделать. У меня связаны руки. Иногда я ненавижу ее, но стоит ей остаться со мной наедине... Она подобна цветку магнолии: на него смотришь — не можешь оторваться, а потом от его аромата болит голова. Вот если бы я мог забрать ее из кафе!

— Кубота-сан, а почему вы не попробуете устроиться штатным сотрудником? В «Тайрику Симбун», кажется, неплохо платят.

Кубота усмехнулся.

— Этот вопрос тоже имеет две стороны. С одной стороны, меня вряд ли туда возьмут — я ведь на плохом счету, а с другой — я сам не пойду туда.

Увидев мой удивленный взгляд, он продолжал:

— Я ведь левый. Вас это удивляет? Да, я левый, но я не коммунист. Я не сторонник насильтственного переворота, я сторонник убеждения, сторонник реформ. Но не малокровных, ничего не решающих и никому не помогающих. Я за широкие и радикальные реформы.

— И вы надеетесь добиться их мирным путем?

— Безусловно. Но это, конечно, дело не легкое и не скорое. До войны у нас была организация интеллигенции. В тридцать седьмом году, когда началась война в Китае, нас разогнали, руководителей арестовали. Они и сейчас сидят. Я, хотя и не был руководителем, тоже просидел три месяца.

Он усмехнулся, вспоминая.

— Они все допытывались, кто нами руководит извне, кто нас научил, кто платит... Они настолько презирают людей, настолько оторвались от народа, что не могут

понять, как это кто-то может беспокоиться о его судьбе. Им все мерещатся происки внешних врагов. Как будто нужен кто-то посторонний, чтобы научил ненавидеть их, когда сами они являются наилучшими учительями.

— Какова же ваша программа?

— У нас не было никакой разработанной программы. Программа подавляет личную свободу человека. А дороже свободы нет ничего.

— Да, но все же, чего вы добивались?

— Духовного обновления японской нации, упразднения владычества милитаристов, большей заботы о благосостоянии народа и его духовных запросах.

— Все это очень туманно и расплывчато...

— И очень хорошо. Не надо никаких рамок, никакой колеи. Стоит ли бороться за свободу и в то же время лишать этой свободы людей, заставляя их поступать так, как считаю правильным я, вне зависимости от того, согласны они со мной или не согласны? Какая же это свобода? Это просто смена одной формы насилия другой. Нельзя тащить людей в рай насильно.

Мне хотелось сказать многое, но я предпочел не втягиваться в спор, а послушать, что он еще скажет. Поэтому я спросил:

— Но как вы себе представляете будущее вашей страны?

— Не думайте, что мы — агрессивный и беспокойный народ, каким нас рисуют. Наш простой народ очень трудолюбив и честен. А трудолюбивые люди не могут быть воинственными.

— Значит, надо обуздить милитаристов.

— Да, но не насилием...

— Вы, что же, собираетесь убедить тигра питаться травой?

— Нет, зачем же? Но я хочу поставить его в такие условия, когда ему больше нечего будет есть. Не захочет есть траву — пускай подыхает. Мы об этом жалеть не будем.

— Но даже если допустить, что вам удастся такая психологическая революция, вы представляете себе, какое время понадобится для этого? Ни вы, ни, вероятно, ваши дети и дети ваших детей не доживут до этого.

— Ну и что же! Такова наша судьба. Ничто великое в области духа не делается быстро. Как нельзя насиливать природу, так нельзя торопить историю. Всякое такое насилие, всякое форсирование событий слишком дорого обходится человечеству. Пусть все идет своим чредом. Нас еще мало в Японии, но мы есть. Знаете, как сказано в христианской книге о горчичном зерне: если зерно сохранится, то останется одно, если же упадет в землю и умрет, то прорастет и даст всходы. Пусть я уйду из этого мира, не увидев исполнения моей мечты, но если я оставлю после себя хотя бы двух человек, которые думают так же и стремятся к тому же, — я не напрасно прожил свою жизнь, и меня, не как личность, но как безымянную каплю великого очистительного потока, добром помянут потомки. И это будет величайшей наградой.

Жизнь — это сон. А я-то думал — явь.
Я думал, я живу, а это только снится!

Он очень выразительно прочел нараспев эти строки по-японски и потом перевел.

Наступила длинная пауза. Мы оба молчали и думали каждый о своем. О чем думал он — не знаю. Может быть, старался представить себе то время, когда в его стране все пойдет так, как он мечтал.

Эта наша беседа оказалась последней.

Вскоре он пришел ко мне и со смущенной и грустной улыбкой сказал:

— Таюки-сан покинула меня. Она уехала на север с одним спекулянтом.

Хотя, в общем, можно было ждать чего-то подобного, я все же растерялся. Я немного замешкался, подумал и ответил:

— Значит, она вас не любила по-настоящему, Кубота-сан. Стоит ли жалеть о ней?

Я прекрасно чувствовал фальшь этих слов, вернее, их немощь, но кто и когда произнес слова, способные успокоить боль, причиненную такой раной?

Ответ был трагически прост:

— Да, вы правы. Но все-таки очень больно.

И в такую минуту он был один, совершенно один, потому что я, при всем моем сочувствии к нему, был че-

ловеком другого мира, и мы с ним сделали навстречу друг другу только шаг, первый робкий шаг.

А среди соотечественников здесь он не имел никого близкого, да и не мог иметь, потому что в этой оккупированной силой оружия стране все его соотечественники были или военные, или чиновники, или дельцы, ринувшиеся сюда в поисках легкой наживы.

— Вам надо ехать домой, Кубота-сан! — сказал я решительно, и на этот раз, как мне показалось, сказал что-то дельное.

— Да, вы правы, надо ехать домой.

Эта мысль, видимо, соответствовала его собственному намерению, в правильности которого он не был уверен, и теперь явно обрадовался, получив поддержку со стороны.

Почти две недели я не видел его, а когда увидел, узнал, что у него уже все готово к отъезду, от отца получен благоприятный ответ, дома его ждут с нетерпением.

По сравнению с тем днем, когда он сообщил мне об измене Таюки, Кубота выглядел гораздо бодрее: чувствовалось, что хлопоты и сборы отвлекли его, а предстоящее возвращение на родину согревает его сердце.

Я поехал его провожать.

На всей пристани я был единственный европеец, и Кубота стоило немалого труда достать мне пропуск к пароходу.

Я, конечно, не стал подниматься на борт, чтоб не доставлять дополнительных хлопот тем потрепанным, мрачным субъектам, которые все время вертелись около меня.

Кубота стоял у борта прямо надо мной и улыбался своей застенчивой и грустной улыбкой. Истекали те томительные минуты, когда говорить уже не о чем, делать нечего, и вот стоишь, натянуто улыбаясь и с нетерпением ожидая минуты, когда пароход, наконец, отойдет.

Стали поднимать сходни, убрали канаты. Сзади к пароходу подошел небольшой буксиручик и, уткнувшись носом в корму морского гиганта, стал бесцеремонно отталкивать его от суши.

— Да, Кубота-сан, как называется город, куда вы едете? Вы мне как-то говорили, но я забыл... — крикнул

я, воспользовавшись наступившей в последнюю минуту
тишиной.

— Хиросима, — ответил он, улыбаясь и с какой-то
певучей нежностью произнося родные звуки.

— Хиросима, — повторил я, стараясь запомнить это
слово.

Пароход отчалил. Кубота еще долго стоял у борта и
махал мне рукой.

Шел конец июля тысяча девятьсот сорок пятого года...

ТАКАЯ ЛЮБОВЬ...

ИЗ ЦИКЛА «НЕВЫДУМАННЫЕ РАССКАЗЫ»

Впервые я увидел его в кафе, которое часто посе-
щал. Он возник в проеме двери, на мгновение задержав-
шись у порога, быстро оглядел помещение и, найдя сво-
бодный столик, прошел и занял его. Он заказал чашку
кофе и довольно долго сидел, отпивая медленными
глотками и большую часть времени глядя в окно.

Несомненно, он производил впечатление: высокий,
худощавый, с породистыми чертами лица, темно-кашта-
новыми волосами, разделенными на боковой пробор, и
синими внимательными глазами. Одет он был с той спо-
койной элегантностью, которая безошибочно свидетель-
ствует о давней привычке к хорошим вещам. В глазу
у него слепо посверкивал монокль. Ни дать ни взять
великолепный экземпляр чистого арийца, да к тому же
аристократического происхождения. Немцем он и ока-
зался, но это стало известно позднее.

Появление его в этом месте и в то время было не-
ожиданно и, пожалуй, для него несколько рискованно,
в силу причин, которые я сейчас изложу. Шел сентябрь
1942 года, кафе, о котором идет речь, находилось на
авеню Жоффр, в самом центре расселения русских в
Шанхае, большая часть которых, несмотря на свое фор-
мально эмигрантское состояние, сочувствовала Совет-
скому Союзу.

Небольшое кафе это, — оно, кстати, так и называлось: «Маленькое кафе», только по-английски: «Little Coffee Shop», — принадлежало двум бывшим служащим тогда уже упраздненного французского муниципалитета — русским по национальности, хотя и французским подданным. Франция под властью Петэна находилась в германской орбите, и шанхайские французы официально подчинялись правительству Виши, но на самом деле почти все были на стороне генерала де Голля, а хозяева кафе делали регулярные взносы — правда, негласно — в Советский Красный Крест. Но мне ли было этого не знать, когда пожертвования проходили через мои руки!

Основную клиентуру кафе составляла молодежь — русские, евреи, грузины, почти все знакомые между собой, многие состоявшие в приятельских отношениях друг с другом, так что зайдешь в кафе — всегда найдется с кем поболтать, обменяться новостями, сыграть партию в шахматы или нарды. Словом, место уютное, приятное, удобно расположенное и недорогое, что по тогдашним не очень сытым временам было обстоятельством немаловажным.

Но для немца-арийца — мы так их называли в Шанхае, чтобы отличать от многочисленных беженцев из Германии — евреев, считавших и называвших себя тоже немцами, — маленькое кафе это было местом отнюдь не самым подходящим. Скорее наоборот.

Зайдя однажды, он стал там появляться не то чтобы часто, но время от времени.

«Чего он сюда лазит?» — недоумевал я и, строя догадки, приходил к выводу, что ему любопытно посмотреть, как чувствуют себя сторонники СССР в эти критические для Сталинграда дни. «Тебе это интересно? — мысленно спрашивал я его. — Ну что ж, смотри. Можешь убедиться, что никакого уныния среди нас нет. Мы все уверены, что Сталинграда вам не взять, а вот в Берлине наши рано или поздно будут!»

Он всегда приходил один и все то время, что сидел в кафе, проводил в одиночестве — никто, естественно, с ним не заговаривал, не заводил знакомства, но и не задевал его никто, хотя среди постоянных посетителей были записные забияки, для которых затеять скандал или даже драку было делом привычным. Но он держал-

ся так сдержанно и корректно, что не давал ни малейшего повода для недовольства собой, а главное, в нем не чувствовалось высокомерия, потому что прояви он хоть в малейшей степени эту черту — ему бы несдобровать.

Меня интриговало выражение его лица, суть которого я никак не мог определить: грустное — не грустное, подавленное? Тоже нет. Тоскливо? Скучающее? Нет, все не то, совсем не то. Еще больше я заинтересовался им, когда увидел его читающим нашу газету. Оказывается, он знает русский язык! Любопытство одолело меня, и, сделав вид, что иду к телефону, я прошел туда-сюда мимо его столика. Он как раз читал мою корреспонденцию с японской пресс-конференции, материал острый, в котором нашли отражение мои вечные перепалки с японскими докладчиками.

После этого я не раз ловил (или мне это так казалось?) его внимательный взгляд на себе.

К самым редким явлениям люди в конце концов привыкают. Привыкли к нему и мы, но все же он нас — я говорю о себе и своей компании — не переставал интересовать. Слишком уж необычной личностью он казался.

И, конечно, мы постепенно кое-что о нем узнали. Шанхай — один из крупнейших городов мира, но иностранцев в нем насчитывалось тысяч около ста — население небольшого провинциального центра, так что общих знакомых найти было нетрудно. По правде говоря, специально я их и не искал. Жизнь моя в ту пору была насыщена делами более важными, но знакомые нашлись сами собой. Две очаровательные молодые особы из тех, что не очень строги в выборе знакомств и во всем прочем, как-то сообщили мне, что это действительно немец и даже граф (вот он откуда — монокль в глазу!), фамилия его фон Хольтиц. Все это было еще не так интересно, а вот что он, оказывается, антифашист, не ходит в местный немецкий клуб, почти ни с кем из местных немцев не знаетя, — объясняло многое.

Каким же одиноким должен был он чувствовать себя в Шанхае, в таком отдалении от родной страны, не имея возможности общаться со своими сородичами, которые если и не все были сторонниками Гитлера, то во всяком случае соблюдали полную внешнюю лояльность правя-

щему режиму, исправно посещали собрания в немецком клубе, делали пожертвования в фонд зимней помощи вермахту и так далее.

Узнав о фон Хольтице все это, я внутренне изменил свое отношение к нему, но, конечно, не делал никаких попыток познакомиться. Ведь все-таки между его родиной и моей шла война. Но интересовал он меня теперь гораздо больше, и в первую очередь хотелось знать, как бы он вел себя, если б находился в Германии. Дело в том, что я, подобно очень многим в ту пору, ожидал, что в случае нападения гитлеровской Германии на Советский Союз свое веское слово скажет германский рабочий класс. Ведь на последних свободных, то есть много-партийных, выборах в Германии в 1932 году за коммунистов проголосовало несколько миллионов человек. Где же они сейчас, эти миллионы, спрашивал я себя, как спрашивали о том же многие люди на родине и повсеместно. Куда они делись, когда проявили себя?

Фон Хольтиц явно не принадлежал к числу тех, кто голосовал за коммунистов. Известно было — ходили глухие, неясные слухи, — что в Германии существует оппозиция Гитлеру в аристократических и в военных кругах. Первые не могли примириться с тем, что страной правят невежественные и преступные плебеи, вторые — что первоклассной германской армией руководит выскочка-дилетант с авантюрной складкой, явно ведущий вооруженные силы к разгрому, а страну к гибели. Видимо, фон Хольтиц принадлежал бы к этим кругам, говорил я себе.

К тому времени мы уже, хотя и оченьдержанно, кланялись.

Это произошло после того, как однажды я, войдя в кафе с дамой, остановился, оглядываясь в поисках свободного столика.

В тот день было особенно много народа и, что удивительно, никого из близких знакомых, к кому мы могли бы подсесть.

Я не обратил внимания, что стоим мы как раз над столиком фон Хольтица. Он заметил мое затруднительное положение и вежливо, но без всякой угодливости, обратился ко мне по-английски:

— Вы можете занять этот столик, я сейчас его освобождаю.

Я поблагодарил, но воспользоваться его любезностью не спешил, чтоб не оказаться в щекотливом положении. Как-никак он — немец, а я сотрудник местной советской газеты, да еще и секретарь Общества помощи советскому Красному Кресту — лицо некоторым образом официальное.

При следующей встрече — на этот раз сидел в кафе я, а вошел он, — фон Хольтиц сдержанно поклонился, я ответил таким же поклоном, но счел нужным впредь и самому кланяться — все же он был старше меня лет на десять.

Разговорились мы с ним впервые при довольно курьезных обстоятельствах. Нашему Обществу Красного Креста предстояло отправить в Советский Союз очередную партию медикаментов и теплого белья для бойцов Красной Армии, на что разрешение получалось обычно непосредственно от японцев, оккупировавших иностранные районы города сразу после начала Тихоокеанской войны. Но незадолго до описываемого случая управление муниципалитетом Международного сettльмента — фиктивно, конечно, — передали китайской марионеточной администрации Ван Цзин-вэя, так что и разрешение на отправку грузов надо было брать там. А в муниципалитет, на места, занимавшиеся прежде англичанами и американцами, японцы понасажали своих союзников — немцев, итальянцев, венгров. И вот в том отделе, где предстояло получать разрешение, как мне сообщили, работали два немца, из которых один — Краузе — видный местный нацист. Положение складывалось парадоксальное.

— Что мне делать? — спросил я председателя Общества Красного Креста, моего непосредственного начальника.

— Что ж поделаешь? Грузы надо отправлять. Пароход из Владивостока приходит на днях... Иди, требуй. Он не имеет права тебе отказать, этот Краузе. Он там находится не как слуга Гитлера, а как служащий шанхайского муниципалитета.

Я пошел.

Действительно, за столом начальника отдела сидел плотный человек средних лет, с мощной шеей, вовравшей в себя затылок удлиненной на прусский манер стри-

женной головы. На лацкане у него был значок нацистской партии со свастикой, на лацкане моего пиджака — алая эмалевая звезда с серпом и молотом. И нам сейчас предстояло разговаривать. Положение, которое в ту эпоху могло сложиться, пожалуй, только в Шанхае.

Он вопросительно и не скрывая неприязни в упор смотрел на меня, и я уже собрался было произнести заранее приготовленную фразу, составленную достаточно корректно, но и категорически, о том, что мне необходимо получить разрешение и т. п., как вдруг я заметил, что за другим столом, стоящим впритык к первому, сидит фон Хольтиц! Он слегка улыбнулся мне, как знакомому, и спросил, в чем суть моего дела. Оказывается, он служил в том же отделе и ежедневно по шесть часов сидел лицом к лицу с заядлым нацистом, не обмениваясь с ним ни единственным словом, кроме деловых фраз. Об этом мне потом рассказал служащий-китаец, тоже сидевший в этой комнате.

Я был нескованно рад, что судьба избавила меня от необходимости вести переговоры с Краузе, и с готовностью повернулся к фон Хольтицу, в двух словах объяснив, что привело меня сюда.

Понимающе кивая в такт моим словам, он выслушал и бросил:

— О, это очень просто! Дайте ваше заявление!

Он вписал данные в лежавший перед ним гроссбух, потом встал и, прихватив мою бумагу, вышел из комнаты. Меньше чем через пять минут он вернулся и, вручив мне наше заявление с приложенной к нему печатью и еще какую-то бумажку на китайском языке, сказал очень любезно:

— Вот, пожалуйста. Можете отправлять. Разрешение действительно в течение десяти дней.

— Благодарю вас. Всего хорошего! — сказал я, повернувшись таким образом, чтоб мой поклон относился к фон Хольтицу и китайцу, но никак не к Краузе. Кажется, мне это удалось, потому что эти двое вежливо ответили.

Мы по-прежнему изредка встречались в кафе, но только здоровались, правда уже не столь официально. И однажды он все-таки заговорил со мной. Это было в июле 1943 года. В Европе происходили большие события,

в тот день предполагалось много срочной работы в редакции. Чтобы успеть сделать все, я зашел выпить свою чашку кофе на час раньше обычного. Кафе было еще почти пусто, из моей компании — никого, и я уселся в среднюю ложу у окна. Вскоре появился фон Хольтиц и сел за соседний столик, на котором уже стояла чашка кофе. Он, как видно, пришел раньше, а в тот момент, когда я вошел, куда-то выходил. Мы оказались почти рядом.

Поздоровавшись, он сразу же обратился ко мне с вопросом — видимо, тоже слышал кое-что о последних событиях:

— Какие новости?

Новости были, и важные. Меня просто распирало от нетерпения излить их на кого-нибудь. Именно поэтому я, даже торопясь на работу, все же забежал в кафе. Правда, я не предполагал, что первым, кто их услышит, будет немец.

— В Италии переворот. Король арестовал Муссолини и назначил новое правительство во главе с маршалом Бадольо! — сказал я, стараясь, но не умев, скрыть торжествующего тона своих слов.

Фон Хольтиц спокойно принял это известие и, слегка наклонив голову, сказал:

— Этого можно было ожидать.

Но у меня было еще не все, и я продолжал:

— Новое правительство объявило о выходе Италии из войны. Сейчас ведутся переговоры о капитуляции.

— Да, да, конечно, — спокойно констатировал он, будто все знал заранее. — Иначе и быть не могло. — И, словно потеряв интерес к этой теме, задал новый вопрос:

— А что на восточном фронте?

Вот на этот вопрос ответить было посложнее. Да, он — противник Гитлера, в этом я уже не сомневался, но ведь все-таки он немец. Как же мне говорить, какие термины употреблять? Обидеть его мне не хотелось, но и своими чувствами поступаться я не мог и не хотел. Шла как раз битва на Курской дуге, и новости поступали обнадеживающие. Я чуть-чуть подумал и сформулировал свой ответ так:

— Наступление бронетанковых частей противника

везде остановлено. Красная Армия перешла в контрнаступление.

Это была переломная стадия битвы, но тогда еще невозможно было предвидеть, какие огромные последствия она будет иметь. И тем не менее фон Хольтиц произнес:

— Эта война была безнадежна с самого начала, — и грустно покачал головой. Первый раз он проявил какие-то эмоции, первый раз прокомментировал что-то. — Они поставили Германию на край гибели.

Я промолчал. Не так уж трудно быть деликатным, когда ты прав и твоя сторона побеждает. Установилась долгая пауза. Я раздумывал, что бы сказать такое, чтоб, с одной стороны, выразить свою точку зрения, но с другой — не задеть его чувств. Нацисту я бы нашел что сказать, но ему...

Так ничего и не придумав, я взглянул на фон Хольтица. Он сидел, словно забыв о моем присутствии, полностью погруженный в свои мысли, и смотрел невидящим взглядом в какую-то ему одному видимую точку. И я снова подумал, как, должно быть, одинок этот человек, заброшенный неведомым для меня капризом судьбы за тридевять земель от своей родины, которую он теперь неизвестно когда и в каком состоянии увидит. И тут я определил — мгновенно и точно — выражение, которое почти всегда видел на его лице и которое никак не мог ухватить словами: это было одиночество, именно одиночество — отчаянное, безысходное, безнадежное.

Но, видимо, правильно говорят оптимисты, что безнадежных положений, пока человек жив, не бывает.

Тут нужно сделать маленькое отступление. Последнее время в поле нашего зрения — я имею в виду себя и свою компанию — попала одна молодая женщина, которую часто можно было встретить в ресторанах, театрах,очных увеселительных местах. Даже в Шанхае, где трудно было удивить кого-либо элегантностью, она выделялась именно этим. Красивой я бы ее не назвал: довольно заурядное лицо с чертами правильными, но ничем не примечательными, светло-серые глаза и очень светлые, как выразился один мой приятель — перекисеводородные, волосы, к тому же не очень пышные.

Но рост, но фигура, ноги и вся стать делали ее не просто заметной, а чрезвычайно эффектной и привлекательной, я бы сказал, вызывающе привлекательной для меня и моих друзей, а были мы все молоды, неженаты...

И если бы одно обстоятельство, ей бы, пожалуй, не устоять, потому что, судя по косвенным признакам, крепость эта была не из неприступных. Но — увы! — она была немка-арийка, да к тому же сотрудница германского посольства, как говорили, секретарша посла, так что ни о каком знакомстве, не говоря уже о чем-либо ином, не могло быть и речи.

И вот как-то раз я увидел ее на улице с фон Хольтицем!

Молодая нацистка, входя в самые высокие сферы местной колонии гитлеровцев, и оппозиционер, не скрывающий своего резко отрицательного отношения, более того — отвращения к режиму!

И все же я почему-то не усомнился в искренности убеждений фон Хольтица.

Кто знает, при каких обстоятельствах они могли познакомиться, чего только в жизни не бывает? Все-таки у них много общего: национальность, возможность говорить на родном языке, воспоминания о родных местах... Только тот, кому довелось долго жить на чужбине, в состоянии понять это.

Фон Хольтиц был человек независимый, никому в вопросах своей личной жизни не подотчетный, и, вероятно, считал, что политические взгляды хорошенькой женщины, если они вообще у нее есть, не могут иметь большого значения.

Другое дело она, занимавшая официальное положение. Вряд ли начальство одобрит общение с такой одиозной с их точки зрения фигурой, как фон Хольтиц. Но вот уж благополучие ее служебной карьеры меня не беспокоило ничуть.

Поэтому, увидев вскоре их снова вместе, я одобрительно хмыкнул и про себя подумал: «А он, оказывается, парень не промах!».

Потом я стал встречать их все чаще и чаще. Они были явно увлечены друг другом. С фон Хольтицем произошла разительная перемена. Я начал замечать иногда на его лице улыбку, и — главное — то удручаю-

щее выражение безысходного одиночества исчезло с его лица. Теперь это был человек, несмотря на многие неблагоприятные обстоятельства, живущий полнокровной жизнью.

И она, — это безошибочно угадывалось по ее лицу, по тому, как она смотрела на него, — казалась всецело поглощенной своим чувством, и видно было, что для нее больше никто не существует. Да, теперь это была уже не та крепость, которая, по нашему, быть может слишком легковесному суждению, не выдержала бы лобового штурма!

Она и похорошела необычайно. Ее заурядное, лишенное ярких чёрт и красок лицо словно бы осветилось изнутри, тусклые прежде глаза ожили, стали глубже, голубее и выразительней. Ничто так не красит женщину, как сознание, что она любима именно тем, кто дорог и ей.

«А как же все-таки с ее работой, с ее окружением? — думал я. — Не могут же они не знать об ее отношениях с фон Хольтицем?»

На этот вопрос я вскоре получил ответ.

— Ты слышал? Грета ушла из посольства, — сказал мне как-то один приятель из категории всезнаек.

— Какая Грета? — спросил я недоуменно.

— Ну та самая... Блондинка... С мировыми ногами...

Я все еще не понимал, так как думал о чем-то другом. Мало ли блондинок с красивыми ногами ходят по улицам Шанхая?

— Послушай, ну та самая... — начинал терять терпение мой приятель, — которая в нашим немцем ходит...

Мы, постоянные посетители «Маленького кафе», называли фон Хольтица «наш немец».

Тут уж до меня дошло.

— Да что ты говоришь?! — воскликнул я, пораженный. — Неужто правда?

— Сто процентов! И из посольства ушла, и в клубом немецким порвала.

Вот это здорово! Значит, у них с фон Хольтицем дело серьезное. Ведь порвать с официальными германскими кругами в разгар войны, в оккупированном японцами — союзниками Германии — Шанхае значило пойти на немалый риск, уже не говоря о материальном ущербе.

В германских учреждениях сотрудникам платили валютой, ставки были очень высокие, а фон Хольтиц — сколько он мог получать в шанхайском муниципалитете?

Эта пара начинала меня не на шутку интересовать: с одной стороны, импонирующий образ гордого одиночки, избравшего нелегкий путь, но не поступившегося своими убеждениями. С другой — молодая, привлекательная женщина, вполне преуспевающая и, по-видимому, всем довольная. С ее стороны это была несомненно жертва, и немалая. Значит, она по-настоящему любит его, а это чувство всегда внушает уважение. Я сразу проникся симпатией к бывшей нацистке, и мне неприятно было вспоминать, что я дурно думал о ней не только как о человеке вообще, но и как о женщине.

Фон Хольтиц, видимо, жил где-то в моем районе, я его часто встречал на улице. Вернее было бы сказать «их», потому что с некоторых пор фон Хольтица и Грету нельзя было встретить порознь.

Если допустимо судить извне о таком интимном и сложном чувстве, как любовь, то это несомненно была обоядная и очень счастливая любовь. Да, они явно были счастливы вопреки всем трагическим внешним обстоятельствам: ведь шел уже сорок четвертый год, и Германия еженощно, а потом и в дневное время подвергалась массированным налетам союзной авиации. Тысячи американских и английских самолетов беспрерывно висели в германском небе и долбили, долбили города, промышленные объекты, базы, мосты, пути сообщения. А с востока, как неотвратимое возмездие, накатывал неподержимый вал советских армий. А они — немец и немка — были счастливы в такое время, и, право же, я не в силах был упрекнуть их за это.

В «Маленьком кафе» фон Хольтиц долго не ходил. Видимо, Грете в силу понятной психологической инерции казалось, что, появившись она в этом гнезде «большевиков», — ее там разорвут на части. Но в конце концов они все-таки пришли. Я как раз сидел за партией в шахматы со своим постоянным партнером и другом и видел самый момент их появления. Они на минуту задержались в дверях, и на лицах обоих читалась напряженная выживательность. Несомненно, они оба волновались. Но получилось как-то так, что никто на них внимания не обра-

тил — некоторые из них не знали, то же, кто знал, помнили и то, какие перемены произошли в их жизни за последний год.

Увидев меня, фон Хольтиц явно испытал облегчение. Он издали улыбнулся, я ответил приветливым поклоном и отвернулся к доске как ни в чем не бывало. Этим, казалось мне, я покажу ему, что не вижу ничего неуместного в том, что его дама появилась здесь, среди нас.

Но фон Хольтиц, очевидно, судил иначе, считая меня той тихой пристанью, к которой им, обойдя все рифы и подводные камни, следует здесь пристать.

Рядом со мной был свободный столик, и хотя были и другие не занятые, он направился именно сюда.

Не посмотреть в его сторону, сделать вид, что не замечаешь, когда он, отодвигая стулья для себя и своей спутницы, едва не касался меня плечом, было бы попросту невежливо, и я, оторвавшись от шахматной доски, снова послал ему легкую улыбку. Меньше этого сделать было невозможно, и я намеревался тем и ограничиться.

Но фон Хольтиц неожиданно обратился ко мне:

— Разрешите представить вас моей жене! — сказал он немножко торжественно, и в то же время чувствовалось, что он не уверен, как я отреагирую на такое представление.

Я постарался сохранить полное внешнее безразличие. Сделать это было тем легче, что я в общем ждал чего-то подобного. Я встал и учтиво поклонился, но не улыбнулся, однако, что при других обстоятельствах сделать бы следовало. Я считал, что церемония знакомства на этом и закончится. Но Грета, сама мило улыбнувшись, — она, кажется, быстрее мужа овладела собой, — проворковала:

— Очень рада познакомиться! Мне Клаус рассказал о вас, — и протянула руку.

Этого еще недоставало! Рукопожатие с недавней нацисткой! В разгар войны! Но что оставалось делать? Руку ее я принял, но, конечно, не поцеловал, что сделать тоже не мешало бы, будь я представлен обычной жене обычного знакомого. Рука у нее была не маленькая, не породистая, но холеная и с достаточно длинны-

ми пальцами. По крайней мере с двух из них сверкнули бриллиантами золотые кольца.

Мы обменялись несколькими ничего не значащими фразами — болтала она по-английски очень прилично. Я давно заметил, что после китайцев и русских английский язык лучше всего дается немцам,— и фон Хольтиц предложил:

— Может быть, выпьете с нами по рюмочке коньяку? Здесь, говорят, есть настоящий «Хэнэсси».

Выручил меня мой друг, мрачно уставившийся на шахматную доску, где положение действительно было сложное.

— Спасибо, но... — и я сделал выразительный жест: и рад бы, мол, да сами видите — недосуг.

Запомнилась мне еще одна встреча с фон Хольтицем. Это произошло в ночном клубе «Шехеразада» на той же авеню Жоффр, только несколькими кварталами дальше. Собственно, «ночной клуб» слишком пышное определение для «Шехеразады». Это скорее было то, что французы называют *boite de nuit*¹ — маленькое помещение с баром в дальнем конце, вдоль стен крохотные столики, рассчитанные на двоих, такая же крохотная эстрада, на которой умещаются пианино, скрипка, гитара, саксофон, контрабас, может быть, банджо. Количество инструментов превышает число исполнителей, потому что музыканты очень хорошие и каждый умеет играть на нескольких инструментах. Музыка не-громкая, мелодичная, общее освещение отсутствует. На каждом столике грибок лампочки — синий, бордовый, зеленый, фиолетовый, желтый. Лампочку можно и не включать, тогда около вас полумрак будет еще гуще, что при общей интимной обстановке иногда оказывается весьма кстати...

В этой «Шехеразаде» я бывал часто по двум причинам. Во-первых, потому, что в ней перед возвращением на родину долго выступал Александр Вергинский, страстным поклонником искусства которого я был всю жизнь. По его же усмотрению в свое время было отдано помещение и дано название.

— Вкус — это от бога, — объяснил он мне. — Его

¹ Ночной кабачок. Дословно: ночная коробочка (франц.).

нельзя приобрести за деньги. Я велю затянуть стены рогожей — и будет красиво!

Я слушал, молчал, впитывал. Трудно в двадцать пять лет не соглашаться с выдающимся артистом, все творчество которого — уникальное, неповторимое и неподражаемое — воплощение изысканного вкуса.

Однако рогожей «Шехеразаду» Вергинский все же не обтянул. В ход былпущен все тот же плюш, но получилось действительно красиво и оригинально: будто находишься в шатре у какого-нибудь средневекового восточного владыки. Владелец «Шехеразады» Жорж Сурми, дошлый одессит с цепкой хваткой не высшего пошиба, но смягчавшейся характерной для южанина теплотой отношения к тем, к кому благоволил, и, конечно же, прекрасным чувством юмора, довольно потирал руки. Он понимал, что его заведение в новом облике, да еще с такой приманкой, как Вергинский, будет работать вовсю. Так оно и было, пока Вергинский не уехал.

В этой «Шехеразаде» бухгалтером работал мой близкий друг, доводившийся шурином хозяину. Это и была вторая причина, почему я туда часто заглядывал, возвращаясь поздно вечером из редакции. Когда народу бывало немного, мы, ничего не заказывая, занимали столик в углу и сражались в шахматы. Иногда, под хорошее настроение, Жорж ставил нам по бокалу натурального итальянского вермута «Чинзано», изготавливавшегося, как я доподлинно знал, предпримчивыми китайцами совсем неподалеку от «Шехеразады». Когда же я бывал при деньгах, то заказывал на американский манер стаканчик «брэнди-лемонэйд» (на два пальца коньяку, остальное лимонад), благо что мне, человеку в этом заведении своему, наливали коньяк хоть и дешевый, но настоящий, и считали за «дринк» по-божески. Я уже говорил, что Жорж Сурми был великодушен к тем, к кому благоволил. А от меня он, как никак, одним из первых узнавал новости с фронтов и очень этим гордился, тем более, что новости теперь, в конце сорок четвертого года, всегда были хорошие.

Вот в один из таких вечеров, зайдя в «Шехеразаду», я застал там одиноко сидящего за стаканом виски

с содовой фон Хольтица. Заметив меня, он очень ожидался и, привстав, пригласил:

— Присаживайтесь. Я сегодня без жены — она не совсем здорова, — и он вежливо отодвинул мне стул за своим столиком.

В упоминании, что жены его здесь нет, мне почудился намек: ничто, мол, не мешает нам провести часок вместе, и я решил не уклоняться от его приглашения, потому что, как успел сообщить мне швейцар, моего друга — партнера по шахматам — сегодня в «Шехеразаде» не было.

— Первый раз вижу вас здесь, — сказал я, чтобы с чего-то начать.

— Нет, я тут раньше часто бывал, слушал Вергинского. А сегодня случайно зашел, и, знаете, — ощущение какой-то невосполнимой пустоты.

Такую же, если не большую, пустоту ощущал и я, но если у меня была надежда после войны, приехав на родину, вновь соприкоснуться с удивительным искусством Вергинского, то у фон Хольтица такой надежды быть не могло. Но его признание немало меня удивило. ...Пение Вергинского, основанное на тончайших нюансах, интонациях, полутонах, где единственным возможным образом звучали не только слова, но даже отдельные буквы, кроме людей, для которых русский язык является родным, было доступно лишь очень интеллигентным французам и китайцам.

— Вы настолько хорошо знаете русский язык? — спросил я, сильно удивленный, потому что всегда, и в данном случае тоже, разговаривал с фон Хольтицем только по-английски. — Вы жили в России?

— Нет, я там, к сожалению, никогда не был. Но я изучал русский язык и литературу в Гейдельбергском университете. Однако курса не кончил. Пришлось уехать в 1934 году.

«Понятно, — подумал я. — К тому времени гитлеровцы уже полностью взяли под контроль всю жизнь в Германии и фон Хольтицу было не до учения». Тут бы мне спросить, как сложилась его дальнейшая судьба и каким образом он оказался в Шанхае. Но что-то мешало задавать такие вопросы. Поэтому вместо вопроса я сказал:

— Так давайте говорить по-русски!

— О нет, — искренне смущался он. — У меня слишком плохое произношение.

«Если он сам понимает, что произношение у него плохое, значит, знает язык основательно», — подумал я, но настаивать не стал.

Мы долго сидели в тот вечер, говорили о Вертиńskом (я, кстати, вспомнил, что Александр Николаевич рассказывал мне о немецком графе — своем поклоннике. Вот кто, оказывается, это был!), об его отъезде на родину и возможной жизни там и как-то незаметно съехали на разговор о правовом статусе самого фон Хольтица.

— У вас сохранился германский паспорт? — спросил я его в лоб.

— Да, — твердо ответил он и пояснил: — Вы понимаете: отказаться мне, немцу, от германского паспорта значило признать, что Германия и они (иначе, чем этим местоимением, он тогдаших правителей не называл) — это одно целое. А я никогда с этим не соглашусь. Гитлер сегодня есть, завтра он будет сметен, а Германия была и будет.

Фон Хольтиц явно разболновался. Обычное безупречное самообладание ему изменило. Я впервые видел его таким. Первым жестом он вынул из глаза монокль и протер платком, прежде чем снова водрузить на место, и я заметил, что руки у него немного дрожат.

— Вы почти в точности повторяете слова, сказанные Сталиным еще в 1941 году, в очень тяжелый для нас момент.

— Да, я знаю, — кивнул головой мой собеседник, вновь овладевая собой. — А вы сами как считаете? Что будет с Германией? Только скажите мне с полной искренностью, прошу вас...

— Я думаю, это единственный правильный взгляд на проблему.

— Я так и думал... Я рад, что не ошибся в вас. Вы знаете, так тяжело ошибаться в людях, особенно когда вокруг тебя их так мало.

Последняя наша встреча с фон Хольтицем произошла ранней осенью 1945 года. Он позвонил мне в редакцию и спросил, могу ли я достать для него два би-

лета на просмотр только что полученных из Москвы документальных фильмов о последних боях на советско-германском фронте, взятии Берлина и капитуляции. Я сам не мог решить такой вопрос и сказал, что выясню, попросив позвонить на следующий день. Назавтра я сообщил ему, что билеты оставлены в кассе летнего павильона Советского клуба на его имя.

Я тоже присутствовал на этом сеансе. Это были незабываемые дни, когда не только люди на родине, но и мы, жившие далеко за ее пределами, упивались победой, такой трудной, выплывшей на океане человеческой крови, на ни с чем не сравнимых страданиях родного народа, но победе полной и безоговорочной.

Так получилось, что фон Хольтиц с Гретой сидели как раз сзади меня, и я слышал, что они, особенно когда начали показывать штурм Берлина, переговаривались вполголоса: они узнавали районы своей столицы, отдельные улицы. И еще Грета несколько раз произнесла: — *Wie schrecklich! Wie schrecklich!*¹

И тот же ужас звучал в ее голосе, хотя говорила она очень тихо, почти шепотом. Муж отвечал ей еще гише, и мне казалось, что он говорит ей какие-то слова утешения.

На сеансе присутствовало еще несколько немцев, но к ним я не испытывал такого сложного противоречивого чувства, как в отношении четы фон Хольтицев. Те немцы были коммунисты, с самого начала четко и неоднусмысленно определившие свою позицию. Некоторые из них всю войну проработали у нас в ТАССе и на радиостанции.

А фон Хольтиц... Ведь едва закончится сеанс, мне предстоит с ним встреча, и не о погоде же будем мы разговаривать? Как мне держать себя, как, если не скрыть полностью (да я и не хотел этого!), то хотя бы приглушить внешнее чувство ликования, которое бушевало во мне в эти минуты? Но показать ему свое торжество было бы неблагородно. Враг тогда враг, когда держит оружие в руках и у него есть по меньшей мере равный шанс убить меня, а раз он оружие положил — он уже побежденный и заслуживает если не сочувствия, то

¹ Какой ужас! Какой ужас! (нем.).

хотя бы пощады. А фон Хольтиц к тому же никогда оружия против нас не держал, да и врагом не был.

Мы, конечно, встретились с ним у выхода. Я давно его не видел. Он был все такой же тонкий, стройный, невозмутимый, немного чопорный, с неизменным моноклем в глазу, и только каштановые волосы его, как всегда безупречно разделенные боковым пробором, слегка засеребрились, да от крыльев носа, огибая углы рта, пролегли две глубокие складки, которых я раньше не замечал.

Гreta, наоборот, выглядела подавленной, тусклой, веки у нее были красные, что ей очень не шло. Она была совсем нехороша в эти минуты.

Чтобы не комментировать просмотренный фильм, я заранее подготовил вопрос, который сейчас и задал:

— Каковы ваши планы, мистер фон Хольтиц? — спросил я таким тоном, как если бы мы сейчас ничего особенного не увидели и просто случайно встретились в обществе или на улице.

Однако фраза эта, как я сам понял, уже произнеслась ее, по существу была очень емкая и содержала в себе ряд важных вопросов относительно их будущей судьбы. Только что было объявлено, что поданные бывшего германского рейха будут депортированы в Германию. Но в особых случаях делалось исключение, и я намекнул своему собеседнику, что мог бы устроить, чтобы их не трогали. Ведь мне было что сообщить китайским властям в его пользу, и с моим свидетельством посчитались бы.

— Нет, нет, я еду, — твердо ответил фон Хольтиц. — Я провел вне Германии почти двенадцать лет. Но это было не по моей воле. Теперь же мой долг быть вместе с моим народом и разделить с ним его судьбу.

В этот момент молчавшая до сих пор Гreta произнесла по-немецки, явно просто мысля вслух:

— Mein Gott! Berlin... er ist doch ganz zerstrt!¹

Я понял, вернее догадался, о чем она говорит, и стараясь, чтоб слова мои звучали искренне и участливо, сказал:

— Германский народ возродит свою столицу.

¹ Боже мой! Берлин... он ведь совсем разрушен... (нем.).

Я чувствовал, что не бог весть какое это утешение, но что я мог еще сказать?

Перед отъездом фон Хольтиц позвонил мне. У нас в редакции было известно, когда и каким пароходом отправляют шанхайских немцев, но я как-то не соотнес это мероприятие союзных властей с моим знакомым, ведь высыпали нацистов...

Каково-то будет ему больше месяца находиться среди людей, общаться с которыми он отказывался даже в дни их триумфов и которые теперь, будучи поверженными, еще более люто его ненавидят и, конечно же, считают его и таких, как он, виновниками постигшей их катастрофы.

— Желаю вам счастья на родине, мистер фон Хольтиц, — сказал я так сердечно, как только мог. Говорить избитые фразы о том, какую пользу он может принести в восстановлении своего отечества на иных основах и тому подобное, я не счел уместным. В разговоре с таким человеком это звучало бы банально и, пожалуй, даже фальшиво. И тут, вспомнив, я добавил: — Пожалуйста, передайте мои наилучшие пожелания фрау Грете.

— Моя жена не едет, — ответил он после небольшой паузы. — Она пока остается здесь. Грета присоединится ко мне позже.

«Ну что ж, — подумал я, — это разумно. Германия лежит в развалинах. Вполне уместно сперва поехать жену, осмотреться, разыскать близких, если они уцелели, устроиться и потом уже выписывать жену».

Еще раз высказав друг другу лучшие пожелания, мы закончили свой последний разговор.

* * *

А жизнь продолжалась, и напоминала она какую-то веселую вакханалию.

Люди изголодавшиеся — в прямом и переносном смысле — вдруг получили хорошо оплачиваемую работу, возможность вернуться к прежним нормам существования: жить, не считая каждой копейки, не скрывать своих симпатий и антипатий, делать, в разумных пределах, что им хочется свободно передвигаться по стране,

нё рискуя вызвать подозрение ко всему недоверчивых и ко всем нелюбожелательных японцев.

На смену им появились, правда, развязные, правда, недисциплинированные и шумные, но щедрые, элегантные и жизнерадостные американцы, сорившие деньгами, а вокруг них завязалась особая жизнь — веселая и бесшабашная, с какой-то лихорадочной жаждой несложных, но заманчивых наслаждений, комфорта, роскоши и всего того, чего так недоставало в долгие и мрачные годы войны.

Конечно, была и другая жизнь — главная жизнь, не поверхностного слоя непрошеных пришельцев-иностраницев, неизвестно по какому праву снимающих пенки, а жизнь коренного населения, которое и должно было вскоре сказать свое решающее слово, но жизнь эта до времени шла подспудно, проявляя себя лишь отдельными вспышками, то там, то здесь возникавшими грозными сплохами. Чтобы осознать их значение, нужно было задумываться над судьбой народа — хозяина страны, надо было хотеть понять его нужды, чаяния и надежды, а вот этого умения задуматься, желания понять у подавляющего числа иноземцев в Китае не было.

Но бесспорно одно: и тем, кто вел бездумное существование, и тем, кто хотел и умел задумываться, жить стало легче, сытнее, свободнее, веселее, в особенности в первые месяцы после окончания войны — в пору, когда все не формально, а на деле чувствовали себя союзниками, друзьями, товарищами по оружию.

Эта веселая суматоха коснулась и меня. Я был молод, неопытен и наивен, и в силу вышеприведенных причин мне хотелось верить и потому верилось, что наступил длительный период мира, спокойствия, благополучия. Оправданием такой наивности может служить только то, что так считали тогда многие. И хотя работы прибавилось — стала она более динамичной, насыщенной и ответственной, — находилось время и для развлечений. Я часто бывал вочных ресторанах, барах, кабаре.

В одном из этих мест я однажды встретил Грету фон Хольтиц.

«Как, она еще здесь?» — удивился я. Ведь для того, чтобы задержаться в Китае так долго, ей наверняка потребовалось специальное разрешение. Но она была в

компании с американскими офицерами, и это давало ответ на мой вопрос. Какому-нибудь американскому полковнику, наверное, не составило большого труда исхлопотать ей соответствующую бумажку.

Мы встретились с ней глазами, и я приветливо поклонился. Она ответила тоже приветливо, но может быть немного суще, чем здоровалась со мной последнее время при муже. Я не сказал бы, чтоб на ее лице выражалось смущение, но в одном был уверен: встреча со мной удовольствия ей не доставила. Более детально я обстоятельства нашей встречи не разбирал, — я сам был в приятной и веселой компании, и мне было не до медитаций. А потом я о ней попросту забыл за множеством более ярких впечатлений и более важных встреч, которыми изобиловал для меня тот период.

Шло время. Вакханалия первых месяцев немного унялась, начали обозначаться первые трещины в отношениях между союзниками, на севере занялось зарево гражданской войны, но в целом послевоенная жизнь города изменилась мало.

Я продолжал встречать Грету то там, то здесь, то с летчиками, то с моряками, то с сухопутными офицерами. Чаще всего это были американцы, но среди ее спутников — каждый раз новых — попадались и британцы: других военнослужащих-иностранцев в центральном Китае не было.

Здоровалась она со мной все суще и суще. Признаться, и я, когда оказывалось возможным, старался делать вид, что не замечаю ее.

Мне все было ясно, и когда я вспоминал это словно бы изнутри исходившее свечение ее лица, эти преданные глаза, с огромной нежностью устремленные на фон Хольтица в пору их любви, мне становилось не по себе. Я не мог понять, куда же все-таки оно делось, ее чувство, во имя которого она пожертвовала столь многим, неужели за полтора года от любви не осталось ровно ничего?

Грета постепенно становилась притчей во языцах, в чем я убедился, когда как-то раз один мой приятель, человек веселый, удачливый и самоуверенный, заметив, что мы с ней обменялись легкими поклонами, спросил, двусмысленно подмигнув:

— И ты ее знаешь?

Словно предчувствуя, что сейчас произойдет катастрофа, и пытаясь ее предотвратить, я поспешил и сухо отозвался:

— Это жена моего хорошего знакомого.

Но мой собеседник оказался толстокожим и не уловил владевшего мной настроения. Он хмыкнул и небрежно бросил:

— Она? Ее можно вызвать по телефону... Хочешь, номер дам?

— Пошел к черту! — рявкнул я и, вскочив, выбежал из помещения.

Чужие раны не болят, а если и болят, то недолго и лишь когда с ними соприкоснешься непосредственно. Я старался не думать о Грете, и мне это удавалось. Мало ли брачных союзов распалось в те безумные месяцы в Шанхае, мало ли женщин не устояло перед неудержимым напором, щедростью и бесшабашным жизнелюбием молодых мужчин в военной форме, прошедших сквозь ад войны в тропических джунглях, атаки «камикадзе», вынужденное аскетическое воздержание и теперь словно обезумевших от счастливого сознания, что все это кончилось, а они живы!

И вдруг я неожиданно для себя получил письмо из Западной Германии от фон Хольтица. Он писал, что давно уже не имеет никаких вестей от жены, очень беспокоится, и спрашивал, не окажу ли я ему услугу выяснить, где она, что с ней и собирается ли она приехать к нему. Он приносил извинения за беспокойство, но объяснил, что больше у него никого нет в Шанхае, к кому он мог бы обратиться с подобной просьбой.

Что и говорить, поручение было не из легких, не из приятных. Несколько дней я раздумывал, как подойти к этому делу, но ничего не придумал, решил просто повидать Грету лично и задать ей эти вопросы в лоб.

Выяснить ее адрес труда не составило. Она жила в «Палас Отель» на углу Набережной и Нанкин Род, в том самом, где во время войны дважды в неделю происходили японские пресс-конференции.

Чтоб наверняка застать Грету дома, я решил посетить ее в воскресенье утром. Десять часов, решил я,

будет не настолько рано, чтобы застать ее в постели, но и не настолько поздно, чтобы она успела куда-нибудь уйти.

Было холодное утро поздней осени. С Вами дул неприятный, резкий ветер, все вокруг было серо, как те военные корабли, вид на которые открылся в просвете между зданиями, когда я подъезжал к своей цели.

Я поднялся на лифте на пятый этаж и с нервно бьющимся сердцем постучал в дверь с цифрой 512. Я волновался: как меня встретят, что я буду говорить? Все дипломатично-нейтральные фразы, которые я исподволь готовил, пока велорикша вез меня через полгорода, выскочили из головы или казались нестерпимо нелепыми, неуместными, неумными наконец.

Я подождал минуту — отклика не было. Я постучал сильнее. Женский голос, приглушенный запертой дверью, произнес что-то односложное, очевидно предлагаю подождать. Я ждал, волнуясь еще больше: она до ма, сейчас я встречусь с нею лицом к лицу.

Послышалось легкое движение, как бы шелест, и дверь распахнулась. Передо мной стояла Грета, видимо только что вставшая с постели и не успевшая наложить на лицо привычный грим. Она лишь чуть-чуть подкрасила губы и пригладила волосы. На ней был бледно-розовый, полупрозрачный пеньюар, сквозь который явственно просвечивало ее ослепительное тело и остро торчали, словно хотели проткнуть ткань, темные и твердые кончики ее тяжелых грудей.

— Hello! — произнесла она слишком уж приветливо и, чуть отступив в сторону, добавила по-английски: — Заходите!

Грета явно не узнала меня. Она была настроена на другую волну, а я появился из той ее жизни, которую она или уже забыла, или хотела забыть.

Через ее плечо я видел стандартную обстановку довольно большого гостиничного номера средней руки, в котором царил изрядный беспорядок. Я успел разглядеть интимные принадлежности женского туалета, небрежно валявшиеся на темно-красном бархатном диване. Она перехватила мой взгляд и слегка улыбнулась. Я страшно смущился, будто был в чем-то виноват, и обратил свой взгляд на нее, но на свою беду попал

опять на эти острые, явственно темневшие бугорки под ее пеньюаром. Не поручусь, что это произошло совершенно непроизвольно. Как ни готов я был к чему-то подобному, должен признаться, Грета взволновала меня, и в эти мгновения я в какой-то мере утратил контроль над собой. Но все же я заставил себя поднять глаза и посмотреть ей в лицо. В этот момент, мне кажется, она узнала меня, и тем не менее, хотя что-то в ее улыбке изменилось, она все так же приветливо (увы, слишком приветливо!) повторила:

— Заходите же! Что вы стоите?

Да, теперь она узнала меня, но для нее это уже не имело значения. Я не был больше приятелем ее мужа, я был потенциальным клиентом...

Вот это и помогло мне...

Я полностью овладел собой и сказал учтиво, но холодно:

— Вы помните меня? Я — друг Клауса. Я получил от него письмо...

Я не мог в эти мгновения назвать фон Хольтица ее мужем, как и не мог сказать о нем меньше, чем «друг», хотя это и было явным преувеличением.

Выражение ее лица резко изменилось. Оно выглядело теперь бесстрастным, холодным и очень чужим — таким, вспомнилось мне, оно бывало, когда она еще работала в посольстве, и, однако, насколько приятнее мне сейчас показалось именно такое выражение ее лица.

А Грета, сохраняя полное самообладание, все же в третий раз, правда уже совсем другим тоном, повторила свое приглашение войти, а сама, пройдя в глубь комнаты, убрала с дивана те предметы своего туалета, вид которых смущил меня поначалу и которые теперь были неуместны. Сделала она это не смущенно, не кокетливо, а просто и деловито: следовало привести комнату в относительный порядок, и она приводила.

— Я подожду вас внизу, — сказал я по возможности непринужденным тоном. — Вы не откажетесь поавтракать со мной?

— Спасибо! — ответила она, попадая мне в тон. — Я спущусь через четверть часа.

Она действительно появилась в малом зале кафе

«Палас Отеля» с традиционной немецкой пунктуальностью — ровно через пятнадцать минут. Я встал, при-двинул ей кресло и вновь уселся на свое место.

— Я по утрам пью только чашку кофе! — ответила она на мое предложение позавтракать. — Ну и, пожа-луй, рюмку коньяку!

Я вспомнил, что фон Хольтиц когда-то предложил мне выпить с ними по рюмке коньяку. Это было имен-но в тот вечер, когда он представил мне Грету как свою жену. Как давно это было!..

Я приглядывался к ней, стараясь, чтобы она этого не заметила.

Да, конечно, она не помолодела, не похорошела, но сейчас, приведя себя полностью в порядок, все-таки выглядела очень эффектной.

Я попытался было для начала затеять легкую бесе-ду, чтоб потом уже перейти к главному, но разговор не клеился. У меня как-то не находились эти шаблон-ные, пустяковые, но такие спасительные в иные мо-менты темы. Она же не пыталась облегчить мне зада-чу, и в глазах ее — может быть, я впал в излишнюю мнительность в те минуты, но мне действительно так казалось — я читал вопрос: «Что, собственно, тебе от меня надо?»

И я, оборвав на полуслове какую-то фразу, полную ненужности которой чувствовали, видимо, мы оба, за-говорил прямо:

— Я получил на днях письмо от Клауса. Он просил меня встретиться с вами и выяснить... — я запнулся, не зная как продолжать, — Он очень беспокоится. Давно не имеет от вас вестей.

Она слушала молча, с непроницаемым лицом, но внимательно. Потом спросила:

— У вас при себе это письмо?

— Да.

— Вы можете дать мне его прочитать?

— Да, конечно.

Я полез в карман и передал ей конверт. Она с тем же непроницаемым лицом быстро пробежала написан-ное.

— Что мне ему ответить? — спросил я.

Она подняла на меня свои молочно-серые глаза, в

которых, как когда-то прежде, ничего нельзя было разглядеть.

— Я сама напишу ему.

Я наклонил голову в знак того, что принимаю ее слова к сведению. Вскоре она поблагодарила меня за угощение и встала. Поднялся и я. Коротким кивком головы она простилась со мной и, повернувшись, быстро пошла к выходу, легко, но крупно ступая своими красивыми, длинными ногами.

Я смотрел ей вслед, пока она не вышла из зала.

Она сама ему напишет. Но напишет ли? Я в этом не был уверен, но твердо знал одно: сам-то я ему не напишу ничего.

ПОЩЕЧИНА

І

Гул стоял густой и слитный, и вошедшему с улицы казалось невозможным не то что вести беседу в таком шуме, но разобрать хотя бы одно слово. Требовалось некоторое время, чтобы привыкнуть.

То же и с обонянием. Спертый, смрадный дух, в котором выделялось три компонента: запахи алкогольного перегара, дешевого табака и несвежего пота — так и был в нос. К нему привыкнуть было труднее.

В зале сизыми слоями плавал табачный дым и было почти темно. Видимо, из соображений экономии горели только две лампочки, обе над стойкой, за которой орудовала злая, горластая Зойка. Ей свет был необходим, потому что она выполняла обязанности не только буфетчицы, но и кассирши. Старая кассирша — Валентина Егоровна две недели тому назад ушла на пенсию, а новой еще не подыскали. Сюда мало кто хотел идти.

Впрочем, Зойка не жаловалась. Так оно, конечно, хлопотнее, но и доходнее.

Уже незадолго до закрытия с бадаевского завода подбросили три бочки свежего пива, которые Зойка решила не открывать сегодня, — пусть допивают позавче-

рашнее, все равно сейчас, в восьмом часу вечера, одни алкаши остались, чего они понимают? Им лишь бы градус был.

Но братва зашевелилась, поднажала.

— Врешь, Зойка, открывай новую бочку! Чего зажимаешь? Свое, что ли? Зоя Ивановна, голубчик, не обессудьте, угостите свеженьким!..

Последние слова, принадлежавшие Сашке-Интеллигенту, к которому за его беззащитность и почтительность питала слабость Зойка, — решили дело.

— Ну ладно уж. Открою одну, и баста. Через час чтобы все выматывались. Федотыч давеча сказал: еще раз опоздаешь с закрытием — оштрафую.

Федотыч — участковый уполномоченный — состоял с Зойкой, не вполне бескорыстно, в приятельских отношениях и, конечно, никаким штрафом ей не грозил. Но это знала она, а клиенты пивного зала «Ручеек» — нет, и аргумент подействовал.

Угощались здесь в основном стоя, располагаясь вокруг высоких, неудобных столиков с мраморной плоскостью. Так как сосисок или сарделек вечно не хватало — они кончались уже в первой половине дня, — всегда приходили со своей закусью, и пол между столиками был сплошь усеян рыбной и колбасной кожурой, обрывками оберточной бумаги и газет, скомкаными пачками от сигарет и даже пустыми консервными банками.

Только в дальнем конце зала стояло три небольших столика нормальной высоты, то есть таких, за которыми сидят. Они были всегда заняты, и найти за ними место считалось делом не менее трудным, чем угадать пять цифр в спортлото. Туда Зойка пускала публику посолиднее — постоянных клиентов, с которыми по тем или иным соображениям приходилось ладить. А способ отградить удобные столики от нежелательной публики был простой: табуретки Зойка держала в подсобном помещении или у себя за стойкой и выдавала только тем, кого считала достойными такой чести.

За крайним столиком в углу Лукьяныч кончал уже пятую кружку, но сейчас, услышав, что будет открыта свежая бочка, полез в карман замусоленного пиджака, сынуя пригоршню медяков и, разложив их перед собою

на столе, толстым пальцем с трещинами и мозолями стал сортировать: копейку к копейке, три — к трем, пятачок — к пятаку. Копеек было несколько, трехкопеечных — три, пятак — один. Двухкопеечных не было вовсе. Их никто не дает — на телефон берегут.

Тыча в каждую монетку пальцем, но не в каждую попадая, Лукьянчик неторопливо пересчитывал. Выходило, что на новую кружку хватает.

— Ты вот что, малый, — обратился он к самому младшему из компании, вихрастому паренью с острым носиком и редкими зубами, выпиравшими наружу. — Давай-ка того... сообрази. Да поспеши, а то народ виши... зашевелился...

Действительно, у стойки на глазах вырастала очередь. Уже кто-то лез вперед, и его вытолкали в шею, кто-то тихонько уговаривал впередистоящего взять кружечку и на его долю.

Лукьянчик смел ребром правой ладони мелочь влевую и персыпал из нее в руку малому.

— Кружки тащите, — загорланила Зойка, уже открывшая бочку и приладившая к ней насос. — Без кружек никому отпускать не буду. Всю посуду по столам растасчили, дьяволы. Что я сама собирать буду, что ли?

Очередь почти рассыпалась — все знали крутой нрав Зойки. Этим воспользовался догадливый малый, сразу явившийся с кружкой. Он получил пиво без промедления.

— Во! Порядок! — встретил его Лукьянчик, очень довольный, что долго ждать не пришлось. — Ты шустрой... Так и надо... Подставляй свою кружку. Примем по последней.

Паренек не заставил себя просить повторно, и Лукьянчик отлил ему из своей кружки глотка на два.

— Тебе не надо, у тебя есть, — повернулся Лукьянчик к третьему — узкогрудому, лысому человеку неопределенного возраста и незапоминающейся внешности.

Тот хотел что-то сказать, но так как язык его плохо слушался, то раздался лишь невнятный звук, вроде мычания, который при желании можно было посчитать и за выражение согласия.

Лукьянчик — старик с плоским носом, водянисто-се-

рыми глазами и запавшим ртом (спереди у него не хватало почти всех зубов) — подслеповато пошарил по столу, скорее нащупал, чем увидел, жесткий кусок вяленой воблы и начал отдирать кожуру своими тупыми, плотно гнувшимися пальцами.

— Дайте я, папаша, — сказал малый нетерпеливо, — я мигом.

— Не. Не встревай... — Лукьяныч сопел досадливо и нетерпеливо. — Мигом... Мигом только знаешь что делается? — он вскинул на малого свой мутный, прилипчивый взгляд, подумал и, ничего не придумав, вяло выматаился.

Кожура, наконец, поддалась и уже легче пошла отдираться.

— Во... Вишь как? А ты мигом... А мигом то... — он опять задумался, но так и не нашел, с чем сравнить.

Он разорвал кусок на две очень не равные части. Большую оставил себе, меньшую пододвинул компаньонам, слегка задев при этом рукой четвертого, положившего голову на стол, лицом прямо в пивную лужицу и уже давно крепко спавшего и даже похрапывавшего.

— А Митька-то — слабак. Сто грамм принял да полштоф пива, и на тебе... Готов... — бормотал Лукьяныч, хотя знал, что Митька выпил не сто, а двести, да и сюда-то явился уже мокрый. — Вот мы, старики... Мы... — он ткнул себя в грудь, обращаясь к малому. — Мы — порядок. Да... Понимаешь, кто мы есть?

Малый молчал, слегка улыбаясь, и по улыбке его нельзя было понять, как он относится к старику и какое впечатление производят на него слова Лукьяныча. Паренек был почти трезв. Водки ему не дали, сказали: «Самим мало!», и пива он выпил всего две кружки.

Сейчас он был обижен тем, что Лукьяныч отлил ему всего-ничего, и вся надежда была на то, что и он заснет прежде чем успеет опростать всю кружку и тогда можно будет попользоваться.

А Лукьяныч оторвал от своего куска рыбы тугую полосу и, сунув в рот, жевал с видимым удовольствием, хотя и не без труда. У него и задних зубов было мало, и он перекатывал комок из стороны в сторону, стараясь получше прожевать. Потом, закончив, поднял кружку,

поглядел на свет, словно рассчитывал увидеть что-то интересное, и залпом отпил половину.

«И куда это в тебя лезет столько? Вот прорвал!» — с огорчением, но и уважительно, думал малый, видя, как безвозвратно исчезает пиво.

За соседним столиком, где сидела компания длинноволосых в джинсах и пестрых рубашках, переключили транзистор, и вместо тягучего, ритмичного воя какой-то зарубежной поп-группы раздалась возбужденная скотоговорка Озерова, комментировавшего хоккей.

— Во, заладил... Спасу с ними нету! — недовольно оторвался от кружки Лукьяныч. — Придумали дело... Хакей... И за что им такой почет?

— А вы когда-нибудь видели хоккей, Лукьяныч? — спросил малый, в то же время прислушиваясь к словам диктора.

— А что там видать-то? Забава одна... Бирюльки! — презрительно скривил тонкие слюнявые губы Лукьяныч.

— Не скажите, папаша! Игра что надо. Знаете, как поливают? Намедни Васильев клюшку кинул да канадца-то по сопатке, по сопатке... Насилу оторвали!

Глаза малого сияли восхищением. Он быстро переводил взгляд со старика на лысого. Но Лукьяныч только продолжал кривить губы, а лысый был поглощен усилием выговорить какое-то слово, но оно все не давалось ему — язык мешал.

— Васильев! Тоже мне герой! Петров, Харламов... Видели мы... Подумаешь...

— Что вы, Лукьяныч! Харламов — игрок мирового класса!

— Мирового класса... Да на кой мне его класс? Чего он могит делать? Шарик гонять?

— Да не шарик, папаша... Шайбу!

— Ну, шайбу... На кой мне ляд твоя шайба? Что, ее жрать можно? Водкой запивать?

Малый от возмущения даже слов не находил: он как втянул воздух, так и остался с ним на целую минуту, и только сопел и качал головой, выдыхая.

А старик, видя, что собеседник молчит, расходился еще пуще.

— Спортсмены... чемпионы... Туфта одна... Нашему брату — блатарю — плонуть и растереть. Во! — и он

действительно плюнул на пол между собой и малым и растер.

Малый, хотя к спорту прямого отношения не имел, почувствовал себя задетым.

— И Лемешева — тоже; плюнуть и растереть? — спросил он ехидно.

— А это кто есть такой, Лемешев-то? — пренебрежительно осведомился Лукьянчик.

— Олимпийский чемпион, папаша. По боксу.

— Ну, эти и вовсе пятак за пару. Боксеры... Перчатки, судьи... Говорю — все туфта... А без перчаток не хошь? По блату? Имел я дело с одним. Знаю. Мне не рассказываешь. Сам могу рассказать...

— Ну что вы свистите, папаша? — уже начиная терять терпение, возразил малый. — Вы что ж, боксеру обломили?

— А чего ему обламывать-то, придурку? Съездил разок по харе, он и накрылся... Дело не хитрое.

— Когда ж это было? — малый не скрывал недоверия, не только звучавшего в голосе, но и отражавшегося на лице и даже в позе.

— Вот это ты дело спрашиваешь, пацан... — Старик был явно недоволен тоном, которым с ним разговаривали последние минуты, и понизил собеседника в звании. — Давно это было. Теперь-то мне, конечно, молодого не одюжить. Хочешь знать — слушай...

«А врать не мешай», — чуть не добавил малый, но удержался.

Лукьянчик поднес к губам кружку, сделал несколько глотков и поставил на место. От того, что он не вытер рта, у него на верхней губе остались пенные полосы, напоминавшие закрученные кверху усы. Он с насмешливым прищуром смотрел на малого, но молчал, и эта кривая самодовольная улыбка и то, что старик не спешил с рассказом, настраивали малого на доверие, вызывали желание послушать, — желание, которого еще две-три минуты тому назад не было. А Лукьянчик все молчал.

— Ну что же вы, папаша? — уже снова уважительно, прощая «пацана», заговорил малый. — Как же это было?

— Как было-то? — Лукьянчик, чувствуя себя победи-

телем, все еще не спешил. — А так и было. В сорок первом, в марте месяце, меня замели по второму разу... Сижу на киче, загораю... А тут как раз — война! Немец прет, как скипидаром смазанный... В июле наши драпа-нули, а немец еще не вошел. Ну мы, конечно, того... расконвоировались...

Лукьянчик усмехнулся не без удовольствия.

— Где ж это было? — спросил малый. У него даже глаза загорелись от интереса. Давно известно, что те, кто не читают книг, обожают слушать устные рассказы бывалых людей.

— А где было, там и было. Там нас теперь нету... Ты слушать — слушай, коли охота есть, а с вопросами не встrevай. Забыл порядок? — суворо отрезал стариk. Теперь, по прошествии тридцати с лишним лет, это уже не имело значения, но он по привычке придерживался воровского правила: говори, да не договаривай. Не пускай по следу.

— Да нет, я так, — смущился малый. — Вы не серчайте, папаша.

— Чего там серчать-то на тебя, — совсем уже смягчился Лукьянчик, которому импонировала заинтересованность малого. — Тебе еще титьку сосать надо, а ты по малинам таскаешься. Сиди и слухай, чего тебе говорят, и помалкивай. А то и склопотать недолго...

Малый покорно кивнул.

— В общем... того... Мы там с кодлой один магазинчик распотрошили и слегка притихли. Осели. Осмотреться надо было, что да как. В городе-то немец... Бес его знает, с чем его кушают. Как бы не погореть под вышку, время-то военное. Пришьет мародерство, и ваши не пляшут. Запросто... Стали мы жить так это... культурно... Когда пивцом побалуемся, когда в кинуху завалимся. Немец свои картины крутил стал. Занято. Одна актерка там ихняя была... Марика Рокк — может, слыхал?

— Не, — отрицательно мотнул головой малый.

— В общем, была такая. Красивая баба. Поет, танцует, ноги выше головы задирает, юбчинка — до пупа... Потеха... Братва валом валит. Все больше наши — урки, блатари. Вот стоим мы как-то. Там сад, понимаешь, был и кино летнее. Хотя уже на холод повернуло, но мы перед тем согрелися — тяпнули грамм по двести самогону.

Водки-то ничего не было. Говорили, немецкое командование всю забрало. К новому наступлению готовились. А шнапс (это по-ихнему водка) немец страсть как любит. Это ему — первое дело. А мы, значит, самогоном угощались. Не «Столичная», конечно, однако ничего. Градус имеет... Да... Так вот, стоим это мы у ларька при саде. Не пьян я, а так... в полсвиста. Для настроения принял... А мне Васька-Косой и говорит: «Гляди, Лукьяныч, — меня и тогда по батьке величали, — гляди, говорит, пижон с какой девкой топает». Я гляжу, куда он тычет. И впрямь, девка хоть куда. При полном хозяйстве, значит. И вывеска — что надо... А я не любил, когда такие с пижонами гуляют. С нами не ходят, опасаются. А с ними ходют... Разве правильно? Я тебя спрашиваю: правильно?

Малый пробормотал что-то неразборчивое, но поскольку тон был сочувственный, Лукьяныч удовлетворился.

— Вот, говорю я хлопцам, сейчас я его пугну. Пускай не таскается здесь. Почему не в армии?

Малый ухмыльнулся.

— Так ить и вы не в армии, папаша, были!

— Я — дело другое. Я — урка. Мое дело сторона. Мы по другой линии... того... действуем... А этот остался, а пижонит, падло... А родину кто защищать будет? Гляжу, а он, понимашь, хоть бы что. Идет, разговоры разговаривает. Словно бы нету, понимашь, никого — только он да девка. А, думаю, разговорчики? А нас не замечаешь? Сейчас заметишь. А тут он, дура, и погляди в аккурат. Я — на него, он — на меня. И вижу, что не боится. Умный бы забоялся, а он — не! Глянул это на меня, будто я ему мужик какой, бытовик, работяга лагерный. И опять к своей, опять разговорчики. Ну, в общем, пропустил я его мимо. А хлопцы смотрят: ну чего ж ты, Лукьяныч, ай слабо? Пощупал я перо — на месте. И зову его, так это спокойно, культурненько. Он услыхал, а идет себе — хоть бы хны. А, так ты того... самовольничать? Ну, придурак, тебе же хуже будет. Догнал, за руку потянул. Тут уж он встал. Стоит, смотрит, не боится. «Бойсы!» — думаю. А он — не! «Бойсы!» А он обратно — не! Чего-то там я ему сказал, уж запамятали, чего. Он там свое чего-то лопотал. В общем, смазал я

его по харе. Так, слегка, не кулаком. Потому как ма-
лость косой был... Я тверезый — крут, а выпивши я до-
брый. Смазал, значит, это я его. А он молчит и прямо
на меня уставился. Не в глаза, а куда-то пониже. Смот-
рит и стоит. Интеллигент... Разве он противу чашего бра-
та могить? Надоел он мне — во! Думал смазать ему
еще, да лень стало. И в кинуху пора. В общем, отпустил
я его: «Пошел, говорю, отсюда, пижон. Чтобы духа тво-
его здесь не было!» Он повернулся и пошел, даже про
девку свою забыл. Она уже сама его догнала... Во, каки
дела были. Мне уж опосля какой-то мужик говорит:
«Знаешь, кого ты, Лукьяныч, по морде-то съездил? Это
боксер. Чемпион города в каком-то там весе». Во... А ты
говоришь Лемешев, Харламов... Туфта одна этот твой
бокс. Туфта! Понял?

2

По вечерам, управлявшись с делами и хозяйством, си-
живали на скамеечке у третьего подъезда: суды-пере-
суды, перемывание косточек близним своим. Дело при-
вычное, легкое и приятное. Отдых от дневных забот,
нервная разрядка, психологическая отдушина, как лю-
бит говорить Дарья Степановна, у которой дочь на
третьем курсе медицинского института.

Компания небольшая, но стабильная: Марья Петров-
на, кладовщица близлежащего гастронома, женщина
вдовая, бездетная; Галина Ивановна — бухгалтер-счето-
вод из комбината бытового обслуживания; уже упомя-
нутая Дарья Степановна — домохозяйка (сын — так-
сист—содержит); и Филипповна — сторожиха того са-
мого третьего подъезда — старуха суровая, немного-
словная и обстоятельная.

Проживающий там же отставной актер Рогальский
любит ее поддразнивать:

— Вы, — говорит, — Филипповна, наша консьержка...

Другая бы обиделась, а она ничего. Попыхтит, попых-
тит, да и молвит:

— Ступай себе с богом! Чего даром языком-то мо-
лоть?

Иногда подходят жилички из других подъездов, но
они в компании как-то не приживаются. Да и мест на

скамейке, чтобы сидеть удобно, — ровно четыре. Пятую усадишь — самим тесно. А стоя — много ли наговоришь?

Беседа обычно начинается с сетования Дарьи Степановны на то, что сын — ему уж под тридцать — жениться не хочет.

— Я ему говорю: Коленька, ты парень видный, зарабатываешь хорошо, квартира у нас теперь большая — целых две комнаты, все удобства, чего еще ждать? А он мне: «Да где я, мамаша, жену-то найду?» Как где, говорю, да вот хотя бы Катькины подруги. Выбирай, какую хочешь. За тебя любая пойдет. Жених завидный. А он мне: «У нашей Катьки все подруги — вертихвостки, и она сама тоже...» Ну зачем так про сестру-то? — говорю. А он: «Говорю потому, что так и есть». Ну так где в другом месте поищи. Разве мало девчонок? А он: «Немало, да все порченные». Уж ты скажешь! А он: «Вы, мамаша, не знаете, а я знаю. Не первый год на такси работаю. Такого насмотрелся!» Ну что с ним сделаешь?

Дарья Степановна горестно всплескивает руками.

Галина Ивановна, у нее две дочери — одна в техникуме, другая секретарем-машинисткой работает, чувствует себя задетой и вступает в разговор.

— Теперь молодежь другая пошла. Тут не в девчонках дело, а в парнях. Хулиганы, бездельники, пьяницы... Ходят — патлатые, иного от девки не отличишь. Штаны как юбки широкие...

У Филипповны хорошая память и остро развито чувство справедливости. Она подает неожиданную реплику:

— А было время — за узкие штаны в милицию таскали. Стилягами называли. Крыли и по радио и в газетах. А нынче — вишь: широкие не нравятся. Не угодишь...

Справедливость — справедливостью, а у Филипповны свой интерес: внук Валера тоже с длинными волосами ходит и джинсы носит. Вот ради него-то она и разразилась столь непривычно-длинной тирадой.

Но Дарья Степановна всего еще не сказала. Она возвращается разговор к прежней теме:

— Не знаю, как другие, а мой Коля в рот вина не

берет. А водки уж и подавно. Ни разу его пьяного не видела...

— Да уж, что верно, то верно, — вступает в разговор Марья Петровна, а в просторечии Маша. Так ее все зовут, хотя по возрасту она не самая младшая. — Таких, как ваш Коля, поискать надо. И не пьющий, и обходительный. Намедни иду с работы. Две сумки в руках — тяжеленные. Как раз бананы к нам завезли. А тут он едет. Останавливает машину: «Садитесь, говорит, Марья Петровна, подвезу...» Таких поискать надо...

Дарья Степановна, очень довольная, оглядывает собеседницу, пытаясь оценить, какое впечатление произвели эти слова.

Но Галина Ивановна молчит и думает о своем. Все знают о чем.

Муж ее, Федор Игнатьевич, человек, казалось бы, неглупый и при деле, уже давно выпивает, в дом ничего не дает, а теперь, слыхать, спутался с какой-то молодой и по неделям домой не является. Приходит три-четыре раза в месяц: тихий, трезвый, голодный, помятый, жалко заглядывает Гале в глаза, просит прощения, обещает, что больше это не повторится.

Галина Ивановна хоть и знает, что обманет, но — добрая душа — верит, принимает, обстирывает, откармливает. На несколько дней устанавливается мир и лад, а потом Федор опять сорвется, только его и видели... До новой явки с повинной.

Причина молчания Галины Ивановны настолько очевидна для всех, что Филипповна, как самая старшая по возрасту, не находит зазорным высказаться, тем более, что тема эта давно является предметом обсуждения компании:

— Да, не дал бог тебе счастья с мужиком, Галя. И чего ты его не прогонишь напрочь? Самой же легче будет...

— Да куда он денется, коли я прогоню? — горестно восклицает Галина Ивановна. — Он же слабый. Хитрости в нем нет ничего. Его выгони — пропадет совсем. Ему на работе два раза выговор объявляли, даром что цепят. Руки-то ведь у него золотые...

— А пусть туда идет, откуда к тебе голодный приходит! — категорично режет Дарья Степановна. Ей и жаль

по-человечески незадачливую Галину, и раздражение на нее поднимается: можно ли быть такой бесхарактерной? Ведь дочери-невесты, о них думать надо!

Для Дарьи Степановны с ее навязчивой идеей о женитьбе сына все девушки — потенциальные невесты.

— Не могу я так, Даша, понимаешь! Не могу. Жалко его очень. Ведь та змея его до липки обирает, а то иначе зачем он ей нужен был бы? Уйдет к ней насовсем, она его оберет дочиста да на улицу голым и выставит. Обратно ко мне же вернется. Еще хуже будет.

— Не знаю, не знаю. Ты словно бы ушибленная какая-то. С мужиками совсем обращения не знаешь. С ними построже надо...

— Да, мужчин я не знаю. Один Федя у меня и есть. Больше никого не было.

— Неужто так никогда и не было? — удивляется Марья Петровна, которая и сейчас в свои пятьдесят лет не обходит мужчин вниманием и они ее — тоже, благо живет одна и средства имеет. — Мужики, милая ты моя, первое дело. От них горе, от них же и радость...

В голосе ее слышатся нотки не только сочувствия, но и превосходства. Нет хуже, как сознавать себя горемыкой вот в такой благополучной, довольной жизнью компании.

Галина Ивановна смотрит на толстую, аляповато одетую, не по возрасту причесанную (неизбежный шиньон, конечно!) Машу и горестно спрашивает себя: «И чего это к ней так мужчины липнут? Не за красоту же?» Сколько у нее хахалей было! Один сменяет другого, и все как-то гладко, безболезненно. Тот исчез, этот появился. Ходит, ходит, потом — смотришь — сгинул. И тут же новый начал ходить. Чинно, благопристойно, без скандалов. Комар носу не подточит. А ей самой и вспомнить-то нечего. Все Федор да Федор — слабый, пьяненький. Двух дочерей сделал и думает, что больше ничего уж ей и не надо. И ведь, кажется, недурна собой была в молодости, а вот поди ж ты. Не вились около нее парни. Подруги с кавалерами, а она одна или нечетной в компании. Еще в школе, совсем девчонкой была, дружил с ней один, Дима. Хороший был парнишка. И собой видный и скромный. Не чета нынешним. Да пропал где-то...

Война... Сколько она унесла, сколько непоправимых бед
наделала...

Галина Ивановна остановилась и задумалась. Она только сейчас, когда замолчала, поняла, что с какого-то момента говорила вслух и по серьезному, внимательным лицам собеседниц, с которых исчезло выражение мелкой суетности, обыденности и недоброты, видела, что рассказ ее, несмотря на всю свою заурядность, трогает их. Даже перекормленную, самодовольную Машу-кладовщицу.

Она и нарушила молчание.

— Ну куда ж он делся, Дима-то этот?

Галина Ивановна пожала плечами.

— Не знаю. Как война началась, наш город немцы вскорости захватили. Только один раз при них и встретились, а потом исчез. Может, в Германию угнали, может, к партизанам подался. Я и сама вскоре в лес ушла, да всю войну и пропартизанила. Только его нигде не встретила и ничего о нем не слыхала. Война... она ведь большая... и злая очень. Разве на ней встретишь, кого хочешь? Может, убили...

— И долго вы с ним встречались? — спросила Дарья Степановна.

— Да, пожалуй, с год были знакомы. Он неблизко жил. В кино ходили, один раз на танцах были в Доме офицеров. А так ничего не было, даже не поцеловались ни разу.

Последние слова адресовались непосредственно к Маше, которая уже оживилась, готовясь задать вопрос по существу.

— И как же вы с ним расстались? — продолжала сочувственно интересоваться Дарья Степановна.

Галина Ивановна помолчала, воскрешая давно погасшее воспоминание.

— Как расстались? Там одна глупая история вышла. Ерунда, конечно, а довольно неприятная. Может, я сама виновата...

Все молчали, ожидая продолжения.

— Мы с матерью эвакуироваться не успели... Отца в армию забрали сразу же. А мама говорит: мы здесь останемся, немца скоро назад погонят. До нас они не дойдут. Да и огород ей жалко бросать было.

Урожай был необычный, даже помидоры уже спелевали.

— Да, урожай тем годом был знатный, — вздохнула Филипповна.

— Вот и остались мы, а когда спохватились, было уже поздно. Ну да в общем дело известное. Не мы первые, не мы последние.

Слушающие согласно закивали.

— Школа наша не работала, трамваи не ходили. Вообще вся жизнь поломалась. Половину подруг растеряла, кто успел эвакуироваться, кто куда подался, мне не сказывались. Я тоже без крайней нужды из дома не выходила — немцев боялась, блатных. У нас-то в городе немцев мало было, но люди говорили, что из тюрьмы воры освободились и теперь лютуют. Воровство, ограбления — на каждом шагу. Может, и преувеличивали — у страха глаза велики. И горько было, что одолевают фашисты наших, и тоска такая — прямо душу грызет. Невмоготу...

— Вот так сижу как-то, жду мать. Она с утра на рынок пошла — огурцы, помидоры на сало и на муку менять. Читать бы, — я тогда читать любила, всю классику перечитала, — а тут не могу. Глазами читаю, а не понимаю, не задерживается в голове. Смысл не доходит. Хоть бы зашел кто, думаю. Уже на вечер пошло, слышу — Дима стучится, я его еще в окно заметила. Обрадовалась ему сильно.

— Садись, — говорю, — сейчас мама вернется, победаем, чем бог послал.

А он странный какой-то, бледный и как бы усталый. Я ему:

— Чего это ты, Дима, такой скучный?

— А чему радоваться, Гая? — отвечает.

— Да уж это верно.

И стоит, не садится и как-то странно на меня смотрит. Как будто спросить что-то хочет и не решается. Я его опять сесть приглашаю, а он говорит:

— Давай лучше пройдемся, Гая. Дома что-то не сидится.

Поняла я его: ведь и у самой тоска такая, что не приведи бог. Накинула кофточку — прохладно уже было. Какой месяц шел — не помню. Август, кажется, а может,

и сентябрь. В общем, уже не лето. Вышли мы, и он не к центру, а в вокзальный район повернул. Район — так себе. Там всегда шпаны много было. Я удивилась, а он говорит:

— Не хочу видеть фашистов. В центре их много.

Что ж, это было правильно. Пошли. Идем, молчим, разговор не клеится. Странный был Дима какой-то в тот день. Я ведь ему нравилась сильно, я это чувствовала. Бывало, сидим в кино, держит меня за руку так нежно-нежно. Один раз только в жизни я испытала такую нежность. Родители у меня суровые были, ласкали редко, а Федор... — Галина Ивановна устало махнула рукой. — А Дима, тот нежный был, потому и запомнила его. Сидели мы как-то с ним на лавочке в парке. У нас парк большой был, старинный. Говорили — графу Татищеву принадлежал когда-то. Аллеи темные. Думаю: поцелуй меня Дима, я не обижусь. А он — нет. И ведь чувствую, что хочет и не решается. Жалко его, а сказать самой — стыдно.

— Нынешняя бы не застыдилась. Сама бы целовать-ся полезла, — подала голос Дарья Степановна, незаметно для себя склоняясь к мнению сына.

— И правильно бы сделала, — запальчиво отозвалась Маша. — Раз парень растяпа, что ж делать-то? Видишь, Гая стыдилась, стыдилась, да и проворонила своего Диму. А, может, тут судьба ее была?

— Да уж, судьба, — все так же горько проговорила Галина Ивановна. — Судьба нам час времени сулила, не более.

— Что ж стряслось-то? — неожиданно проявила интерес и Филипповна.

— Ну, идем мы, идем. И, правду сказать, впечатление у меня такое, что не гуляем мы, а куда-то в определенное место идем. Дима сам не свой. Таким я его еще не видела: сосредоточенный, бледный, говорю ему — не слышит, невпопад отвечает. Зачем я ему понадобилась, думаю? Я его так прямо и спросила. А он с каким-то особенным выражением отвечает:

— Ты не сердись на меня, Гая. Я — так. Просто настроение плохое. Но ничего. Наши скоро их погонят. За нами будет победа!

Я и сама в это верила и очень его понимала, а все

же хотелось спросить — куда мы идем. Но не спросила
Не успела.

Мы как раз подходили к Дому культуры железнодорожников. Там хороший сад был и еще летний кинотеатр. И, на удивление, — вижу много народа. А я-то в эти недели про кино и думать забыла. До того разве было? Спрашиваю себя: что ж это за люди такие? Родина воюет, на фронте кровь рекой льется, а они здесь, под немцем, как ни в чем не бывало в кино ходят. Только когда ближе подошла — увидела: шпана одна. Даже на сердце легче стало. Но ненадолго... Смотрю — стоит компания, человек восемь... Сразу видно, хулиганье отчаянное, самое последнее хулиганье можно сказать. Рожа на роже, не приведи господь с таким нос к носу на темной улице столкнуться. И, гляжу, на нас смотрят. Особенно один: плосконосый, пьяный, замызганный. Уставил и смотрит. И улыбается слегка. А улыбка противная, наглая, словно сейчас ее вижу. Чувствую, что добра не будет, и показываю на них Диме. Он посмотрел и говорит: ничего, мол, особенного в них нет, парни как парни. Говорить-то говорит, а только, вижу, так не думает, — побелел еще сильнее. Просто из гордости не хочет показать виду, что боится. Что-то рассказывать стал. Впервые за дорогу разговорился. Только теперь я его не слушаю. Боюсь. Такие и ножом пырнуть могут, очень просто... Как раз вспомнилось, что из тюрьмы много заключенных сбежало. Наверняка эти тоже из них...

И вдруг один зовет Диму. Мы уже прошли мимо них, как он, слышу, сзади кличет. Дима мне говорит:

— Не оборачивайся, Галя!

И, вижу, — тоже волнуется. Понимает, что на блатных нарвались. Других бы он не испугался. Он сильный был: боксер, чемпион города. Как-то мне билет дал на соревнования. Я ходила, смотрела — он выступал. Выиграл. Как ударил одного — тот упал и встать не смог. Сильный был и смелый. А тут гляжу — заробел.

А плосконосый догнал нас, повернул Диму и начал приставать: чего, мол, здесь ходишь? Дима ему спокойно так отвечает, точно уж не помню что, вроде того, что ходить, мол, здесь никому не заказано. И вот ведь что интересно: только что боялся, а сейчас, вижу, не боится.

Прямо смотрит в эту рожу, и в глазах такие, знаете, огоньки, как бы даже веселые, даже озорные на одну минуту вспыхнули. Но потом погасли.

А тот подонок вдруг размахнулся да как ударит Диму по лицу! Хорошо еще, что хоть не кулаком, а ладошкой, а то и покалечить мог...

У меня прямо как взорвалось в груди что-то. Вся осторожность куда-то пропала. Ну, думаю, Дима сейчас тебе покажет! Как тому на соревнованиях... Смотрю я на Диму, а у него на щеке так вся пятерня багровым жаром и отпечаталась. А он стоит и молчит и под ноги себе смотрит. Только желваки на скулах ходят, волнами переливаются. На мгновение встретился со мной глазами и тут же снова их опустил. А взгляд такой странный был: будто и сказать что-то хочет и спросить... Или, может, это сейчас мне так кажется. Воображение дорисовало. Лет-то сколько прошло...

Галина Ивановна замолкла и задумалась.

— Ну а потом? — спросила аккуратная Дарья Степановна.

— Потом? Ничего не было потом. Тот подонок говорит: «Проваливай отсюда!» или еще как-то. Мы и ушли.

— Что ж он оплошал-то так, Дима твой? — поинтересовалась Филипповна.

— А кому охота, чтоб нож под ребра сунули? — убежденно возразила Маша-кладовщица. — Правильно сделал, что стерпел, зато цел остался. С хулиганьем лучше не связываться.

— В тот момент я так не думала, — задумчиво проговорила Галина Ивановна.

— Сказала ему что?

— Не сразу. Мы долго шли молча. Потом он попросил меня подождать, сам в какой-то дом зашел и вскоре вышел. Обратно пошли той же дорогой. Я уговаривала идти в обход, чтоб опять на тех не нарваться, но он уперся. Пошли той самой улицей, но, слава богу, никого около сада уже не было. Кино шло. Уже у нашей калитки я не выдержала, спросила:

— Как же это ты, Дима, стерпел?

— И что он ответил? — поинтересовалась Дарья Степановна.

— Ничего. Молча посмотрел мне в глаза и потом сказал:

— Не думай обо мне плохо, Гали!
Больше я его не видела.

3

— Как же это случилось?

— Как случаются подобные вещи? Нежданно-негаданно. Пришел вечером с работы, пообедал, прилег на диван с газетой. За стеной — шумно. Там сосед тоже вернулся с работы и, видимо, изрядно под мухой. А во хмелью он буйный — не приведи бог! Жена его Надюша — милая, скромная женщина, такую жену и мать поискать надо — слышим, плачет. Потом кричать стала. Приподнялся я с дивана. Думаю, — что делать? Ведь он, сосед то есть, если бить начнет, убить может. Гигант. Человек силы необычайной. Моя жена заметила, что я зашевелился и говорит: «Ты что, идти туда собираешься? И не думай! Не пущу. О детях помни».

«Но ведь бьет же он ее, слышишь?» За стеной действительно слышались звуки как бы ударов.

«Это их дело, — говорит жена. — А ты вмешиваться не имеешь права. Это даже противозаконно — врываться в чужую квартиру...»

— Ваша жена была права, — сказал один из слушавших — юрист. — Вы могли бы войти в квартиру соседей только, если б они вас об этом попросили, если б слышались крики о помощи...

— Ну, как у вас там по закону получается — не знаю. а только не пошел я... Смалодушничал. Он на двадцать лет меня моложе, таких, как я, троих съест, водой не запьет. Да и затихло вскоре. Сильно хлопнула дверь, и затихло. И слава Богу, думаю. Лежу, газету читаю. И вдруг вбегает другая соседка — из третьей квартиры на нашей же площадке, и в состоянии, близком к истерике, кричит, что Василий — это пьяный сосед — избивает Надю у них в квартире. Она туда, оказывается, убежала, спасаясь от мужа. Тут уж я раздумывать не стал, да и жена больше не удерживала. Бросился я к тем соседям. По дороге, хотя заняло это всего несколько секунд, успел обдумать ситуацию. Силой его не возьмешь, было

мне ясно. Даже если дома хозяин квартиры, нам с ним вдвоем Василия не одолеть. Тот, третий,— тоже человек немолодой, комплекции средней. Значит, надо уговаривать, взять добром, подчеркнутым спокойствием, доброжелательностью. Да и вообще — это самый верный способ обращения с пьяными...

— И не только с пьяными, — подал реплику кто-то из присутствующих.

— Во-во. Это вы точно. Итак, захожу в комнату нарочито-медленно и так, знаете, обыденно. Будто невзначай заглянул. А сцену вижу такую. В спальне это было. Бедная Надюша забежала за спинку кровати и, дрожа всем телом, сквозь рыдания увещевает: «Не надо, Васенька, не надо, милый, успокойся...» А сосед — хозяин квартиры — повис на правой руке Василия и тоже его умоляет. Тут же дети, не помню уж чьи, ревямя ревут, прямо закатываются. Да и то сказать — есть от чего. Я, придерживаясь задуманной тактики, останавливаюсь в дверях, изображаю легкую улыбку, стараясь, чтоб она выглядела искренней и, будто не замечая главного, говорю: «Здравствуйте, Вася. Почему вы так раз волновались? Могу быть вам чем-нибудь полезен?» Он повернулся ко мне свое искаленное лицо с побелевшими глазами и промычал: «Уйди! Убью! И ее и тебя — всех убью». Я, пропуская мимо ушей эти слова, пересекаю комнату, продолжая говорить, что не стоит-де волноваться из-за пустяков, сейчас мы все выясним, давайте, мол, присядем. Но в тот момент, когда я приблизился к нему почти вплотную, он, словно котенка, сбросил с себя хозяина квартиры, повернулся ко мне и ударил. Не знаю, то ли он уж очень пьян был, то ли удар пришелся вскользь, но я устоял.

Говоривший сделал небольшую паузу. Чувствовалось, что воспоминание его взволновало и он старается овладеть собой. Добившись этого, он продолжал:

— У каждого порядочного человека есть свой моральный кодекс. Есть такой и у меня. И согласно этому кодексу на удар по лицу не ответить нельзя. Это убеждение сидело во мне с детства и так укоренилось, что я и подумать ничего не успел, даже боли еще не ощутил, как уже врезал ему левой рукой в глаз. Знаете, есть такой резкий сухой удар, к нему очень подходит это сло-

во. И вот ведь какая штука. Драчуном я никогда не был, силы я средней, да к тому же, сами видите, человек уже немолодой. А только удар получился очень сильный. Тут, может быть, сказалось сознание своей стопроцентной правоты. Ведь, помимо всего, я ему почти в отцы годился! У Василия лопнула кожа над бровью, и кровь залила лицо. Я растерялся. Этого я не хотел. Да и вообще я не питал зла к Василию — ведь в трезвом состоянии он был хорошим парнем.

— Хотели или не хотели, а тут у вас, как минимум, мелкое хулиганство. Верные пятнадцать суток, — определил юрист.

Рассказывавший обернулся, как ужаленный, и даже с места вскочил:

— У меня — хулиганство? Это у меня, который спас женщину, может быть, от смерти и уж наверняка от тяжелыхувечий? У меня, который за всю жизнь, даже в детстве, никогда никого не ударил первым? Это у меня то хулиганство?

Его настолько задело слово «хулиганство», отнесенное к нему самому, что он был буквально вне себя.

Юрист улыбнулся и сказал примирительно и в то же время не без иронии:

— Смотрите, не измените сейчас этому правилу: никого не бить первым. Видите, сколько свидетелей...

В комнате было человек семь, все мужчины.

Спокойный тон юриста, уместная, хотя и с намеком, шутка оказали свое действие. Рассказывавший почти сразу успокоился, тоже улыбнулся — правда, с некоторой натяжкой, — и вновь усился.

Но зато заволновались другие.

— Что ж это? Человека ни за что ударили, а он и ответить не может? Так, что ли, по закону выходит?

— Превышение необходимого предела самообороны, — разъяснил юрист. — Нанесение легких телесных повреждений.

— А что ж он должен был делать? Свой удар на аптекарских весах взвешивать? — запальчиво вступил еще кто-то.

Но юрист был невозмутим. Игнорируя последнюю реплику, на которую действительно ответить было бы трудно, он обратился к рассказывавшему:

— Василий вам видимого ущерба не причинил, так ведь? А вы ему бровь рассекли... Значит...

Но тут мера терпения присутствующих исчерпалась. Заговорили разом все: горячо, непоследовательно, но убежденно. Некоторые даже кричали. Только эмоции владели всеми в эту минуту. Сквозь хор негодующих голосов, перебивающих друг друга, слышался лишь один уравновешенный голос, звучавший удручающе уныло:

— В милицию надо было обратиться. В милицию...

— Ну, забрали бы его для вытрезвления, ну, оштрафовали бы на пятерку или там на десятку, скажем, — откликнулся на увещевания здравомыслящего рассказчик. — А я бы с битой физиономией остался? Так, по-вашему, выходит?

— Зато все по закону было бы... — скучно тянул тот свое.

— Закон говорит... — вновь веско начал юрист, единственный сохранивший ясность мышления и сознание правомерности своей позиции. — Закон говорит, что...

— Не знаю, что там закон говорит... — с нескрываемым раздражением, почти с неприязнью, бросил самый молодой член компании, — а только есть закон чести, а этот закон говорит, что с битой физиономией остаться нельзя!

— Можно! — раздался вдруг голос негромкий, но выговоривший единственное слово с такой значительностью, что все сразу смолкли и обернулись в сторону скавшего.

Этот еще не старый человек до сих пор сидел молча.

— Можно, — повторил он задумчиво, смотря не из себя, а в себя, и все поняли, что услышат сейчас что-то такое, чего этот человек еще никогда не рассказывал, что-то из того, что носят в себе всю жизнь, отгоняя даже неведомые никому воспоминания, но вот наступает момент, и тяжесть непостижимым образом всплывает, и единственное, что можно сделать, это выплеснуть ее вон из души.

— Я вам расскажу все как было, а вы уж сами судите...

Он помолчал, как бы решая, с чего начать, потом раздавил дымящуюся папиросу о дно пепельницы, убедив-

вшись, что она не дымит, отодвинул от себя, и заговорил:

— Война застала нашу семью врасплох. Конечно, любое несчастье никогда не бывает кстати, тем более такое огромное бедствие, как война. Но у нас... Вы только представьте: отец — офицер запаса — был как раз на летних командирских сборах. Оттуда и на фронт ушел, и вскоре погиб. Так мы его больше и не видели. Сестренка находилась в пионерлагере в другой области. Дома оставались только мы с мамой. А она, как на зло, лежала со сломанной ногой. За три дня до начала войны вешала занавески и упала с лестницы. В результате мы попали в оккупацию — город наш немцы заняли очень быстро.

Как вам передать чувства юноши, здорового, полного сил и энергии, преданного Родине и вдруг оказавшегося под властью врага? Это может понять лишь тот, кто сам такое испытал. Я не мог себе простить, что не пошел добровольцем — мой возраст еще не призывался. Но как было бросить маму в таком беспомощном состоянии? Да и не ждал я, что они пойдут так быстро...

— Никто не ждал... — подтвердил один из слушавших.

Рассказчик благодарно кивнул головой и продолжал:

— Первое время я был в растерянности: что делать? Как дальше жить? Точно в такой же растерянности пребывали мои дружки и одноклассники из тех, кто, как я, застряли на месте. Я бы не сказал, что мы были в отчаянии. Вспомните: перед войной нас столько уверяли, что война будет короткой, что мы разгромим врага на его территории «малой кровью, могучим ударом». Мы все ждали: наши вот-вот вернутся, мы вступим в армию и еще себя покажем. И тот конфуз, который с нами случился, — исправим.

От московских новостей мы были отрезаны, немцы трубили о победах, мы им мало верили. Но однажды Шурка Новиков — мой ближайший дружок — принес листовку с речью Сталина, той, которую он произнес по радио 3 июля. И тут мы поняли... что поняли? — черным по белому прочли: положение критическое, над Родиной нависла смертельная опасность. В речи говорилось, что война будет долгой и потребует напряжения всех сил. Тут же содержалась программа действий для нас: Став-

лин призывал создавать партизанские отряды, бить немцев с тыла.

В нашем возрасте над такими вопросами долго не раздумывают. Через несколько дней у нас уже была группа, которая все увеличивалась. Опыта у нас не было никакого, и дело, несомненно, обернулось бы трагедией, если б не нашлись взрослые, опытные люди, которые взялись руководить нами. Для начала была установлена строгая дисциплина, нас ознакомили с основными правилами необходимой конспирации. Не скажу, чтоб моя роль в организации меня удовлетворяла. Я представлял себе подпольную работу как непрерывную цепь боевых акций — бомбометания, перестрелок, нападений на немецкие патрули и даже штабы. Ничего подобного не было и в помине. Я даже оружия не имел. А поручения были такие: сходить по такому-то адресу (или встретиться с таким-то там-то) и передать то-то, чаще всего пакет или конверт, а то даже и книгу. Бывало и так, что я не знал, что несу. Просто мне говорили: «Возьми вот это и оставь там-то». Но постепенно я к такой конспирации и такой дисциплине привык. Когда же в городе произошел взрыв на складе боеприпасов, а потом случилось крушение немецкого воинского эшелона, я понял, что хождения мои не напрасны, что я, пусть маленький, неприметный, но нужный винтик в уже начавшей действовать машине. Я стал работать охотнее, выполнять поручения аккуратнее, и мне начали доверять более ответственные задания. Как-то меня вызвал начальник, побарабанил короткими, жесткими пальцами по столу, помолчал с минуту, жуя губами, и заговорил с непривычной мягкостью: «Вот что, Дима. Есть тебе поручение... Дело опасное. Если не уверен в себе — не берись. Но живым в руки даться нельзя: будут пытать, можешь не выдержать...»

Начальник замолчал, поднял взгляд и долго смотрел мне в глаза. Я мало что понял из его слов, но главное — понял. Период мелких заданий для меня кончился, мне поручают что-то важное, и от того, как я справлюсь, будет зависеть дальнейшее. А мне хотелось, — ох как хотелось, — выделиться, показать, что на меня можно смотреть, как на взрослого... Мне как раз только что исполнилось восемнадцать лет. В том возрасте очень хочется

убедить всех — и самого себя в первую очередь — что ты — взрослый. В нормальных условиях мальчишки пытаются доказать это курением, вызывающим отношением к девочкам... Нашему поколению выпало предъявлять доказательства куда более серьезные.

Я коротко и солидно (так мне во всяком случае хотелось, чтобы это звучало) ответил, что готов выполнить любое задание. Начальник вышел в соседнюю комнату и сейчас же вернулся с большой картонной коробкой.

— Вот! — он выложил на стол четыре револьвера. Три были наганы, четвертый — небольшой, неизвестной мне системы. Оружие! Наконец-то я его увидел!

— Как понесешь? — спросил начальник. Надо сказать, что он всегда давал возможность проявить инициативу.

Я ответил, что в коробке нести нельзя — могут проверить ее содержимое, если нарвешься на патруль.

— Правильно! — произнес начальник с явным одобрением. — Что предлагаешь?

— Их всех надо на себя. Засуну под брюки за пояс и потуже затяну, они не упадут. Под пиджаком видно не будет. Хорошо бы к поясу приделать петли — вернее было бы.

Начальник крякнул от удовольствия:

— Дело говоришь, парень!

Оказалось, что такой пояс уже готов. Я снял свой, надел этот и закрепил оружие, как говорилось. Когда я взялся за маленький, начальник задержал мою руку.

— Браунинг далеко не прячь. Он для тебя. Держи его под рукой. Один патрон в стволе, семь в обойме. В сторону можешь сделать семь выстрелов. Но это я говорю только на крайний случай...

Начальник ободряюще хлопнул меня по плечу. Потом почти весело сказал:

— А ну, дай-ка на тебя со стороны поглядеть. — Он сделал несколько шагов назад. — А ну, повернись спиной... Так, теперь спиной.

Он нахмурился и с сомнением покачал головой.

— Нет, не годится. Вот этот выпирает, — от ткнул в тот, что был приложен сзади. — Да и карман оттопыривается. Вырос ты из этого пиджака.

Он был прав — пиджак на мне был кургузый, я сильно раздался за последний год. Что же делать?

Начальник огляделся, заметил висящий на двери плащ и снял его с гвоздя.

— А ну, примеры!

Я надел плащ. Он был мне в длину пожалуй как раз, но слишком широк.

— Ну, в общем сойдет. То, что надо, — одобрил начальник.—А что просторен, так это и лучше, талии твоей не видно будет.

Он еще раз потрепал меня по плечу.

— Что ж, Дима, с богом!

Последние слова прозвучали странно в его устах, но они мне были приятны: ими провожала меня обычно на соревнования мама. Я ведь был боксер-средневес, да не из последних: имел тридцать два боя, из них двадцать девять выиграл. Восемь нокаутом. Как раз перед войной мне присвоили первый взрослый разряд. Я и на мастера тянул, да годами не вышел...

Путь мне предстоял не близкий — в обход центральных районов города: там много немцев, патрулей. В аккурат на обыск нарвешься. Мне был указан номер дома. Я должен был войти в подъезд и, убедившись, что никого нет, открыть ключом каморку под лестницей, из тех, в которых дворники держат метлы, лопаты и прочее свое хозяйство. Оружие я должен был положить в нижний из двух стоящих в углу ящиков и прикрыть ветошью. Потом выйти из каморки так же незаметно и запереть за собой дверь. Ключ оставить под подстилкой, с правого угла. Задание выглядело достаточно просто, если не считать смертельного риска, которому я подвергался, идя с оружием по городу.

Стоял уже сентябрь. Было ясно, ветрено и довольно прохладно. И это было очень кстати: мой плащ выглядел уместно. Дело было под вечер. Мы рассчитали так, чтобы по адресу добраться, когда уже стемнеет — так легче войти в подъезд незамеченным и уж во всяком случае неизвестным.

Я пошел. Первые кварталы дались мне трудно. Я испытывал не только психологическое, но даже физическое напряжение; скованность всех членов, какую-то придавленность. Мне казалось, что мое состояние видно и

со стороны и каждый не слишком уж мимолетный взгляд прохожего чудился мне признаком того, что он о чем-то догадывается. Но когда я миновал несколько кварталов, то состояние начало ослабевать — никто меня не останавливал, ни одного немца я не встретил. Вся окружающая меня обстановка была с детства знакомой и привычной. И хотя район, по которому я шел, находился далеко от моего дома, я его хорошо знал, потому что не раз провожал сюда Галю — девочку, с которой у меня вот уж больше года как завязался робкий, целомудренный роман. Между нами ничего не было сказано, мы не целовались ни разу, и даже пожать ей руку в темноте кинозала мнилось мне большой нескромностью, на которую, впрочем, я порой отваживался.

Да, я как раз шел мимо Галиной калитки, и мне пришло в голову зайти к ней и предложить прогуляться. Кто же заподозрит, что паренек, нежно воркующий с девушкой, несет на себе столько оружия? Галя не была членом нашей организации, и я, конечно, не собирался посвящать ее в истинную цель моей прогулки. Но вообще это была хорошая, честная девушка, относившаяся к событиям так же, как я.

Галя немного удивилась моему приходу. Мы с ней встречались обычно вечерами. Но в эти недели все шло кувырком, весь распорядок жизни нарушился, школы не работали, и, в общем, ничего удивительного в том, что я появился в неурочное время, не было. Галя так к этому и отнеслась.

Прогуляться она согласилась охотно, только уже на улице удивилась избранному мною направлению. Но я объяснил, что мне не хочется идти ни в центр, ни в главный парк, чтоб не видеть фашистов. Это был вполне убедительный довод, и Галя не возражала.

Вначале беседа у нас не клеилась. Мне было трудно думать о чем-либо, кроме того дела, ради которого была предпринята эта прогулка. Я отвечал Гале невпопад, и она даже обиделась немного. Пришлось объяснить ей, что события последних недель совершенно выбили меня из колеи.

— Ничего, Дима, наши им еще покажут, — запальчиво сказала Галя. — Я думаю, что немцев вот-вот погонят.

Тут я едва не ляпнул, что немцы уже за Смоленском, да вовремя удержался. Но слова Гали были приятны тем, что показывали ее настроение, и во мне поднялось еще более теплое чувство к ней.

«Посвятить ее в истинную цель нашей прогулки?» — раздумывал я. Мне теперь было совестно, что я, выполняя задание организации, использую эту ничего не подозревающую девочку, как щит, как ширму. Мне казалось, что я поступаю не по-мужски, что неблагородно подвергать Галю такой опасности. Моментами мне просто стыдно становилось, но судьба готовила мне в тот день испытание гораздо горшее.

Путь наш лежал мимо Дома культуры железнодорожников, при котором был сад, а в саду летний кинотеатр. Мы с Галей там иногда бывали в прежние дни.

Еще издали я заметил оживление около кассы и особенно возле пивного ларька. Я хотел предложить Гале перейти на другую сторону — не стоило лезть туда, где много народа, но она как раз что-то оживленно рассказывала, и перебивать ее было неудобно, а когда она кончила, мы были уже слишком близко и, пересекая улицу, рисковали привлечь внимание. А мне главное было — не выделяться, ну решительно ничем не выделяться из общей массы. Знакомых здесь я встретить не боялся — это был не мой район, и все же... лучше мне было избегать мест, где много народа...

Говорящий опять сделал небольшую паузу, потом вздохнул и продолжил:

— Я заметил его шагов за двадцать. Вернее, не его, а всю их компанию — их было трое или четверо. Даже среди здешней, не ахти какой изысканной публики они выделялись: было в них что-то нагло-вызывающее, подчеркнуто хамское, к тому же они были не то что пьяны, а, как говорится, на взводе: самое агрессивное состояние подобных типов. В период крупных потрясений и кризисов всегда откуда-то выползает на поверхность жизни подобная нечисть. Плохо, когда она там удерживается надолго.

Я сразу понял, что встречи с ними необходимо избежать, но, бросив еще один взгляд в их сторону, понял и то, что избежать этой встречи мне как раз и не удастся. Они нас тоже заметили и смотрели в нашу сторону

с тем напускным превосходством и открытой враждебностью, с которой всегда подонок старается смотреть на приличного человека.

Я немедленно отвел свой взгляд от них и оживленно заговорил с Галей, стараясь выглядеть со стороны как можно более безобидным, всфенело поглощенным беседой со своей спутницей. Расстояние между нами неуклонно сокращалось, и боковым зрением я различал, что их внимание приковано к нам. Почему именно нам оказывалась такая честь? Зачем я им нужен? Мало ли народу вокруг? — спрашивал я себя с горечью. Но, в общем, понять их тоже можно было: идет какой-то пижон с хорошенкой девчонкой, воркует, блаженствует. С ними такая не пойдет. Как тут не задеть? А, надо сказать, что выглядел я действительно пижоном. Это сейчас у меня лысина, а тогда была пышная белокурая шевелюра, нос — сами видите — вздернутый, глаза теперь-то выцвели, а тогда были невинно-голубые, что твои васильки, и к тому же румянец во всю щеку. Нет, никак не выглядел я боксером-перворазрядником, чемпионом города.

«Может быть, перейти на другую сторону? — думал я и сам же себе с раздражением ответил: «Поздно! Надо было раньше соображать. Тоже конспиратор! Подпольщик! Такого простого случая предусмотреть не мог!».

И тут, неожиданно Гая перебила мои мысли:

— Дима, посмотри, как на нас смотрят эти типы. Как бы не придрались.

— Которые? — спросил я, стараясь, чтоб вопрос мой звучал беззаботно.

— Вот эти, слева...

Мы уже почти поравнялись с ними, и мне ничего не оставалось, как посмотреть в указанную сторону. Тут была моя ошибка, но как было этого не сделать, когда Гая прямо на них указывала? Ведь я был так одинок в эти минуты: мне приходилось скрывать все от всех. Даже от Гали...

Я встретил тупой и злобный взгляд и тотчас, опустив глаза, отвернулся к своей спутнице и сказал, пытаясь не выдать охватившего меня волнения:

— Ну что ты, Гая? Парни как парни.

Мы уже миновали их, и у меня успела мелькнуть мысль: «Пронесло!», как я услышал:

— Мужик! Эй, мужик!

Вокруг было немало народу, этот оклик мог относиться к любому, но я знал, что зовут меня. Делая вид, что не слышу, продолжая что-то говорить Гале, я шел своим путем. «Вот так идти, не обращая внимания, может быть, отстанут», — пытался я убедить себя, но сам же себе не верил. И был прав.

Послышался звук горопливых шагов, меня кто-то взял сзади за руку, и пришлось повернуться.

Боже, что за рожа стояла передо мной! Приземистый, щуплый, белесо-рыжеватый, с коротким, расплющенным у переносицы носом, трехдневной щетиной, в крохотной засаленной кепчонке, весь какой-то немытый, вонючий, он уставился на меня мутным взглядом своих блудливых глаз. Тупая и наглая ухмылка растягивала его тонкие губы. К нижней прилип мокрый окурок и дымил, что заставляло его щуриться. Он был мне отвратителен до такой степени, что вызывал физическую тошноту. Смотрел он на меня с бессмысленным самодовольствием обожравшегося животного.

Я молчал, ожидая, что он скажет, и все еще надеялся, как-нибудь вывернуться. Он тоже молчал некоторое время, явно не зная, что сказать.

— Ты чего это... здесь болтаешься? — придумал он наконец.

Я спокойно пожал плечами:

— А разве нельзя?

Он не нашел, что ответить, но взгляд его из бессмысленного стал злобным. Насмешливым и злобным в одно и то же время. А я раздумывал, как выйти из положения, как отделаться от него, и потому начал миролюбивым тоном, как бы показывая, что не считаю его вопрос неуместным, глупым или вызывающим:

— К родственнице идем. Заболела она.

— Свинья-хавронья тебе родственница!

Его дружки стояли чуть поодаль с его стороны, так же, как Галя стояла с моей стороны. Но ведь она слышала, и я не мог полностью игнорировать такие слова:

— Чего ты ругаешься, парень? Что я тебе сделал? —
сказал я примирительно.

— Чего сделал... а вот увидишь, чего сделал...

Он, видимо, хотел сказать: «что я тебе сделаю», но не сумел выразить эту несложную мысль. Я промолчал, чувствуя, что, если скажу еще слово, он ударит меня.

У него на губах продолжала играть все та же тупая, наглая улыбка. Мутный взгляд словно прилип к моему лицу и пачкал его. В нем была бессмысленная уверенность скота в своем превосходстве над человеком. А я смотрел в эту пьяную рожу и видел, как заманчиво открыта его нижняя челюсть. Вот сюда, прямым правой, поближе к подбородку. Он и не пикнет, только копыта в небе мелькнут. Не таких укладывал. А за ним еще двое, четвертого сейчас не видно. Вот тот, что повыше, пожалуй, самый крепкий. Ему аперкот левой в солнечное сплетение и правый крюк в подбородок... Если не хватит, можно будет еще один крюк левой в скулу. А третий — сморчок, он или убежит, или хныкать начнет. Я их сейчас расшвыряю...

И тут, словно каленым ножом меня полоснула мысль об оружии... Как мог я забыть! Как, даже на секунду, мог я допустить возможность оказаться втянутым в уличный скандал? А если у них здесь еще дружки, и меня задержат? Как мог я забыть о самом главном?!

Я снова опустил глаза, чтоб не видеть его беззащитной челюсти. Подальше от соблазна.

А он вдруг размахнулся и ударил меня. Господи, хоть бы кулаком ударили! Но он настолько презирал меня, настолько не считал способным защищаться, что даже не дал себе труда сжать кулак, а ударил ладонью.

Он дал мне пощечину, такую звонкую, что многие обернулись, и кто-то засмеялся.

— Что, съел? — спросил он с нахальной усмешкой, уверенный в своей неуязвимости.

Боже мой, если б только он знал, что мне такого и на закуску мало! Вот она, его челюсть, вот незащищенная точка ближе к подбородку. Прямым правой вот сюда. Только один прямой правой!

Гаяя появилась в поле моего зрения. Она смотрела на меня с вопросом, недоумением и болью. Ее темно-

карие, такие теплые, такие нежные глаза как бы говорили: «Что же ты, Дима? Как ты можешь такое терпеть?».

Что я мог? Наган сзади давил мне на поясницу, два других — с правой и левой стороны живота — слегка колыхались от моего учащенного дыхания.

Браунинг, предназначенный для крайнего использования, оттягивал карман плаща. «На крайний случай» — так сказал начальник. Но этот случай под понятие «крайний», увы, не подходил. Это был мелкий случай — мне просто дали пощечину, и я должен стерпеть, смириться. Не думал я, что участие в подпольной организации потребует от меня такого...

И я смолчал. Я стоял перед этим скотом, опустив руки, и, чтобы не смотреть на его челюсть, смотрел себе под ноги.

— Пшел вон, пижон... — процедил он сквозь зубы. Он даже «падлом» меня не назвал. Все, чего я был достоин, с его точки зрения, это пренебрежительное: пижон.

Чувствуя все три нагана у себя за поясом, ощущая тяжесть браунинга в кармане плаща, я повернулся и пошел прочь.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ВАСИЛИЯ КАЗАНЦЕВА

I

Художник Василий Казанцев ехал в Тамбов из Брянска.

Путь был неблизкий и неудобный, предстояли две пересадки — одна в Сухиничах, другая неизвестно где, дорога покажет. Конечно можно было ехать через Орел и Липецк, по карте так выглядело даже короче, на самом же деле выходило еще более неудобно и сулило уже три пересадки: в Орле, на станции Грязи и потом еще где-то на линии, которая начиналась в тех же Сухиничах, так что не было смысла и огород городить. К тому же выбранный маршрут имел то преимущество, что давал возможность навестить дядю, единственного оставшегося в живых родственника со стороны отца.

Дядя Петр Степанович служил начальником участка на одной из больших станций Смоленско-Тамбовской железной дороги. Видимо, почувствовав на склоне лет желание возобновить связи с родней, дядя как-то написал Василию письмо, звал погостить.

Он был женат вторым браком, имел детей, но Василий никогда не видел своих кузин и кузенов и даже не знал точно, сколько их и как их зовут. Редкие свои письма к матери Василия Петр Степанович заканчивал лаконично: «Все мои чада и домочадцы велят вам кланяться и желают всяких благ».

В Тамбов Казанцев ехал потому, что его звал туда Дмитрий Трубников, друг и однокашник по Московскому училищу живописи и ваяния.

Трубников — человек состоятельный — имел в Тамбове собственный дом, держал выезд и вел широкий образ жизни. Живопись он оставил, так как, побывав в Европе, убедился в ограниченности своих возможностей.

Зато он вознамерился организовать в Тамбове музей изящных искусств. Был он энергичен, настойчив, обладал даром убеждения и сумел увлечь своей идеей нескольких скотопромышленников из числа тех скоропспелых богачей, которых тянет к искусству.

Трубников и его друзья задумали приобрести несколько полотен знаменитых художников, и тут им нужен был человек, знающий толк в живописи. Конечно, разбирался в ней и сам Трубников, но ему было недосуг ездить по городам и весям, разузнавать, знакомиться, присматриваться, вести переговоры. И тогда он вспомнил о Василии Казанцеве и вызвал его к себе.

Жизнь этого последнего складывалась совсем иначе. Курса в училище он кончить не успел — помешала смерть отца, чиновника средней руки. Пришлось возвращаться домой в Брянск, где с матерью оставалось трое младших детей: две сестры и брат, все гимназисты.

В Брянске меценаты не водились, средства семьи были очень ограничены. Пришлось подумать о работе. К счастью, вскоре освободилась вакансия в местной гимназии. Казанцев поступил туда учителем рисования и черчения. Он был непьющий, умеренный в своих потребностях и сдержанний в привычках, и, не будь на

его плечах семьи, существовать можно было бы вполне прилично, тем более, что женщинами Казанцев не интересовался, о женитьбе не помышлял. Его влекла только живопись, и он продолжал рисовать и писать красками в свободное время.

Когда тихий и углубленный в себя, с вечной не столько даже улыбкой, сколько усмешкой на лице, с папкой в руке он проходил по улицам города, обыватели показывали на него друг другу, говоря:

— Вот наш художник пошел!

Мало-помалу он становился местной достопримечательностью, но не догадывался об этом.

За те несколько лет, которые он безвыездно прожил в Брянске, Василий Казанцев не сумел составить круга знакомых, подружиться или хотя бы тесно сойтись с кем-нибудь...

Теперь ему было уже тридцать лет, и предложение переменить место жительства и заняться интересной и живой работой пришлось ему по душе. Он с удовольствием откликнулся на эту возможность, рас прощался с гимназией и, сопровождаемый добрыми напутствиями матери, надеявшейся, что, может быть, на новом месте Васенька встретит хорошую девушку, с которой свяжет свою судьбу, двинулся в путь.

Только что начался ноябрь, и, хотя морозы еще не установились, в погоде произошел бесповоротный сдвиг к зиме. Дул резкий, колючий ветер, листья с деревьев давно облетели, и леса, среди которых шел поезд, выглядели неуютными и сиротливыми. Они просматривались насквозь, и горожанину трудно было понять, где в них сейчас укрывается разнообразное лесное зверье.

Казанцев то смотрел в окно, без большого, впрочем, интереса, то закрывал свои молочно-голубые, с короткими светлыми ресницами глаза и пытался дремать. Денег у него было мало, ехал он третьим классом без спального места, но это не тяготило его: он был невзыскателен и легко довольствовался минимумом. Не мешал ему и обычный для таких вагонов шум: плач детей, звуки губной гармоники, на которой однообразно и заунывно кто-то наигрывал в соседнем купе, переругивание кондуктора с пьяным мужиком, загромоздившим своими мешками весь проход.

Казанцев сидел молча, безучастный, невозмутимый и неподвижный, и, глядя на него со стороны, трудно было понять, о чем он думает, чему ухмыляется.

Потом он достал папку, вынул из нее лист плотной бумаги и карандаши и начал набрасывать портрет сидевшего наискосок бородатого пожилого мещанина в картузе. Он рисовал, нимало не заботясь, нравится это его невольному натурщику или нет. А тот, казалось, и не замечал ничего, неторопливо потягивая крепкий чай прямо из носа фаянсового чайника и ведя вялую беседу с сельским батюшкой, сидевшим напротив.

Прошло около часа. Казанцев кончил, аккуратно сложил карандаши, несколько мгновений внимательно и удовлетворенно смотрел на свой рисунок, потом отвел руку подальше, чтобы найти новый ракурс, и, окончательно убедившись, что портрет готов, молча протянул его мещанину.

Тот не удивился, из чего можно было сделать вывод, что он все же видел, как его рисуют. Не беря в руки лист бумаги, мещанин минуты две, прищурив один глаз, рассматривал портрет. Потом, покачав головой, сказал коротко: «Не похоже», — и больше уже не проявлял интереса к своему изображению, возобновив разговор со священником.

Казанцев, ничуть не обиженный таким безразличием к своему творчеству, развязал папку, аккуратно уложил туда рисунок, снова завязал бантом шнурок и, положив папку на приоконный столик, все с той же усмешкой, неизвестно что означавшей, стал смотреть в окно.

Он думал о городе, куда ехал, стараясь представить себе его улицы, дома, людей, и безотчетно надеялся, что будет он лучше — наряднее и оживленнее, чем родной Брянск. Но вдруг выплыли строки:

Тамбов на карте генеральной
Кружком означен не всегда...

Казанцев усмехнулся и подумал, что со времен Лермонтова город все же, наверное, изменился к лучшему и теперь уже заслуживает кружка на любой карте.

Потом явилось новое соображение: Трубников не обосновался бы там, если бы это было такое захолус-

тье. Дмитрий всегда любил шум, многолюдие, развлечения. Он, видимо, и в Тамбове не скучает.

Впрочем, самому Казанцеву все это было не нужно. Свою будущую работу он представлял себе весьма смутно, надеясь лишь, что у него будет оставаться достаточно времени для собственных занятий живописью. Казанцев в основном писал пейзажи, — лесистые окрестности Брянска служили благодатной натурой. Но в глубине души Казанцев считал себя портретистом, и если пока ему не удалось создать ничего значительного в этой области, то лишь потому — говорил он себе, — что не встретился по-настоящему интересный объект.

Потом мысли Казанцева перескочили на предстоящую встречу с дядей.

Он еще не решил, надолго ли остановится у него: вероятно, дня на два, на три, а впрочем, как понравится. Впервые в жизни Казанцев имел возможность распоряжаться временем по собственному усмотрению, и это было и необычно, и приятно, порождая чувство какой-то спокойной уверенности в себе.

Хорошо бы, чтоб семья дяди оказалась не слишком уж многочисленной и шумной. Впрочем, как он сейчас припоминал, старшие дети Петра Степановича, кажется, живут в другом городе — не то учатся там, не то служат.

Но и эти мысли недолго занимали Казанцева. Переезд колес сменил ритм — поезд замедлял ход. Мелькнул семафор, грохнули стрелки, на мгновение прикрыла все окно водокачка и тут же исчезла.

Показался перрон, чуть припорошенный первым, еще как-то неуверенно опускающимся снежком. Только сейчас Казанцев почувствовал, что голоден. Был уже четвертый час пополудни, а он с утра ничего не ел.

Казанцев решил выйти из вагона. Станция была большая, поезд здесь стоять будет долго. Надо перекусить в буфете или купить чего-нибудь на привокзальном бazaarчике.

После душного вагона воздух на перроне показался чистым и свежим, хотя явственно тянуло гарью. Моментами дул резкий ветер, швырявший в лицо редкие и колючие, какбитое стекло, снежинки.

Крестьянки, уже все в валенках, в теплых пуховых

платках, озябшими, но бойкими голосами предлагали свой товар:

— Курочку, барин, пожалуйте, курочку! Жирная, сладкая! А вот огурчики нежинские, малосольные, сами в рот просятся! Картошка горяченькая! Кому картошечки горячей?

Казанцев постоял в раздумье, не зная, что брать и, главное, куда сложить то, что купишь, и, махнув рукой на экономию, решил пообедать в буфете.

Там было тихо, просторно и опрятно. За высокой стойкой с большим медным самоваром, из которого буйно валил пар, высыпался важный буфетчик с генеральскими бакенбардами, какие носили в предыдущем царствовании. Буфетчик был в пикейном жилете поверх расшиотой на украинский манер косоворотки.

— Чего изволите? — обратился он учтиво и в то же время покровительственно, глядя сверху вниз на тщедушного Казанцева.

Василий спросил себе порцию щей, поросенка с гречневой кашей и пару чая.

— Газет московских не желаете ли? — предупредительно осведомился буфетчик. — Есть свежие «Ведомости», «Русское слово» вчерашний номер-с...

— Дайте, — без интереса согласился Казанцев.

Усевшись за столик, он сперва равнодушно глядел в окно, перед которым по перрону степенно расхаживал пузатый жандарм, потом вспомнил про газету, развернул ее и стал вяло просматривать.

Он скользнул взглядом по заголовку, сообщавшему об очередном обострении на Балканах, о ноте, врученной в Берлине послу Нидерландов, о поездке президента Французской Республики Пуанкаре.

Политика не интересовала Казанцева, и он отложил газету. Тут, кстати, принесли заказанное, и он стал обедать. Только вернувшись в вагон, он, от ничего делать, вновь развернул газету на странице, на которой печатались российские новости, и сразу наткнулся на сообщение, привлекшее его внимание крупным заголовком: «Болезнь графа Л. Н. Толстого осложнилась».

Он начал читать репортаж и узнал то, что в течение последних дней занимало и тревожило всю Россию, и не только Россию, и чего он не узнал своевременно пото-

му, что уже два дня находился в дороге и был оторван от новостей: бегство из Ясной Поляны, скитание по железнодорожным станциям и уездным городкам, болезнь...

Казанцев усмехнулся, прочитав названия мест, где останавливался или делал пересадки великий писатель: Щекино, Козельск, Белев... Как раз те места, которые проезжал сейчас он сам. Выходит, отправься он в путь дня на три раньше, мог запросто встретить Толстого в вагоне. А вдруг удалось бы портрет написать? Вот было бы счастье! Казанцев был уверен, что портрет бы получился.

Как и всем, внешний облик Толстого был ему известен по портретам Ге, Репина, многим фотографиям. А ему хотелось создать свой образ великого человека так, как он представлялся ему. Четыре точки. На лице Толстого выделяются четыре опорные точки: надбровные дуги и скулы — вот каркас этого поразительного лица. И между ними глаза. Эти глаза пугали и потрясали одновременно. Они вызывали трепет. Трепет восторга и трепет от сознания своей беззащитности перед этим прямо в душу проникающим беспощадным взглядом, от которого ничего не утаишь. Он все видит, все понимает, все оценивает по самому строгому нравственному счету.

Казанцев зажмурился, будто в лицо ему прянул резкий свет. Нет, никогда не передать ему взгляд таких глаз, это слишком страшно. Это все равно что заглянуть в бесконечность! Нет, нет! Он даже замотал отрицательно головой, словно отгоняя от себя тягостное видение.

Казанцев долго сидел так с закрытыми глазами, не двигаясь, и со стороны казалось, что он спит. Потом, стряхнув наваждение, он открыл глаза, оглядел купе все с теми же попутчиками. Мещанин в картузе дремал, сильно откинув голову, отчего борода у него торчала горизонтально. Священник положил на колени свой маленький чемодан, разостлал на нем чистую салфетку, разложил нехитрую снедь и не торопясь закусывал. Увидев, что Казанцев смотрит в его сторону, он вежливо предложил:

— Не соблаговолите ли откупить за компанию? Чем богаты, так сказать...

Он явно стеснялся скучности своего угощения, но предлагал от чистого сердца.

Казанцев отказался и, чтобы не смущать батюшку, снова стал смотреть в окно, где сгущались ранние осенние сумерки. Лесная сторона кончилась, и пустынные, желтые поля уныло стыли в сизом полумраке.

И вдруг Казанцева резанула одна мысль. Даже не мысль — одно слово, название: Астапово!

«Наш собственный корреспондент сообщает из Астапова»...

Да, так начинался репортаж в газете. Но ведь это как раз та станция, где живет дядя Петр Степанович, та самая! Возможно ли? Вот счастье!

...Какое счастье? Великий человек умирает, а тебе — счастье? Да, но он все равно должен умереть где-то, ведь он так стар, так болен. А он умирает на станции Астапово, где я схожу, и я его непременно увижу...

Казанцев не сомневался, что Толстого увидит. Он сразу проникся такой уверенностью, что даже не задумывался, как именно это произойдет.

2

В Астапово поезд пришел в десятом часу вечера. С Казанцевым вещей было порядочно: большая плетеная корзина, перевязанная крест-накрест веревкой, материнский портплед, видавший виды, но еще годный к употреблению, и предметы, необходимые для занятий живописью, — подрамники, папка, колчан (так про себя Казанцев называл сшитый материю продолговатый брезентовый мешочек, в котором держал кисти).

Очутившись один на еле освещенном перроне, Казанцев некоторое время оглядывался в надежде увидеть носильщика, но тщетно. Носильщиков на станции Астапово или вообще не было, или они уже разошлись по домам, закончив трудовой день.

Казанцев продолжал растерянно стоять около своих вещей, когда к нему подошел тощий мужичонка в картузе с полуоторванным козырьком и в невыносимо пахну-

щих дегтем сапогах с осевшими голенищами, свободно болтавшимися вокруг тонких, кривых ног.

— С приездом, барин! Куда отвезти прикажете?

— В железнодорожный поселок мне, — ответил обрадованный Казанцев, отводя в то же время лицо от дышавшего на него перегаром извозчика. — Дом Казанцева знаешь?

— Петра Степаныча? — тоже словно обрадовавшись, отозвался мужик. — Как же, знаем-с... Человек известный! Садитесь, мигом свезу...

— А сколько возьмешь? — предусмотрительно поинтересовался Казанцев.

— Много не спрошу, — успокоил извозчик. — Два пятиалтынных детишкам на пропитанье...

— Креста на тебе нету! — возмутился Казанцев. — Да за тридцать копеек у нас в Брянске весь город объехать можно!

— Так то — в Брянске! — назидательно и чуть насмешливо протянул извозчик. — А у нас тут свои порядки, мы — орловская. Нам Брянск — не указ.

— Двугривенный хочешь — бери, больше не дам! — рассердился Казанцев.

— И, сударь, зря серчать изволите... — пьяно заулыбался извозчик. — Ишь ночь уже. А поселок неблизко. Я уеду — до утра на дворе куковать будешь. Я один здесь с бричкой. Садись уж, за четвертак довезу до Петра Степаныча, што ли...

Мужик был прав. Если он уедет, вряд ли до утра представится другая оказия, и потому Казанцев согласился.

— Возьми корзину и вот это, — он указал на материнский портплед, — остальное сам понесу.

Когда Казанцев постучал у двери дома дяди, тот как раз сидел за ужином, вернувшись с объезда своего участка.

Петр Степаныч сильно промерз на открытой дрезине и теперь, хотя час был поздний, пропустив пару рюмок водки и закусив маринованными груздями, поглощал горячий борщ с плавающими в нем кусочками по-украински зажаренного сала.

Услышав стук в дверь, он обернулся к сыну, тут же за обеденным столом готовившему уроки:

— Поди, Володя, погляди, кто там в дверь ломится.
У него была привычка в разговоре гиперболизировать жизненные обстоятельства и явления.

Сын — четырнадцатилетний мальчик, худой, бледный и нервный, с внимательным и живым взглядом черных глаз, совершенно непохожий на всю казанцевскую породу, — молча встал и вышел в сени.

Через минуту он вернулся и, прикрыв за собой тяжелую, уже обитую снаружи кошмой дверь, сказал заинтересованно:

— Папа, там твой племянник приехал!

Чувствовалось, что мальчик взволнован и полон любопытства: для него неожиданное появление никогда прежде не виданного двоюродного брата было событием.

Петр Степанович, поднявший ложку с борщом, задержал ее движение, не опуская, однако, обратно в тарелку. Так, с открытым ртом, сосредоточенно глядя в скатерть перед собой, он просидел несколько секунд, пока сознание его не начало переключаться от наслаждения пищей к смыслу услышанных слов. Как только это произошло, он опустил ложку в борщ, вытер салфеткой пышные русые усы и рот и лишь тогда заговорил:

— Племянник, говоришь? Вася, что ль? — Вопрос был праздный, поскольку других племянников у Петра Степановича не было, и задал он его лишь потому, что еще не полностью осознал вновь возникшее обстоятельство и не придумал, как ответить сыну.

— Да, он Василием себя назвал, — кивнул Володя, продолжая с интересом смотреть на отца. — А фамилия — наша.

— Ну, а как же? Конечно, наша! — согласно закивал отец. — Да проси же, проси его. Что ж он там стоит-то целый час?

У Петра Степановича заработали наконец присущие его характеру импульсы. Человек этот был добродушный и гостеприимный, и потому, дождавшись появления в проеме двери невысокого рыжеватого молодого мужчины с круглой, коротко остриженной головой и молочно-голубыми глазами, в узком черном пальто с изрядно потертым плюшевым воротником, Петр Степанович заговорил оживленно и приветливо:

— Вася, никак? А ну-ка покажись, какой ты есть из себя! Я ведь тебя, почитай, лет пятнадцать не видел! Да проходи же, проходи, что это ты на пороге-то застрял? И кламишь скидывай, не в ней же за стол сядешь? Володя, — обернулся он к сыну и, неожиданно меняя простецкий тон на вполне интеллигентный, распорядился: — Помоги-ка кузену раздеться.

Василий, старавшийся улыбкой, которая, впрочем, получилась у него натянутой, скрыть напряжение первых минут, по мере того как дядя говорил, чувствовал себя все менее скованным: его появлению здесь рады. Это видно было не только по отношению Петра Степановича, но и по тому, как охотно бросился выполнять приказ отца подросток.

— Ты проездом или специально к нам приехал? — продолжал между тем Петр Степанович, улыбкой и растущими интонациями показывая, что в любом случае племянник поступил правильно.

— Проездом я, Петр Степанович, — произнес свои первые слова Василий. — В Тамбов еду.

— В Тамбов? Что у тебя там, дело какое или так?.. — оживленно расспрашивал Петр Степанович. — Да ты садись. В ногах правды нет. Сюда, к столу... Вот, вот, поближе.

— Я совсем туда переезжаю, Петр Степанович. Работу интересную получил.

— Работу, говоришь? Что ж, это дело доброе. Без работы нельзя. А как матушка здравствует? Братья, сестры как? Поди, тоже уже повзрослели? Сколько им?

— Мама, слава богу, здорова, Петр Степанович, — выбрал Василий из целого града вопросов один, самый важный, и на него ответил.

— Что ж это ты меня все по батюшке-то величаешь, милый? Какой я тебе Степаныч? Я тебе дядя Петя, так и называй. Ведь я тебя вот такого помню, — Петр Степанович показал рукой на четверть аршина от полу.

Василий промолчал. Он и сам был того мнения, что дядю так и следует называть: дядя. Но очень уж не вязалось несолидное, какое-то мальчишеское сокращение «Петя» с этим дородным, пожилым человеком, в

ведении которого находился целый участок железной дороги.

Тут вошла жена дяди — Марья Даниловна, смуглая, немного сутулая женщина с такими же черными, внимательными глазами, как у сына. Поставив на стол исторгающую пар миску с тушеною говядиной и картофелем, она вытерла руки о передник и приветливо, хотя и сдержанно, поздоровалась с племянником мужа, которого видела впервые.

За ужином разговор стал общим и проходил очень непринужденно. Василий совсем освоился и про себя решил, что поживет у дяди с неделю. В том, что против этого никто ничего иметь не будет, теперь сомнений не оставалось.

— А у нас дела-то какие, слыхал? Граф Толстой сюда пожаловал... — вспомнил вдруг Петр Степанович, и выражение лица его из благодушного сразу стало озабоченным. — У Ивана Ивановича расположился, у Озолина. Через два дома от нас. Болеет...

Василий вздрогнул и удивился сам себе: как мог он забыть?

— Да, я читал в газете, — кивнул Василий, — здесь она у меня. Ну что, как он сегодня?

— Да, действительно, как он сегодня? — обратился к жене и сыну Петр Степанович, а потом, обернувшись к племяннику, пояснил: — Я сам только что с линии. Целый день дома не был.

— Плохо, — коротко произнесла, словно выдохнула, Марья Даниловна. — Ослаб сильно.

— Но температура сегодня ниже, — вставил со знанием видом Володя. Ему хотелось перед великовозрастным кузеном показать свою осведомленность.

— Вот это и плохо, что температура упала, — авторитетно отозвался Петр Степанович. — Самочувствие плохое, а температура понизилась. Значит, слабеет организм. Меньше сопротивления болезни оказывает.

Василий в медицине разбирался мало, и ему трудно было судить, насколько обоснованно подобное мнение, но рассуждения Петра Степановича казались достаточно убедительными, да и тон репортажа в газете, который он читал несколько часов тому назад в поезде, был пессимистичный.

— Неужто умрет? — спросил он без обиняков.

При этих словах подросток вздрогнул, а Петр Степанович в раздумье тронул пышный ус и покачал головой:

— Бог милостив... Может, еще обойдется.

У Василия на языке стоял вопрос, но он не решался высказать его вслух. Великий человек умирает, а тут он со своим любопытством: «А вы видели его? А нельзя ли хоть в окошко, хоть не входя в дом посмотреть на него?»

Василий задумался. В вагоне все казалось просто: вот сойду в Астапове, остановлюсь у дяди и повидаю Толстого. Как не повидать? Поселок небольшой, все друг друга знают, а дядя и хозяин дома, где находится Толстой, к тому же сослуживцы. (Интересно, кто из них кому начальник?) Ясно, что увижу.

А на месте выходит, что совсем это непросто. Ну как скажешь Петру Степановичу: «Дядя, я хочу увидеть Толстого!» Дико! Ну еще если б он так просто жил у этого начальника станции, погостить приехал... Можно было бы узнать, когда гуляет, какой у него распорядок дня, в какую сторону ходит, и попасться ему навстречу. А то ведь лежит на смертном одре. Разве можно беспокоить, не его, конечно, — об этом и речи быть не может, — но даже его близких?

Петр Степанович, продолжавший разговаривать, заметил, что племянник не слушает, но истолковал это по-своему:

— Ну, Василий, нам пора спать. — Он положил руки на стол, как бы подводя черту под сегодняшним вечером. — И ты устал с дороги, я полагаю. Надо отдохнуть как следует. Завтра баньку затопим, попаришься, новым человеком станешь. Да и мне подыматься чем свет.

3

Василий спал крепко и не слышал, как с утра хозяева разошлись по своим делам. Проснулся он в десятом часу и в столовой на столе нашел оставленный ему завтрак и записку Петра Степановича: «Ешь, отдыхай, погуляй по поселку. Мы обедаем в три часа. Да пригляди за

печкой: когда дрова прогорят хорошенко — закрой сперва поддувало, а потом выюшку».

Василию ничего не оставалось, как последовать советам дяди. Хорошо подкрепившись, выпив два стакана крепкого чая, он надел пальто, фуражку с кокардой и вышел на улицу. С крыльца он поглядел направо, потом налево. Глазам его представилась длинная унылая улица с бесконечным рядом однообразных, сложенных из грубо-тесанного желтого камня казенных домиков под красными крышами. Домики эти принадлежали железной дороге, в них жили ее служащие. Палисадников не было, только кое-где во дворах среди служб и хозяйственных пристроек виднелись деревья, давно уже обнаженные.

На немощеной улице тут и там поблескивали лужи, но их уже прихватило морозцем. Идти было не грязно, но скользко. Время от времени сочно хрустела под ногами ледовая корочка.

Василий направился в ту сторону, где, по его соображению, находился дом начальника станции. Узнать его было нетрудно, потому что перед ним, прямо на проезжей части улицы, небольшими кучками стояли люди. Василий наугад подошел к одной группе из двух мещан в картузах и поддевках, студента и пожилой, бедно, но с претензией одетой дамы, которая могла быть женой мелкого чиновника или разорившегося барина.

Мещанин постарше, с плоским лицом татарского типа, видимо хорошо знавший семью Озолиных, потому что уверенно называл всех ее членов по именам, говорил:

— Третьего дни у них четырнадцать человек ночевали... Какой уж там покой? Всё из Москвы да из Ясной Поляны едут. А днем еще приехали двое господ, важные такие. Один — тоже писатель, сказывают. Я и говорю Иван Иванычу: что вам всем так жаться-то? Ведь ни охнуть, ни вздохнуть. Да и самому — графу это, значит, — такая теснота никак не полезительна... Ему чистый воздух нужен да тишина...

— Ну и что было сделано? — строго поинтересовалась пожилая дама с таким видом, будто она являлась лицом, ответственным за все, что происходило и произойдет в дальнейшем.

Но мещанин, словно и не слыша ее реплики, нето-

ропливо продолжал свою речь, обращаясь преимущественно к студенту, а теперь еще и к Василию.

— Переходите к нам, говорю, Иван Иваныч. Митькина комната пустая стоит, он только к святым вернеться. Мы же не чужие все-таки люди. Я ведь ихнего Леньку крестил... Кумовья... — пояснил словоохотливый мещанин, адресуясь уже прямо к Василию, в котором сразу определил, во-первых, приезжего и, во-вторых, внимательного слушателя.

— Ну, а как он сегодня? — нашел возможным задать, тревоживший его вопрос Василий.

— Вы про графа Льва Николаевича спрашиваете? — обернулась к нему дама, называя Толстого так, будто была с ним лично знакома.

— Ну, конечно! — даже удивился подобному вопросу Казанцев.

— Неважно. Врач говорит... — начала было дама, стараясь, чтоб слова ее звучали веско, но мещанин преубеждительно оборвал ее:

— Какое уж там неважно? Плохо! Не сегодня-завтра Богу душу отдаст. Совсем слаб... В чем только дух держится?

При этих словах второй мещанин — рябой, с редкими зубами, упрямо выпирающими из-за толстых губ, — быстро сдернул с головы картуз и мелко, часто закрептился, не то испуганный, не то опечаленный.

— Какого человека Россия теряет! — патетически воскликнула дама.

— Весь мир теряет, — покачав головой, добавил молчавший до сих пор студент и, сняв с носа, протер чистым отутюженным платком пенсне с золотым ободком. Студент был худощав, высок, немного сутулился, носил усы и небольшую, закругленную бородку. Чувствовалось, что ему хочется быть похожим на Чехова, и он действительно был похож.

Василий постоял еще немного, послушал, переходя от группы к группе, разговоры местных обывателей, узнав еще кое-какие подробности о том, кто приехал, кто не приехал и почему именно, и понял только одно, но главное: в нескольких шагах от него, вон там, за этим занавешенным кисейною занавескою окном, догорает великая жизнь, заканчивается целая эпоха. И тогда он

сказал себе, что, раз уж судьбе было угодно привести его сюда именно в эти часы,— он обязан запечатлеть Толстого на смертном одре. Это его долг перед человечеством. Никакая фотография не заменит портрета.

Весь этот день Казанцев провел в каком-то странном состоянии, бродя по улицам поселка и вновь возвращаясь к тому дому. Народу тут прибавилось, и он прислушивался к разговорам, ничего не понимая. Порою ему хотелось обдумать все, что происходит вокруг него и с ним самим, но это ему не удавалось.

Мысли путались, перебивали одна другую и все время возвращали к тому, что стало в эти часы его навязчивой идеей.

Уже под вечер, недалеко от церкви, он наткнулся на двоюродного брата.

— Это ты, Володя? — спросил он, непонятно чему удивившись. — Ты что здесь делаешь?

— Вас ищу. Меня мама послала. Обед давно готов. Пойдемте.

— Обед? — снова удивился Казанцев.

Он совсем забыл, что надо пообедать, забыл о своих родственниках, о том, куда едет и что здесь у него лишь временная остановка. И сейчас это напоминание о столь обыденном, хотя и необходимом деле вернуло его к обстоятельствам собственной жизни. Они показались ему такими мелкими, неинтересными, что он отринул их от себя, как отшвыривают ногой попавшуюся на пути ветвь.

Они стояли на почти пустынной улице, два близких по крови человека, но впервые познакомившиеся лишь накануне, молча смотрели друг другу в глаза, и Казанцев, неожиданно даже для самого себя, сказал:

— Хочу написать портрет Толстого!

И мальчик ответил так, словно то, о чем было сказано, — дело само собой разумеющееся:

— Обязательно надо!

— Ты так считаешь? — недоверчиво спросил Василий, даже немного раздосадованный тем, что двоюродный брат не удивился.

— Да. Я об этом все время думал.

— Ты думал? Когда?

— Вчера, сегодня. Все время...

— Но как это сделать? Ведь не разрешат...

— Не надо спрашивать.

Василий смущался:

— Но я же могу помешать, — там врачи, близкие. Да и не впустят меня в дом.

— Да.

— Ну так что же?

— Не сейчас... Потом...

Василий вздрогнул и в упор посмотрел на Володю. Тот не опустил взгляд. Они поняли друг друга, и на минуту им обоим стало не по себе, словно они злоумышляли против умирающего.

Василий почувствовал необходимость сказать вслух что-нибудь такое, что развеяло бы внезапно возникшую атмосферу заговора, отогнало бы неизвестно откуда взявшееся чувство вины.

— Ты считаешь, что состояние его критическое? — произнес он, вкладывая в интонации своего голоса как можно больше сочувствия и тревоги, которые действительно испытывал.

— Безнадежное,—коротко и грустно ответил Володя.

— Почему ты так думаешь?

— Это не я так думаю. Это врачи так думают. Те, которые его лечат. Леня Озолин — мы в одном классе учимся — слышал, как они между собой толковали. А дочь плакала...

— Плакала... — машинально повторил Василий не самое важное слово из тех, что услышал.

Василий и Володя уже не стояли. Они медленно шли вдоль пустынной улицы, безжизненно серой от расплывавшихся сумерек, по которой острый ноябрьский ветер гнал среди пыли обрывки каких-то бумаг и хлопал калиткой, висевшей на одной петле.

Дома тетка Марья Даниловна слегка пожурила Василия:

— Обед совсем простыл, а вы все гуляете. Идите мойте руки, а я борщ подогрею. Петр Степанович велел его не дожидаться: опять на линию вызвали. Вернется поздно.

Еще затемно Казанцева разбудил Володя. Василий, как обычно, спал крепко, и мальчику долго пришлось трясти его за плечо.

— Проснитесь, проснитесь! — слышал он над собой тревожный шепот, и спросонья ему почему-то показалось, что в доме пожар.

Он резко сел на постели.

— Что случилось? — спросил он, норовя снова закрыть глаза, из которых сон еще не улетучился.

— Толстой умер, — торжественно и строго, хотя и вполголоса, произнес Володя.

— Умер? — переспросил Василий так, словно в этом известии было для него что-то неожиданное. Теперь сна уже не было и в помине.—Откуда ты знаешь?

— Леня Озолин сказал. Сейчас к нам прибежал.

Василий, продолжая сидеть на постели, молчал, пытаясь охватить смысл услышанного. Толстой умер... Толстого нет. Непостижимо! Мы все остались, а Толстого нет. Разве можно — без Толстого?

— Василий, вам нужно идти, — услышал Казанцев шепот Володи.

— Куда? — спросил он бездумно.

— Туда, — строго ответил мальчик.—Теперь—можно.

— Но как я попаду в дом? Меня же не пустят.

Вот приблизилась наконец эта страшная минута встречи с Толстым, но Казанцев не был в силах пошевелиться. Он старался убедить и Володю, и самого себя в том, что их замысел невыполним. И потому он добавил:

— Там полно родственников, близких. Меня не пропустят к нему.

— В дом вы пройдете. Леня вас проведет с заднего хода. Он вас дожидается.

— С заднего хода... — повторил Казанцев опять не самое важное слово, уцепившись мыслью именно за него. И почему-то оно, своей конкретностью, убедило его в осуществимости всего замысла в целом.

Уже больше не споря, не поддерживая разговора, Казанцев стал нервно и суетливо одеваться.

В передней на сундуке сидел мальчик, на вид чуть младше Володи — рыжеватый, веснушчатый, синеглазый.

Он встал, снял с головы гимназическую фуражку и вежливо сказал:

— Здравствуйте.

Казанцев молча поклонился в ответ и стал медленно надевать пальто. Одевшись, он двинулся к выходной двери.

— Подрамник не забудьте! — напомнил ему Володя и протянул ящик.

— Ах нет, — спохватился Казанцев, — мне папка нужна, я карандашом, карандашом...

— Сейчас принесу, — опередил Володя двинувшегося было к отведенной ему комнате Казанцева, словно боясь, что тот, если вернется, больше не выйдет.

Леня Озолин повел Казанцева задами. Было около семи утра, но в темно-фиолетовом по-ночному небе еще отчетливо, хотя и неярко стояли звезды, будто множество глаз напряженно и пристально вглядывалось в то, что происходит на земле. И это молчаливое присутствие неисчислимых светил создавало в душе ощущение сопричастности к вечности и одновременно сознание собственной бренности и бессилия.

Нет, не бессилия... Не надо так думать.

Василий старался заглянуть себе в душу. Там, в ее непроницаемых глубинах, таится пребывавшая до сих пор в нерушимом покое сокровенная сила, не сказавшая еще своего слова, таинственный, нерукотворный инструмент, из которого должен исторгнуться волшебный звук. И звук этот дойдет до каждого сердца и в каждом сердце найдет отклик.

Ну, а если там нет ничего? И глубины нет никакой, и обычный мрак, окутывающий всякую человеческую душу, скрывает не глубину, а пустоту, способную лишь на молчание?

Тогда и не надо ничего — ни этих карандашей, ни кистей. Да и самой жизни тоже не надо...

Казанцев остановился и снова посмотрел на небо. Оно все так же глядело на него золотыми точками своих бесчисленных звезд и молчало, и не было в этом молчании ни ответа, ни призыва.

Казанцев вдруг почувствовал себя невыразимо одиноким, словно и дом, и земля, и люди — все, что со-

ставляло видимый и привычный мир, — все разом исчезло или даже никогда не существовало прежде, и во всей вселенной остался только он один, и себе самому должен был дать ответ на главный, на единственный вопрос. Себе самому и вот этому бесстрастному, вечному, все-видящему небу.

— Что же вы стоите? — услышал он тихий и недоуменный вопрос мальчика. Казанцев вздрогнул.

Да, это жизнь напоминает ему о том, что он существует, это она приказывает ему продолжать свой путь, идти дальше, вперед, без колебаний, без остановок, все вперед, навстречу судьбе, которую знать ему не дано, но которая уже предопределена там, откуда доходит до него пристальное свечение этих золотых точек.

И Казанцев двинулся за мальчиком.

Они вышли через маленькую калитку, пересекли грядки чьего-то картофеля, потом заваленный железным ломом пустырь («Не споткнитесь. Здесь надо идти осторожно!» — предупредил Леня) и, пройдя другую калитку, оказались во дворе дома Озолиных.

Ярко светилось незашторенное окно. В нем мелькала женская фигура, и Казанцев понял, что это кухня.

Леня уверенным шагом пересек двор и, взявшись за ручку двери, обернулся, словно желая убедиться, что его спутник следует за ним. Они оказались в темных сенях, где пахло квашеной капустой, мышами и застоявшейся сухой пылью. Оттуда другая дверь вывела их в маленький теплый коридор, из которого они попали в узкую, длинную комнату с тремя железными кроватями вдоль правой и левой стены, похожую на больничную палату. Постельное белье и подушки были примяты — на них сегодня ночью спали, но сейчас кровати стояли пустые. На стене прямо над крохотным письменным столом висело Распятие: Озолины были латыши, католики.

— Садитесь, — шепотом сказал Леня. — Это комната моя и братьев. Я сейчас вернусь.

Испытывая большое напряжение, Казанцев уселся на единственный стул. Ему хотелось осмыслить свое положение, которое моментами казалось фантастическим. Подумать только: он находится под одной крышей с Толстым!

Где-то здесь, вот за этой стеной, может быть, в со-

седней комнате, может быть, через одну, всего час назад перестало биться всю долгую жизнь страдавшее в поисках правды, великое сердце, перестал мыслить понимавший больше всех современников, но так и не понявший главного ум.

В доме угадывалось присутствие людей: слышались приглушенные голоса, шаги, женский плач, скрип половиц, какая-то возня за стеной и на кухне.

Леня не возвращался, и Казанцев волновался все сильнее, чувствуя себя в этом полном людей доме заброшенным и одиноким. Кровь то приливалась к голове, и тогда на висках начинали судорожно пульсировать вены, то отливала так внезапно, что его охватывала слабость и головокружение.

Вдруг дверь резко отворилась — и в проеме показались двое мужчин.

Первый из них, уже немолодой, худощавый, лысеющий, в черной пиджачной паре и с пенсне, свисающим на ленточке, продолжал начатый разговор и, ступив через порог, обернулся к следовавшему за ним более молодому, небрежно одетому человеку со словами:

— Воля ваша, Сергей Львович, а только я...

В это мгновение он увидел сидевшего у стола Казанцева, слегка нахмурил свои очень подвижные темные брови и с размаху остановился, так резко, что следовавший сзади наткнулся на него.

— Вы кто? — спросил он, с недоумением глядя на Казанцева.

— Я — художник, — ответил тот.

— Как вы сюда попали?

Худощавий господин говорил с легким, но явственным акцентом.

— Я — знакомый Озолина, — ответил Казанцев, не вдаваясь в подробности.

— Вот видите, — обернулся худощавый к своему спутнику, и видно было, что он получил новый аргумент в началом еще за пределами этой комнаты споре. — Полнейший хаос! — И, снова обращаясь к Казанцеву, заговорил строго и важно. — Сударь, нам сейчас не до вас! Вы должны нас понять. Лев Николаевич час тому назад скончался...

Тут голос его, звучавший властно и уверенно, вдруг

пресекся, и он замолчал, стараясь совладать со своими чувствами.

— Я бы хотел... — неуверенно начал Казанцев, но тоже не смог продолжать, — спазма ската ему горло.

Более молодой из вошедших, со спутанными русыми волосами и красными веками — от бессонной ночи или от слез, — посмотрел на Казанцева с интересом.

— Вы говорите, вы — художник? — спросил он и на несколько мгновений задумался, забыв о собственном вопросе и не замечая утвердительного кивка Казанцева. Потом, стряхнув оцепенение, он повернулся к старшему. — А что, Душан Петрович, ведь это кстати... Как вы считаете?

Худощавый господин, которого кольнуло неуместное в такой момент слово «кстати», поднял свои густые, короткие брови, отчего на лбу у него образовались глубокие горизонтальные складки, и потом сразу же опустил их, сдвинув близко к переносице:

— Полноте, Сергей Львович, разве до этого сейчас нам?

— Нам — нет. Но ведь существует еще общество, Россия.. Они имеют право...

Казанцев, слушая их, понимал, что решается его судьба. Более молодой, в котором он угадывал одного из сыновей Толстого, был явно склонен разрешить.

Казанцев встал и, глядя снизу вверх на того, кого называли столь странным, нерусским именем, сказал:

— Мне всего час нужен, не больше. Я сделаю карандашный портрет.

— Да, да, карандашный, конечно, — повторил Сергей Львович, и чувствовалось, что он все еще в нерешительности и хочет, чтобы более определенно высказался другой.

Сейчас они все трое стояли в узком пространстве между кроватями, и двое младших ждали, что скажет старший. А тот молчал, глядя между ними в какую-то точку, и видно было, что в эти мгновения он не в силах ни отстаивать собственное мнение, ни оспаривать чужое.

Так и не сказав больше ни слова, он вдруг повернулся и вышел из комнаты, сделав жест рукой, как бы го-

воривший: «Делайте что хотите, только не заставляйте сейчас меня думать о том, о чем думать я не в состоянии!».

5

Около девяти часов утра Казанцев вышел из дома Озолина. На улице стояла толпа, которая все увеличивалась: весть о смерти Толстого успела уже облететь поселок.

Было неестественно тихо. Все или молчали, или говорили пониженными голосами и только самое необходимое. Не замечая никого, прижав к себе заветную папку, Казанцев протискивался в сторону дома дяди. Ему нужно было побывать одному, прийти в себя, собраться с мыслями.

Рисовать спокойно ему не дали, хотя почти все, находившиеся у тела покойного, отнеслись к его работе уважительно и с пониманием. В комнату беспрерывно кто-то входил, что-то делал, кто-то с кем-то шептался, кто-то тихо плакал, кто-то молился.

Казанцев умел сосредоточиться на работе, но все же беспрерывное движение за спиной не давало погрузиться в то состояние, когда все внешнее и ненужное перестает существовать.

Работа уже подходила к концу, и, хотя становилось ясным, что портрет удался, Казанцева начали одолевать сомнения.

Да, рисунок удачный, но разве это все? Разве это то, к чему звало его безмолвное небо, то, чем он обязан человечеству, наконец судьбе, приведшей его — единственного из всех — в такой час в это захолустье, ставшее на мгновение центром земли?

В комнате в эти минуты как раз никого не было, только он, Василий Казанцев, и тот, кто недвижимо лежал на узкой железной кровати, еще теплый, но уже бесконечно далекий и невозвратимый.

Безотчетный страх вдруг обуял Казанцева. Ему представилось, что эти глаза сейчас откроются и взглянут на него с только им присущей силой проникновения, жестоко требуя правдивого ответа на все вопросы, в поисках решения которых прошла эта великая жизнь. Чего тогда будет стоить его рисунок?

И Казанцев понял, что в портрете нет и не могло быть ответа ни на один из тех вопросов.

Он отложил карандаш, закрыл лицо ладонями и сидел так некоторое время, стараясь унять сомнения, переходившие в отчаяние.

Кто-то вошел и стал шуршать у него за спиной, и эта почтительно-вкрадчивая возня вывела Казанцева из того состояния, которое, продлись оно дольше, могло побудить его уничтожить портрет.

Он снова почувствовал себя просто человеком, он ощутил тяжесть собственного тела, ритм своего дыхания и сердцебиения, к нему вернулась способность воспринимать краски, линии, звуки.

И тогда привычным, земным взглядом посмотрев на рисунок, он понял, что портрет все-таки хорош, что он удался... Удался потому, что те глаза не открылись и уже больше никогда не откроются. Но об этом знал только он один на всем свете, и тайна эта никогда никому открыта не будет.

И, успокоившись, он продолжал работу.

Закончив, он молча протянул рисунок первому, кто попал в поле его зрения. Это оказалась женщина лет сорока, с пышной прической, в туго облегающем платье, которых уже давно не носили.

Она исподлобья уставилась на портрет, с минуту внимательно смотрела и, кивнув, бросила равнодушно:

— Сходство есть.

Пожилой невысокий господин заглянул через ее плечо, помолчал и потом взял рисунок в руку, отведя его подальше от глаз. Он несколько раз наклонял голову то в одну, то в другую сторону и потом, возвращая портрет Казанцеву, одобрительно проговорил:

— Характер схвачен.

Но ни он, ни женщина не спросили Казанцева, что он собирается делать с портретом, как хочет им распорядиться.

Казанцев, как и тогда в вагоне, ничуть не обиделся: он мало интересовался чужим мнением. Спокойно приняв из рук пожилого господина свой рисунок, он бережно переложил его двумя чистыми листами бумаги и убрал в папку. Ему и сейчас было не важно мнение

других — он сам знал, что портрет хорош. И дело не в том, считал Казанцев, что удалось схватить сходство. Это мог бы сделать любой грамотный художник. Главное заключалось в том, что в этом беглом портрете, почти наброске, нашли свое выражение изначальные антитезы бытия: бренность и вечность. Бренность безжизненного, высохшего, беспомощного тела и вечность в строгом спокойствии черт, в непостижимой для живых мысли, запечатлевшейся на этом неподвижном лице, словно глаза, закрытые голубоватыми веками, увидели наконец то, что они так тщетно пытались разглядеть в течение всех восьмидесяти лет земной жизни. И этого другой художник сделать бы не мог, это мог выразить только он, Василий Казанцев, и тем хуже для тех, кто не понимает.

...Его тронули сзади за руку. Казанцев обернулся. Перед ним стоял улыбающийся молодой человек в котелке и сером, в крупную клетку, и коротком, по тогдашней моде, пальто с накладными карманами.

— Господин Казанцев? — вопросительно и очень оживленно, как со старым знакомым, встреча с которым и неожиданна и радостна, заговорил молодой человек.— Я ведь не ошибся?

— Да, я Казанцев. Художник Казанцев, — ответил Василий с легким недоумением.

— Вот именно, художник Казанцев, — согласно зашивал молодой человек. — Разрешите представиться: Борис Александрович Разинский. Собственный корреспондент газеты «Голос Москвы».

Молодой человек с грациозной учтивостью протянул Казанцеву визитную карточку на добротной полотняной бумаге, на которой Василий прочел то же самое, что только что услышал. Не зная, что делать с визитной карточкой, он сунул ее в карман пальто и молча ждал, что будет дальше.

— Разрешите приступить сразу к делу, — продолжал между тем молодой человек тем же тоном. — Вы не были бы столь любезны показать мне портрет, только что сделанный вами с покойного графа Толстого?

Казанцева не удивила осведомленность журналиста, он вообще редко удивлялся. И потому следующая ти-

рада Разинского, в которой тот как близких людей упоминал по имени и отчеству детей Толстого и лиц из его окружения, стараясь создать видимость, что он с ними со всеми на короткой ноге, не произвела на Казанцева дополнительного впечатления, тем более, что все эти имена и отчества мало что говорили Василию. Он их просто не знал.

— Показать портрет?.. — повторил Казанцев не потому, что сомневался, стоит ли это делать, а потому, что, оторванный от хода собственных мыслей, не сразу понял, чего от него хочет этот настойчиво любезный молодой человек.

— Да, я хотел бы посмотреть. У меня есть для вас интересное предложение....

— На улице это неудобно. Вот и ветер поднялся, — ответил Казанцев, пропустив мимо ушей последние слова журналиста. Поколебавшись немножко, он добавил: — Пойдемте ко мне. Это здесь неподалеку.

Разинский так охотно и так знающе закивал, что можно было подумать, будто он и не мыслил себе иного результата своего обращения.

Разинский неплохо разбирался в изобразительном искусстве и с первого взгляда на рисунок понял, что это не шедевр. Но сходство несомненно было большое, характерное выражение, сохранившееся даже после смерти, художнику передать удалось. Разинский решил, что для газеты рисунок годится и потому надо действовать без промедления. Он располагал выданной ему под отчет в редакции суммой в двести пятьдесят рублей, но решил, что этого слишком много для безвестного и не очень талантливого художника. Сто рублей можно оставить себе. Поэтому он предложил за рисунок сто пятьдесят рублей.

Названная сумма не произвела на Казанцева никакого впечатления не только из-за своей мизерности, — просто он еще не был готов к тому, что портрет Толстого сулит ему материальные выгоды.

Не ответив, Казанцев невозмутимо переложил портрет чистыми листами бумаги и уложил обратно в папку. Разинский понял, что совершил ошибку, и, пытаясь ее исправить, заговорил смущенно, что не часто с ним случалось:

— Я срочно снесусь с редакцией и, возможно, сумею предложить вам более крупную сумму. Не смогли бы вы подождать до вечера?

Казанцеву уже надоел этот назойливый и развязный субъект, к тому же дурно воспитанный: он не удосужился снять котелок, когда вошел в столовую, и уселся за стол без приглашения. И потому Василий, холодно глядя мимо него, ответил, слегка покачав головой:

— Я не собираюсь продавать портрет.

И он встал.

Подняться пришлось и Разинскому, но со свойственной людям его склада настойчивостью он не собирался сдаваться окончательно. Вкрадчивым тоном, в котором, однако, слышались теперь нотки неуверенности, он проговорил:

— Если разрешите, я все же загляну вечером. Может быть, условия, вам предложенные, будут таковы, что вы найдете возможным пересмотреть свое решение.

Казанцев пожал плечами с выражением лица, которое при желании можно было истолковать и как пропущение, и как разрешение.

Но вечером, когда вся семья сидела за чаем и с интересом слушала обычно несловоохотливого, но тут разговорившегося Василия о том, как он попал в дом Озолиных, как разговаривал с доктором Маковецким (личность густобрового господина установил всезнающий, как все развитые подростки, Володя), как рисовал портрет и все прочее, вдруг принесли срочную телеграмму, в которой за подписью главного редактора газеты «Русское слово» Василию делалось предложение продать портрет за тысячу рублей. Это уже были не шутки.

— Ну, Вася, ты, кажется, поймал Синюю Птицу, — радостно-взволнованно проговорил Петр Степанович, кладя на стол свои большие жилистые руки и откидываясь с довольным видом к спинке стула. — Смотри же — держать ее надо крепко! Не выпусти ненароком.

Заволновался Володя, никогда не державший в руках больше полтинника. Ему сумма, указанная в телеграмме, казалась совершенно сказочной. Не осталась равнодушной и Марья Даниловна. Спокойным был только сам Василий, виновник этой сенсации.

— «Русскому слову» я портрет продам, — ответил он не дяде, а на собственные мысли, и стало ясно, что дело для него не в том, сколько ему предложат, а в том — кто является покупателем.

При этих словах Петр Степанович внимательно и оценивающе взглянул на племянника и подумал: «А ведь он далеко пойдет, этот тихоня!»

Но события дня еще не были исчерпаны. В одиннадцатом часу, когда Петр Степанович уже собирался дать команду ко сну, в дверь постучали — и минуты через две в сопровождении Володи в комнату вошел господин лет сорока, строго-элегантный, с внимательными синими глазами и блестящей, ото лба к затылку убегающей лысиной.

Он остановился у дверей, сделал общий поклон и, признав в Петре Степановиче хозяина, обратился к нему, чуть склонив голову:

— Приношу тысячу извинений за неожиданное вторжение в столь неурочный час, но к тому меня вынуждает известное печальное обстоятельство, свидетелями которого мы являемся. Я третьего дня прибыл из Москвы. Позвольте представиться: Звягинцев Артемий Феоктистович, заведующий отделом внутренней жизни газеты «Русское слово».

Изысканная, несколько старомодная речь гостя, его безупречные манеры и важный пост в одной из крупнейших газет страны произвели впечатление. Петр Степанович быстро встал и широким, радушным жестом, хотя и смущаясь, указал на стул:

— Весьма польщен знакомством! Садитесь, прошу вас. Чем обязан...

— Причиной столь позднего моего визита является желание переговорить с вашим племянником... если не ошибаюсь? — заговорил Звягинцев, с приятной улыбкой сглядываясь на Василия. Петр Степанович кивнул. — По долу, порученному мне редакцией. Вы получили наше депешу? — обратился Звягинцев теперь уже к Василию.

— Да, — односложно ответил тот.

— Я надеюсь, вас удовлетворяют наши условия? Вы согласны продать нам ваш рисунок? Я имею в виду портрет графа Толстого на смертном одре.

— Согласен, — спокойно и с достоинством ответил Василий.

— Вот и отлично! — сдержанно улыбнулся Звягинцев. — Тогда разрешите вручить вам обусловленную сумму и получить портрет. Я нынче еду в Москву курьерским. Он проходит здесь через сорок минут.

Петр Степанович взглянул на большие настенные часы с маятником и уточнил:

— Через тридцать семь!

— Тем более.

С этими словами Звягинцев вынул из внутреннего кармана заранее приготовленную пачку банкнот, перевязанных бечевкой.

— Здесь ровно тысяча рублей. Извольте пересчитать.

Наконец-то пробрало и Василия. Он растерянно и даже как бы с натугой выговорил:

— Но ведь вы не видели этого портрета. Может быть, он вам не понравится?

— Я вполне доверяю суждению Владимира Николаевича Философова, которому вы показывали портрет сразу по завершении. Да и Сергей Львович, с которым имею честь состоять в приятельских отношениях, отзывался весьма лестно. Для нас этих двух мнений вполне достаточно.

Через пять минут Звягинцев, все так же учтиво откланяввшись и повторив свои извинения за неожиданный визит, удалился, бережно унося в отданной ему Василием папке портрет Льва Толстого на смертном одре.

6

Этот день перевернул все в жизни Василия Казанцева.

Рисунок был помещен в газете одновременно с отчетом о перенесении праха великого писателя в Ясную Поляну. В том же номере была дана небольшая заметка об авторе портрета, в которой Казанцева называли талантливым молодым художником.

Но еще до этого он получил оплаченный авансом заказ от другой большой газеты — сделать зарисовку выноса тела из дома Озолиных.

Известность пришла к Казанцеву в течение нескольких часов, причем известность всероссийская. О Тамбове он и думать забыл...

На следующий день после перенесения праха Толстого Казанцев выехал в Москву, откуда получил несколько предложений прибыть для личных переговоров. К этому моменту от заработанных денег у него осталась лишь половина, потому что он перевел пятьсот рублей матери в Брянск, вернул подъемные Трубникову и подарил двоюродному брату Володе пятьдесят.

В Москве его встретили с распластертыми объятиями. Ему делали заказы, у него брали интервью, рисунки его помещали крупные газеты и журналы. Когда он появлялся в редакциях или в каком-нибудь общественном месте, он слышал за спиной почтительный шепот: «Казанцев... Тот самый...» Невозмутимый внешне, углубленный в собственные чувства, он, однако, отнюдь не оставался равнодушным к этому неожиданному и ошеломляющему успеху. Что-то сдвинулось в его сознании. Он оказался не готовым к тому бремени, которое возлагает на дух человека слава. Он утрачивал способность относиться критически к своей работе, трезво оценивать свои возможности. Одним словом, он уверовал в соответствие своих способностей своему успеху, как это часто случается с теми, к кому признание пришло быстро и незаслуженно.

Но сведущие люди, специалисты, очень скоро пришли к выводу, что у Казанцева никакого таланта нет. Да, тот рисунок был недурен, так бывает. Но все следующие его работы не представляли интереса и принимались лишь в силу инерции и заразительности успеха.

А Казанцев продолжал рисовать и писать красками, и его незыблемую уверенность в своем таланте, в неизуриядности создаваемых им полотен и рисунков не могло поколебать то обстоятельство, что все реже и реже его работы заинтересовывали редакторов и устроителей выставок, что все меньше из числа скоропспелых друзей и прихлебателей оставалось вокруг него. А настоящих друзей он приобрести не успел или не сумел.

Через год о нем уже мало кто помнил и забыли бы совсем, если бы он, обходя редакции газет и журналов,

сам не напоминал о себе. Он уже бедствовал, перебиваясь случайными заработками, но ему и в голову не приходило вернуться домой в Брянск и попытаться вновь получить место учителя рисования и черчения в гимназии или списаться с тем же Трубниковым в Тамбове и выяснить, нельзя ли сейчас заняться той работой, от которой год назад он так неосмотрительно отказался.

Никакие превратности судьбы, никакие унижения и удары по самолюбию оказались не в состоянии поколебать его уверенность в том, что он выдающийся художник, единственный, которому удалось зримо воплотить изначальную антитезу бытия: бренность и вечность. И когда, получив очередной холодный отказ, он уходил от еще одной двери, бесцеремонно захлопнутой перед его лицом, он жалел не себя, а того, кто отверг его новую работу, тем самым лишившись возможности соприкоснуться с истинным и глубоким искусством. Но он никогда не сердился на своих обидчиков, потому что злобы не было в его сердце.

Потом Казанцев исчез из Москвы. Никто не знал, куда он делся, да никто и не интересовался. Жизнь шла своим чередом, приближались эпохальные события: великая война, революция, крушение старого мира на пространстве одной шестой части суши.

Где был все эти годы, что делал Василий Казанцев, осталось неизвестным.

Он объявился в конце двадцатых годов в эмигрантском Харбине, и тоже никто из помнивших его по тем нескольким ослепительным месяцам не знал, почему он оказался здесь, на далекой зарубежной окраине рухнувшей империи.

Ему было теперь под пятьдесят, но выглядел он стариком. Помимо усов он носил козлиную седую бородку и со своими чуть раскосыми глазами и круглой головой стал похож на Рериха, но трудно предположить, что он это сознавал. Вернее всего, мысль о таком сходстве ему и в голову не приходила.

Жил он, по всей видимости, более чем скромно, но одет был всегда чисто и аккуратно в старомодные пиджачные пары, не лишенные, однако, своеобразной прелести на фоне модных тогда куцых пиджачков и широких, искажающих мужской силуэт брюк.

Летом он часто приходил в большой общественный сад — излюбленное место прогулок местных обывателей. Чаще всего он усаживался в стороне на не занятой больше никем скамейке и сидел там часами, с непонятно что выражавшей улыбкой наблюдая за шумными играми и беготней детей. Иногда он подсаживался к какой-нибудь старушке француженке или немке из породы тех гувернанток, что тогда уже перевелись в России, но еще доживали свои дни в русском Харбине, и вел с нею неторопливые разговоры, не пытаясь, однако, поражать скромное воображение собеседницы рассказами о своей былой славе.

И когда такая гувернантка, вернувшись домой с детьми, рассказывала за обедом или вечерним чаем о странном человеке в саду, глава семьи обычно сразу догадывался, о ком идет речь, и восклицал:

— Так ведь это, Амалия Францевна, был художник Казанцев. Тот самый, который...

И старушка удивлялась и ахала.

В Харбине Казанцева считали, и, может быть, не без основания, не вполне нормальным, но ненормального в нем было только то, что он продолжал считать себя выдающимся художником, между тем как рисовал все хуже и хуже. Во всем остальном он был вполне нормален, и те, кто состоял с ним в сравнительно близком знакомстве, уверяли, что он интересный собеседник.

Для Харбина он, несомненно, был достопримечательностью, и его, особенно в первые годы, старались поддерживать материально.

Нет-нет, то в одной, то в другой газете или журнале появлялись рисунки под заголовком «Новая работа художника В. Казанцева», в котором чувствовалось желание привлечь к нему внимание общественности. Но скромного гонорара, конечно, не могло хватить ему даже на то скучное существование, которое он вел. Поэтому состоятельные люди иногда заказывали ему портреты близких и оплачивали по возможности щедро. Но так как портреты эти чаще всего бывали неудачны (еще владея рисунком, писать прилично красками Казанцев никогда не умел), то заказов становилось все меньше и меньше.

Теперь он ходил со своей неизменной папкой под

мышкой, и когда видел кого-нибудь подходящего, в саду ли, в кафе, или еще где-нибудь, то доставал лист плотной бумаги и карандаш и принимался рисовать. И редко кто, заметив, что его рисуют, вставал и уходил. Но были и такие.

Большинство же терпеливо ждало, прикидывая в уме, сколько заплатить за ненужный и непохожий портрет. Ему теперь редко платили больше рубля.

Умер он так же тихо и незаметно, как жил всю жизнь, кроме тех фантасмагорических месяцев в Москве.

Никого не было на его похоронах, потому что никто не знал о них, и о том, что его не стало, прочли в газете, в которой кратко и сдержанно, но уважительно сообщалось, что на днях скончался и похоронен на таком-то кладбище «небезызвестный в прошлом художник Василий Казанцев, тот самый, который...» — и так далее.

И все-таки когда думаешь о нем, то понимаешь, что сама судьба его оказалась воплощением той изначальной антитезы бытия — бренности и вечности, которую, как он считал, ему удалось выразить в единственном своем значительном рисунке, оказавшемся и смыслом, и оправданием жизни художника Василия Казанцева.

СЕРЕБРИСТАЯ ЧЕШУЯ РЫБКИ

Тьма непроницаемая и душная, напряженная тишина, вспоротая шагами прохожего...

Шаги четкие, твердые, — с каблука на носок, с каблука на носок. Так ходят трезвые, уверенные в себе люди. Какое может быть дело в такой час?

Простучал, прополпал, унося неведомую заботу, вынутившую спешить куда-то глухой порою. Стук шагов удаляется, погружается в молчание ночи, тонет в нем.

И снова сплошная тишина, мягкая и вязкая, как тина.

Тихо так, что слышно, как ползет время, катятся, подталкивая одна другую, минуты. Кому случалось не спать много ночей подряд, тот знает, что это такое — звук

движения времени. Он — в мягких, настойчивых ударах сердца, таящих роковую угрозу, в пульсации крови в висках, во вдохах и выдохах, запас которых велик, но ежесекундно истощается.

Анна лежит с закрытыми глазами. Теперь уже не надо стараться уснуть. Скоро утро. Как всегда, оно начинается с окна, которое пропастиает смутным белесоватым пятном. Оно даже еще неразличимо зрением, оно только угадывается. Потом обозначается тусклое помутнение слева внизу. Это зеркало шкафа. Почему-то оно всегда заявляет о себе снизу.

Постепенно темнота выдыхается, становится прозрачной, как чернила, разбавленные водой. Мало-помалу выступает мир вещей. Теперь их видно всех. Они стоят молча, но живые, и с напряженным вниманием смотрят на нее, как бы ожидая услышать то, чего давно ждут. И ей кажется, что еще чуть-чуть, еще некий рубеж преодолеется, и все они стряхнут оцепенение, и она узнает главное, что не дано знать человеку. Ведь они находятся по ту сторону бытия. Ах, если б вещи могли говорить, если б можно было спросить у них...

Прошел кахетинский поезд. Его дробный звук доносится сверху, будто град стучит по крыше. Полотно железной дороги проложено высоко по склону горы, и днем, когда смотришь из сада, что неподалеку, создается впечатление, будто вагоны движутся прямо по крышам.

Уже бесспорное утро, но Анна не встает. Еще успеется, торопиться некуда.

Темнота сломлена окончательно. Она расползается по углам и стелется там, как дым, когда в трубу задувает ветер. Только она не пахнет. Впрочем, нет — пахнет. Затхлостью одиночества, холодом отрешенности, бессилием старости.

Если бы молодость знала, если бы старость могла...

Когда услышала она впервые эти слова? Их часто повторял Давид. Но произносил он их с беспечностью и неведением молодости.

Вот на пол легла серая полоса. Это еще не теплая желтизна солнечного луча. Это шершавая безликость предрассветных сумерек. Час вкрадчивый и лукавый, сущий неведомое, но не ответственный ни за что. Вероломный, зыбкий час надежд и тревоги.

С улицы ритмично доносится скребущий, царапающий звук. Асмат, курдянка, подметает улицу. Она всегда начинает раньше всех, чтобы успеть подмети два участка. У Асмат недавно умер муж, а на руках семья душ детей и старый свекор, который уже три года лежит и ждет смерти. А смерть ошиблась и забрала сына. Смерть тоже иногда ошибается.

...Не иногда, а довольно часто, слишком даже часто. Вон в доме наискосок в позапрошлом году хоронили русского мальчика. Ему не хотелось в детский лагерь, он ждал отца, чтобы вместе с ним поехать к морю. Отец-офицер уговаривал: «Нечего тебе петься в этой жаре! Лагерь военный, питание хорошее, порядок, спорт-городок. Вернешься через месяц, возьму отпуск, махнем в Сочи!» Мальчик согласился, поехал. А вернулся не через месяц — через день. Автобус перевернулся на крутой горной дороге. У гроба отец — небритый, с обвислыми щеками и мертвым взглядом, все повторял: «Вова, Вова, ведь это я послал тебя! Я сам!».

Вместе с думами об Асмат, о русском мальчике и его отце вползает и развертывается другой мир — мир людей. Фантасмагорический мир хрупких связей, ненадежных отношений, дутых величин, мнимых ценностей, слов, лишенных смысла, и дел, зыбких, как слова.

Вот уже зашевелились, взявшись за стеной, торопливо пробираются по улицам, фаршируют собою трамваи, автобусы, поезда. И воображают, что это реальность. И говорят и поступают так, будто верят в какой-то смысл своих действий и разговоров.

Но Анна знает, что это игра, очень искусная, а может быть, бессознательная игра, в которой каждый обманывает всех. И Анна ждет, без нетерпения или злорадства, а просто в силу необходимости, что вот минуту заданный срок, упадет последняя минута, и все рухнет и рассыплется в пыль и прах.

Она-то знает, что так бывает, и ее только удивляет, что другие этого не понимают.

Гигантская, неумолимая игра, запущенная неизвестно кем, неведомо для чего. И ей тоже приходится играть, хотя роль ее в этой игре незначительна. На другую она и не претендует. В этом ее преимущество, ее свобода.

. Улица уже звучит отдаленными звонками трамваев, голосами зеленщиков, молочников, продавцов керосина и земли для цветов. Да, теперь пора вставать, теперь уже началось вторжение дневных призраков в ночную реальность, и это вторжение не отразишь ничем. Его можно только переждать. Так в древности, укрывшись за стенами замка, в стороне от торных дорог, можно было переждать прохождение орды варваров.

Анна выходит из дома. Направо — пекарня, на параллельной улице овощная лавка, еще за квартал — гастроном. Надо обойти их все, надо отстоять в очередях, надо отсчитать деньги и получить сдачу, сложить все в сумку. Это — ее участие в игре, уклониться от него она не может. Игра охватывает всех.

— Сегодня довольно холодно... Да, да, вы совершенно правы, капуста никуда не годится, но не ехать же на базар — там в три раза дороже... Все копают и копают, когда это кончится — неизвестно. А город запущен, он никогда не был таким грязным... Ну, не скажите, я помню, во время войны... Как бы опять не началось. Вот вчера радио передавало... А у нас телевизор опять не работает. Два раза мастер приходил, возился, напачкал, деньги взял, а толку никакого... У нее дочка замуж вышла, сын в армии, — ему еще больше года служить, — вот она и сдает двум студентам... Чехословацкие туфли выдавали. Пока я за деньгами бегала — все разобрали. Одни маленькие размеры остались... И не говорит!.. Просто как в насмешку!..

Анна не спеша возвращается домой. В переулке довольно крутой подъем, преодолевать его становится все труднее. Навстречу, семеня короткими ножками, проносится живущий по соседству доктор. Никто не знает, где именно он работает, какая у него специальность, но на своей улице он лечит от всех болезней, лечит безотказно и безвозмездно. Поравнявшись, он размашисто снимает зеленую велюровую шляпу. Она у него до сих пор сохраняет свой девственный магазинный вид: поля не загнуты, тулья не примята. Он широко улыбается всем своим лоснящимся мясистым лицом с широким носом и короткими густыми бровями. Анна учтиво отдает поклон.

✓ Дома она аккуратно раскладывает продукты по при-
надлежности: хлеб в специальную корзинку, сыр на та-
релку, картофель оставляет в сумке на кухне.

Сейчас предстоит ответственное дело — уборка. Ве-
щь много, они очень старые и все уже много лет стоят
на своих местах. Ни один стул не переставлен, ни один
новый гвоздь не вбит. Все, как в тот день, ни малей-
ших изменений. Когда Давид вернется, он все найдет
таким, каким оставил. Этот последний взгляд, которым
он окинул комнату, прежде чем дверь закрылась за ним,
она поняла его. Он уносил с собой неистребимое воспо-
минание, и все эти тридцать лет он носит в сердце образ
их обители, такой, какая она запечатлелась ему под этим
последним взглядом. И все эти тридцать лет она посвя-
тила тому, чтобы не обмануть его ожидания. Только бы
вернулся...

Даже ремонта здесь не делалось все эти годы —
цвет стен сохранен. Может быть, он потускнел от време-
ни, тут уж ничего не поделаешь. Давид поймет, что нель-
зя было доверить равнодушным малярам воспроизвести
старый цвет. Только потолок белился несколько раз. Бе-
лый цвет не имеет оттенков.

Уборка комнаты — нелегкое дело. Комната большая,
теперь таких не строят. Теперь, говорят, комнаты похо-
жи на коридоры, коридоры — на щели. Три комнаты —
меньше одной этой. Сама Анна таких не видела, но Андро
говорит: «Мне бы, тетя Анико, вашу комнату. Я бы
из нее во какую квартиру сделал!» Хороший мальчик
Андро. Он, собственно, не племянник, да и не мальчик
уже. Он сын одного из близких друзей Давида. Отца уби-
ли на фронте, Анна их с матерью немного поддержала,
вот он и зовет ее тетей. Помнит добро. Хороший маль-
чик Андро, дай бог ему здоровья. Недавно женился, пе-
реехал в новую квартиру. Все зовет в гости, да никак не
вырвешься: нельзя надолго уходить из дома...

Да, война... У Андро убили отца, но хоть сам жив ос-
тался, матери на утешение. Годами не вышел — призыва-
ли только в сорок пятом. А мой Гоги на три года старше.
Как раз хватило, чтоб попасть под Керчь. Как гордилась
собой, когда почувствовала, что ждет ребенка, как радо-
валась, что в первый же год родила Давиду сына!

Анна вытирает пыль с комода. Точным, давно выверенным движением берет левой рукой портрет в массивной бронзовой раме. В правой—тряпка. Осторожно протирает стекло, смахивает пыль с причудливых извилин резной рамы и ставит портрет на место. Портрет мальчика с удивительно ясными, веселыми глазами. Гоги не был похож на Давида, и это составляло предмет огорчения Анны. Ей хотелось, чтобы первенец был в отца. Соседки утешали: «Ничего, милая, когда сын похож на мать — будет счастливым в жизни...»

Уборка продолжается. Неторопливая, размеренная работа, почти священнодействие. Вот хрустальная ваза. Ее купили в антикварном магазине. Там она понравилась, принесенная же домой, как-то сразу померкла. Помпезное великолепие обернулось претенциозностью, величественность линий — громоздкостью. В общем, покупка оказалась неудачной, на этом согласились оба. Поставили пока на комод, не найдя применения: для цветов слишком велика. В ее широком горле букеты распадаются. Потом о ней забыли, точнее — привыкли. Так и осталась она вековать на комоде. Уже давно Анна использует ее как хранилище всяких ненужных бумажек: квитанций, оплаченных счетов, забытых адресов, которые давно пора выбросить — только пыль от них,— да все как-то руки не доходят.

На столике у дверей телефон, который всегда безмолвствует. Ни к ней, ни от нее звонить некому. Сосед с третьего этажа, — человек со средствами, — предлагал: «Уступите мне. Я вас вознагражжу и хлопоты беру на себя». Бог с ним, с его вознаграждением. Чужих денег ей не надо. Есть пенсия, и спасибо. А телефон пусть стоит, он еще понадобится. Прежде звонили по нему изредка муж с женой из соседнего дома. Анна всегда радовалась, когда заходил кто-нибудь из них. Милая, симпатичная пара. Очень любят друг друга, это видно по всему. Жена — веселая, миловидная, еще молодая. Войдет с извинениями: «Я на минутку. Мне только маме позвонить. Она что-то нездорова», а увлечется и просидит час. Ее болтовню приятно слушать: никого она не ругает, ни на что не жалуется. В ней бьет неиссякаемый источник оптимизма. У них два мальчика, и младший не-

много напоминает Гоги в таком возрасте. Кстати, его тоже зовут Гоги.

Но еще радостнее, когда заходит муж, хотя случается это очень редко. Он вернулся оттуда и своей со-причастностью судьбе Давида дорог Анне, хотя не догадывается об этом. Он старше Давида, то есть он сейчас старше, чем был Давид тогда, и он далеко не так красив, это бесспорно, но есть в нем какая-то барственность, преодолевшая все. И в движениях его тяжелеющего тела, и в улыбке, когда он, уходя на работу, оборачивается на окна своей квартиры и машет рукой, и, особенно, в том, как он смотрит на молодых женщин, чувствуется неукротимое жизнелюбие. Он не сломлен. Вот это важно. Значит, можно вернуться оттуда, сохранив прежние черты характера, а может быть, и приумножив их. Он заходит действительно на минуту. Его даже не уговоришь сесть. Он учтив, почтителен, немножко словен. Лишь однажды удалось с ним разговориться, но бесплодно. «Нет, такого он не встречал!»

Эта семья... Они и не представляют, как много для нее они значат. Откуда им знать? Кого может интересовать одинокая, старая женщина, с которой иногда столкнешься в овощной лавке, иногда поздоровавшись на улице или из окна. Даже звонить по телефону теперь не приходят. Недавно проложили новый кабель, многим на улице поставили телефоны. Вероятно, им тоже.

Взгляд Анны останавливается на черном ветхом аппарате. Давид часто им пользовался. Как он был доволен, когда провели телефон, — тогда это было в диковинку. Но Давид был нужен: инженер редкой специальности, выдающийся знаток своего дела.

— Теперь, Анико, мы будем связаны с тобой все время. В любую минуту можно поговорить.

— Глупенький! Как будто мы от телефона зависим! Разве мы и так не связаны с тобой все время?

— Да, но я имею в виду материальную связь. Возможность слышать твой голос.

— Ну хорошо, хорошо, милый. Так звони же почще!

— Я буду звонить тебе каждый час!

Конечно, ему не удалось выполнить это намерение. Он бывал в разъездах, на совещаниях, в наркомате. Но все же телефон звонил часто. Были и родственники,

друзья, сослуживцы мужа, сослуживцы свои. Потом многих не стало, как и Давида. Некоторые умерли, разъехались, отошли. Других забыла она сама. Когда все время помнишь о главном — второстепенное забывается.

Окончательно замолк телефон вскоре после того, как пришла похоронная на Гоги. Тогда многие получили такую же. Керчь, Керчь — безвестный маленький город, кто мог предугадать, какой болью будет отзываться твое имя в сердцах грузинских матерей!

— Вы в этом твердо уверены?

Усталый, обросший человек, в военной шинели, с рукой в гипсе отвечает не сразу. Здоровой рукой он вертит стакан, наклоняет в одну сторону. Когда вино подходит к краю, он возвращает сосуду вертикальное положение и начинает наклонять в другую. Словно проверяет напиток на цвет, на густоту. Наконец отрывается взгляд от стакана. Его черные трагические глаза, глаза человека, побывавшего в ад^у и все время помнящего о нем, смотрят на Анну печально и внимательно.

— Да!

Слово звучит, как удар похоронного колокола, и долго еще звон его будет плыть иibriровать в комнате, где живыми остались только вещи.

— Где же это случилось?

Чей это голос? Неужели это я спрашиваю? Неужели я еще жива?

Существуешь. И будешь существовать еще долго, погрузившись в третий мир, отныне главный — тайный мир навязчивых и спасительных воспоминаний, вытекающий из отчаяния и втекающий в надежду. Надежда, как наркоз, будет приносить облегчение, но истощать тебя в одно и то же время.

«Освободившись от желаний, надежд и страха мы не знаем». Страха уже давно нет, но надежда осталась. Значит, сохранились еще желания? Не лги себе! Конечно, сохранились!

— У Керчи... Вернее, немного ближе...

Кто это? Ах, да! Это он. Вестник. Тот, в солдатской шинели, с перебитой рукой.

«Нет! Не согласна! Это уж слишком. А я как же?»

Гнев охватывает сердце Анны, редко поддающееся этому чувству. «Сперва похоронная, теперь этот... Очевидец. Не хочу! Оставьте мне что-нибудь! Я же одна. Один человек не может столько».

— Я вам не верю!

Человек с перебитой рукой смотрит снизу вверх на стоящую перед ним женщину. Он очень устал. Хорошо бы посидеть еще минут пять, но это невозможно. Он медленно, с натугой встает. Поднимает стакан с вином.

— Я пью за то, чтобы вы оказались правы, а я ошибся!

Пьет. Ставит стакан на стол. Находит ее руку и, низко склонившись, неумело целует. Молча надевает пыльную пилотку и уходит, не оборачиваясь, тяжелым солдатским шагом. Деревянные ступени старой лестницы глухо отдают его шаги.

Сколько же времени прошло? Час? Год? Жизнь? Не все ли равно?!

Что же теперь? Неужели больше ничего не осталось? Осталось. Отчаянье воспоминаний. Утешение воспоминаний. Неотторжимость воспоминаний. Уж их-то никто не сможет отнять. Они со мной до конца. Аминь.

Течет, течет поток, вытекающий из отчаянья и впадающий в надежду.

Как он сказал? «За то, чтобы вы оказались правы, а я ошибся». Значит, он допускает возможность ошибки? Почему я отпустила его, не расспросила подробно? Как его найти теперь? Он не назвал ни имени своего, ни фамилии, а я не догадалась спросить. Однако известно, что он не нездешний.

А впрочем, неважно. Что знал, то сказал. Больше не скажешь.

Даже отчаянье имеет свой предел глубины, после чего неизбежен пусть ничтожный, но подъем. Так тело, погрузившееся в воду, стукнувшись о дно, непременно подается кверху.

В памяти всплывает фраза: «Немного ближе Керчи». Странные слова. Простые, но странные. Что значит «немного ближе»? Если не в Керчи, то где же именно?

И вообще, какие там места? Керчь — это Крым, полуостров. Он здесь же, на Черном море. Это она помнит, но больше ничего. А ведь слова не случайные, они имеют какой-то смысл. Они сказаны серьезным, неразговорчивым человеком, у которого ни одно слово не слетало зря. И тут — как откровение! — мысль: надо посмотреть на карту. Тогда все станет ясно. Как это сразу не пришло в голову?

Крым. Со школьной скамьи Анна не смотрела на карту — женщины редко интересуются географией. Вот она, Керчь. Взгляд упирается в крохотный кружок. Анна словно забыла, зачем достала карту, зачем разыскала это красное, словно капля крови, пятнышко. Ближе Керчи, немножко ближе Керчи, — сказал он. Где же это? Тут, в Крыму, ближе Керчи ничего нет — только море. Керчь — крайняя точка Крыма. Что же он хотел сказать? Чего не договорил?

Да. В море. В Керченском проливе.

Трудно представить, как мертвая, холодная вода смыкается над головой живого сына.

И тут Анна ощущает в себе какое-то облегчение. Тело опустилось на дно и, стукнувшись о него, чуть подалось кверху.

Так ли это? Видел ли он своими глазами? Ах, зачем она отпустила его, не спросив ни имени, ни адреса? Где теперь искать его? Ну, пусть он видел своими глазами, как Гоги погрузился в воду. Но, может быть, он выплыл, а тот его не заметил. Могло быть такое? Могло, конечно. Там была такая неразбериха, паника, хаос.

Почему это должно было случиться с ним? Ведь вернулись же многие? У одной женщины — своими ушами слышала — сын тоже вот так пропал без вести, сколько лет не было ни слуху, ни духу, и вдруг письмо из Канады: жив, здоров, работает, женился. Прислал карточку с женой и детьми. Собирается приехать. Почему и у меня не может быть так же? Что ж, что была похоронная? И власти иногда ошибаются. Вот еще недавно в газете писали: сын живет в Венгрии, разыскал мать. Все может быть. Хотя бы один из двоих...

Эта мысль ужасает ее. Будто она хочет купить возвращение одного ценой жизни другого.

Не надо, не надо предрешать. Как будет, так пусть будет. Только было бы. Настанет ли он, этот день?

С улицы уже давно доносятся мальчишечьи голоса, крики, топот, характерные глухие звуки ударов по мячу. Три часа дня, все вернулись из школ, играют в футбол. Анна высовываеться из окна и молча наблюдает. Она никогда не гонит их, хотя эпицентр находится как раз под ее окнами. Милые дети, беспечные существа. Пусть играют, пока играется.

Да, он похож на Гоги. Веселый, шумный мальчик, с вихрами и оттопыренными ушами. И глаза у него похожи, только у моего Гоги были яснее, и веселость их была спокойнейе. А у этого в глазах такие озорные искры, что смотришь, и кажется, что искорки эти того и гляди выпрыгнут и пойдут скакать, как пинг-понгные мячики цок-цок-цок!

Непоседа, лентяй, забияка. Вечно попадает в истории. В день по десять раз слышишь, как мать кричит с галереи: «Гоги, иди делать уроки! Гоги, не смей лазить на крышу! Гоги, перестань, а то я не знаю, что с тобой сделаю!»

Это у нее последний аргумент, и надо сказать, малоэффективный. Гоги — смешленый мальчик и понимает, что если уж мать сама не знает, что делает, то все не так страшно.

Сейчас у них перерыв, и он сидит на ступеньках потный, взлохмаченный, лицо багровое, а кончик носа побелел.

— Гоги, — зовет Анна негромко, — Гоги, иди сюда! Гоги мгновенно вскакивает и подбегает. Он всегда готов помочь, услужить.

— Что вам, тетя Анико?

— Гоги, хочешь мороженого?

Реакция мальчика неожиданна. Он молчит, потупив голову. Такого еще не было. Анна огорчена и смущена.

— Ну, что же?

— Нет, тетя Анико. Не хочу. Спасибо.

Гоги превозмогает себя. Отказаться от мороженого стоит ему неимоверных усилий. Тем не менее это факт. Он отказывается. Неужели родные запретили ему принимать ее маленькие подношения? Нет, не таков Гоги, чтоб не съесть контрабандно стаканчик пломбира.

— Но почему же?

Анна кладет руку на влажную голову мальчика. Мягкие волосы, у моего Гоги были жестче. Зато уши и вихры торчали так же. Гоги молчит и еще ниже опускает голову.

— В чем дело, детка, почему ты отказываешься? — Анна наклоняется к нему, пытаясь заглянуть в глаза, но мальчик упорно прячет свой взор. — Ну, Гоги...

— Не могу, тетя Анико... — выдавливает он на конец.

— Но почему же?

— Ведь это я разбил окно у вас на балконе... — еле слышно шепчет мальчик.

Вот она, неожиданная разгадка маленькой бытовой тайны!

— Как хорошо, что ты сказал, а я думала на Отара!

— Он тоже играл. Но разбил я.

Да, мой Гоги поступил бы так же. Милый мальчик. Она берет его за подбородок и поднимает лицо. В глазах у него слезы, но чувствуется, что трудная минута миновала. Он облегчил себе душу.

Через пять минут, доедая стаканчик, он уже распоряжается своим хрипловатым голосом, кому с кем играть, а главное — кому стоять в воротах. Игра возобновляется.

— ...третья дверь налево. Поняли?

— Да.

— Но только до часу. Он у нас на полставки работает. После перерыва его не бывает. Ясно?

— Да.

— И надо обязательно прийти до тридцатого, а то опять придется переносить в баланс нового квартала.

— Да.

— Смотрите же, не забудьте! Все уже давно получили, только с вами такая канитель.

— ...

— Да вы слышите меня?

— Слышу.

— Ну, я пошел.

— Всего хорошего.

Наследил, оставил окурок в пепельнице, неплотно прикрыл дверь. Непорядок,

Анна закрывает дверь. Берет тряпку и протирает пол. Пепельницу выносит на кухню и там выбрасывает окурок в ведро для сора. Возвращается в комнату, принюхивается. Какой, однако, резкий и стойкий запах у табака! Ведь только одна сигарета! Надо проветрить. Мальчики уже давно разошлись по домам. Что-то делает сейчас Гоги? Наверное, не миновало его приготовление уроков.

Анна оборачивается к комнате. Ну, кажется, воздух очистился, можно закрыть окно. Пол вытерт, дверь закрыта, окурок выброшен, стул придвинут к столу. Гармония восстановлена. Все на месте. Как было до прихода нежданного гостя. Как должно быть.

Ах, да. Вон эта бумажка, что он оставил. Четкий белый квадратик на темной, давно утратившей блеск поверхности обеденного стола. Там все подробно объяснено. Так как треста, где работал Давид, давно не существует, то деньги надо получить в таком-то учреждении. С девяти до часу. После часу кассира не бывает,— он у них на полставки. Зарплата Давида за два месяца. «Вы — законная наследница». Получите и распишитесь. И они закроют баланс...

Рано. Придется им подождать.

Анна подходит к окну. Набухшее дневными соками солнце тяжело оседает за Коджорскую гряду. Четкий абрис горы святого Давида, похожий на распластанное крыло орла, уже начинает прохладно синеть на фоне медно-пламенеющего неба. Анна любит смотреть на это тихое угасание дня, на причудливую игру бликов на вершине, дающих ощущение слитности с погружающимся в бесконечную даль, уже невидимым солнцем.

Это зрелище приносит умиротворение. Но сегодня что-то мешает. Какая-то заноза, крохотная, но докучливая. В строгую гармонию где-то вклинивается фальшивая нотка. Ее надо заставить замолчать. Анна отворачивается от окна и окидывает взглядом комнату. Из щелей, из углов уже начинает сочиться темнота. Из-под стен, из-под шкафа, стола, кровати выползают и подают друг

другу руки длинные, вялые тени. Вещи, освободившись от дневного наваждения, вновь обретают свою значительность.

На темной поверхности стола белеет квадратик. Вот она, заноза. Ненужная глупая бумажка, предлагающая деньги в обмен за надежду. Какой вздор! Это же несопримечательные вещи. Возьми деньги и откажись от того, чем жила тридцать лет!

Зарплата Давида за два месяца... Анна вертит в руках бумажку. Ей здесь не место. Она бы скомкала ее и бросила на пол, да не терпит беспорядка, сора. Вот хрустальная ваза — вместилище всякой ерунды: оплаченных счетов, забытых адресов, квитанций за телефон, по которому никто не звонит. Туда уже несколько лет, как засунута еще одна бумажка. В ней сказано, что Давид был ни в чем не виноват. Тоже вздорная, ненужная бумажка. Давида давно уже все забыли, Анна же никогда и не сомневалась.

Она складывает вчетверо белый квадратик, опускает в вазу и тотчас о нем забывает. Садится за стол, подпирая ладонью щеку.

Тишина. Тихо снаружи, тихо внутри. Так тихо, что слышно, как движется поток. Река времени, текущая из неизвестного в неизвестное, в которой, как серебристая чешуя рыбки, мелькнет человеческая жизнь и уйдет навсегда в неведомую глубину.

СОДЕРЖАНИЕ

Тесны врата твои... (Роман)	8
 Рассказы	
Трава для тигра	225
Такая любовь...	241
Пощечина	268
Жизнь и смерть Василия Казанцева	298
Серебристая чешуя рыбки	328

**ХАИНДРАВА ЛЕВАН ИВЛИАНОВИЧ
ТЕСНЫ ВРАТА ТВОИ...**

Редактор А. П е р и м
Художник И. С у т и д з е
Художественный редактор Д. З е н а и ш в и л и
Технический редактор А. Я к и м о в а
Корректор В. Раев

ИБ—1133

Сдано в набор 09.07.1984 г.
Подписано в печать 11.06. 1985 г.
УЭ 07905
Формат 84×108^{1/3},
Бум. тип. № 2
Гарнитура журнальная рубленая
Печать высокая
Усл. печ. л. 18,06
Учетно-изд. л. 18,15
Тираж 20.000 экз.
Заказ № 127
Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Мерани»
380008, Тбилиси, пр. Руставели, 42. Отпечатано с матриц типографии издательства «Таврида» Крымского ОК КП Украины,
Симферополь, ул. Генерала Васильева, 44, на тбилисской книжной фабрике Госкомиздата Грузинской ССР, 380059, Тбилиси,
пр. Дружбы, 7.

ლეგან ივანის ძმ ხაიდრატა

გიორგი ბარნი ჭინიძე...;

(რუსულ ენზე)

